891.7.
Грибоедов
254473

А.С. ГРИБОЕДОВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

ФЕДЕРАЦИЯ

А.С. ГРИБОЕДОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ

обозначенного здесь срока

7/V		254473		
28/X				

ИЗДАТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЦИЯ

А. С. ГРИБОЕДОВ
С неизданного портрета

Б-ка Н. К. И.
Первичный учет 1938 г.
2535
95 1891-7
Г. 821

А. С. ГРИБОЕДОВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Н 5560.

РЕДАКЦИЯ И ПРЕДИСЛОВИЕ
Н. К. ПИКСАНОВА

ПРИМЕЧАНИЯ
И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙНА

БИБЛИОТЕКА
АКАД. КОММ. ВОСПИТАНИЯ
им. Н. К. Крупской.

25473.

Лед. ин-т им. А. И. Герцена
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Комм. Педагогический Ин-т
БИБ. КОТЕЛА
Инв. № 51139
имени Н. К. Крупской

ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ФЕДЕРАЦИЯ"
МОСКВА — 1929

«Мосполиграф»
14-я типография
Варгунихина гора, 8.
Зак. № 2122.
Главлит № А 22832.
Фосп 157
Тираж 3000.
1929 г.

ОТ РЕДАКТОРА.

Издать книгу воспоминаний о Грибоедове было давно насущной необходимостью.

Еще в пятидесятых годах Е. Серчевский пытался осуществить такой сборник и в своем известном издании «Горя от ума» 1858 года дал несколько перепечаток из мемуаров о Грибоедове Но тогда таких мемуаров было опубликовано очень мало. Их надо было еще записывать и собирать.

Так и поступил другой литератор того же времени, первый исследователь Грибоедова, Д. А. Смирнов. Он усердно собирал неизданные материалы о Грибоедове, в том числе и мемуарные, и его усердию мы обязаны записями ценных воспоминаний Б. И. Иона, А. А. Жандра, М. С. Щепкина, И. И. Сосницкого. Смирнов не успел, однако, напечатать той большой книги о Грибоедове, о какой мечтал.

После Смирнова, в 60-х, 70-х и позднейших годах появлялись в печати, одно за другим, всё новые воспоминания о Грибоедове. В течение десятилетий их накопилось много. Они давали биографам Грибоедова обильный материал для бытовой, психологической, литературной характеристики писателя. Однако, и в позднейшие годы никто не осуществил простой мысли: собрать в одну книгу воспоминания о Грибоедове.

Эта мысль осуществляется только теперь, к столетнему юбилею Грибоедова. За сто лет (первые воспоминания о Грибоедове написаны в 1829 году) вокруг имени Грибоедова собралось большое количество мемуаров. Правда, их не так много, как о Пушкине, тем более — о Тургеневе или о Толстом. Однако, можно насчитать до тридцати современников, оставивших нам воспоминания о Грибоедове.

Среди них имеются громкие имена, как имя А. С. Пушкина. Имеются воспоминания декабристов: А. А. Бестужева, Д. И. Завалишина, писателей: Д. В. Давыдова, П. А. Вяземского, К. А. Полевого, Ф. В. Булгарина, актеров: А. М. Каратыгиной, П. А.

Каратыгина, И. И. Сосницкого, М. С. Щепкина, выдающихся военных деятелей, как Н. Н. Муравьев-Карсский, наконец, вереница воспоминаний личных знакомых Грибоедова, каковы С. Н. Бегичев, Лыкошины, Н. В. Шимановский и многие другие.

Можно горько пожалеть, что некоторые современники, близко знавшие Грибоедова, были скупы на рассказы о нем или вовсе не высказались. Бесконечно жаль, что Пушкин, хорошо знавший своего тезку, ограничился несколькими,— правда, значительными, но глухими, замечаниями о нем. Ближайший друг Грибоедова, С. Н. Бегичев, лучше, чем кто-нибудь другой, знавший его, оставил о нем необычайно скупые, лаконические, отрывочные припоминания. А. П. Ермолов, наблюдавший Грибоедова на Кавказе и одно время дружески ему доверявший, не использовал своих долгих досугов в отставке, чтобы рассказать о встречах и частых и долгих беседах с Грибоедовым. В. Ф. Одоевский, любивший и близко знавший Грибоедова, беседовавший с ним на философские темы, не закрепил этих бесед в мемуарах. Не записал своих воспоминаний (или они пока не дошли до нас) и декабрист А. И. Якубович, знавший Грибоедова в Петербурге и на Кавказе, и дважды встречавшийся с ним на дуэлях.

Всё же многие из очевидцев жизни и творчества Грибоедова передали нам свои знания о нем. Их воспоминаниями достаточно освещены и детство Грибоедова (воспоминания Лыкошиных), и молодость (Бегичев), и ранняя деятельность в Петербурге (тот же Бегичев), и жизнь на Востоке (записки Н. Н. Муравьева), и арест по делу декабристов (Завалишин, Шимановский, Липранди), и отношения в литературном мире (Вяземский, К. Полевой), и отношения в мире театральном (Каратыгины, Сосницкий, Щепкин).

За чтением этих разнообразных воспоминаний незаметно — и чем дальше, тем ярче — начинают слагаться общие характеристики и картины: быт семьи Грибоедовых и старая барская среда, артистическая и литературная среда Петербурга, своеобразная обстановка тифлисской жизни, и среди этих условий — рост личности Грибоедова, черты его характера, отношение к людям и событиям, особенности его творческой деятельности.

О Грибоедове дали свои воспоминания такие писатели, как Пушкин, Бестужев, Вяземский. Они проявили здесь и психологическую проницательность, и блеск литературного таланта. Следует сказать, что и другие мемуаристы, менее известные, иной раз создавали высоко ценные повествования. Так, второстепен-

ный журналист, Ксенофонт Полевой, сумел написать о Грибоедове ценнейшие страницы; его воспоминания об Александре Сергеевиче, положительно, лучшее, что он вообще написал. Поэтому книга воспоминаний о Грибоедове становится увлекательным чтением, как повесть-хроника из литературно-общественной жизни первой трети XIX века.

Однако, как всегда с мемуарами, и здесь нашлись и ошибки, и тенденциозное освещение, и недомолвки, и т. д.

Этим ставился вопрос о редактуре и комментировании.

Мне представлялось совершенно недопустимым дробить воспоминания о Грибоедове на куски и расставлять эти куски и кусочки по мелким рубрикам биографии Грибоедова. Лучшие из воспоминаний написаны как литературное целое, и дробить их было бы насилием. Во многих случаях авторы дают сводную, обобщенную характеристику, не поддающуюся точному хронологическому приурочению. Поэтому, как принцип, было принято помещать данное воспоминание целиком.

Разумеется, из обширных мемуаров, говорящих о многих лицах и событиях, брались только те страницы, где говорится о Грибоедове (однако, бережно охраняя контекст повествования). Были особенные случаи таких выборок. Так, в известных записках Н. Н. Муравьева-Карсского, веденных в форме дневника за многие годы, о Грибоедове упоминается десятки раз, но разбросанно, в порядке очередных встреч и событий. Пришлось пересмотреть все записки Муравьева в «Русском архиве» за несколько лет и выбрать оттуда все показания о Грибоедове. Зато, когда такие выборки были закончены, получился замечательный подбор показаний лица, записывавшего события и беседы вслед за тем, как они совершались.

Однако, следует отметить, что в расположении воспоминаний в нашем сборнике, все-таки, соблюдена, по возможности, и биографическая последовательность. Но по характеру мемуарных записей пришлось распределить их на два крупных отдела. В первом помещены воспоминания о самом Грибоедове, написанные лицами, знавшими его лично. Во втором отделе печатаются рассказы о семье Грибоедовых и среде, в которой писатель вращался, при чем сведения эти часто записаны из вторых уст. В этом же отделе помещена сводка дробных высказываний о Грибоедове, иногда и случайных и кратких, всего в десяток строк.

Мы дорожили всеми крупицами воспоминаний, слагающих в итоге живой образ славного писателя.

Собранные отовсюду: из старых журналов, из забытых газет, из книг и сборников, написанные самыми разнообразными авторами, воспоминания нуждались в комментировании. В нашем сборнике было принято за правило давать биографическую справку о каждом из авторов воспоминаний. Затем, все неясные упоминания о лицах и событиях, по возможности, раскрывались в примечаниях. Часто это было существенно необходимо, так как Грибоедов много вращался в своеобразной среде на Востоке. В тех же примечаниях исправлялись прямые ошибки или неточности в фактических показаниях. Оговаривалась и тенденциозность оценок, если она была заметна и могла быть проконтролирована. Хотелось дать читателю возможность повести дальше изучение того или иного явления, заинтересовавшего его в рассказе мемуариста; поэтому мы давали и библиографические указания на специальную литературу. При этом, при упоминаниях о сочинениях и письмах Грибоедова, часто без ссылок, подразумевалось академическое издание (в трех томах, 1911—1917).

Во всей этой сложной и кропотливой работе по монтировке сборника принимал вместе со мною ближайшее участие И. С. Зильберштейн. Он проверял собранные воспоминания по их наиболее достоверным текстам, он составил биографические справки о мемуаристах, ему принадлежат подстрочные примечания, а также и обширные выборки из Записок Н. Н. Муравьева, дове. В некоторых случаях И. С. Зильберштейн обращался и к а также, в конце книги, из второстепенных показаний о Грибоеархивным материалам.

Н. Пиксанов.

А. С. ГРИБОЕДОВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

С. Н. Бегичев

ЗАПИСКА ОБ А. С. ГРИБОЕДОВЕ

Степан Никитич Бегичев (1785—1853), один из самых близких друзей Грибоедова, происходил из старинной дворянской семьи. Предназначался родителями для придворной службы. Но из камер-пажей был произведен в корнеты александрийского гусарского полка, откуда перевелся в олонецкий мушкатерский полк, потом вышел в отставку в 1803 году. В 1807 году был назначен в избранный из Тульской милиции батальон стрелков; в 1813 году назначен ад'ютантом к генералу Кологривову, под руководством которого обучались новые кадры кавалерии. В 1819 году переведен подполковником в тираспольский конноегерский полк, откуда ушел в отставку полковником в 1823 году. В апреле того же 1823 года женился в Москве на Анне Ивановне Барышниковой и с тех пор жил в своем имении в селе Екатерининском, Тульской губернии, или в Москве.

С Грибоедовым Бегичев познакомился в 1813 году, когда они вместе состояли ад'ютантами у генерала Кологривова в Белоруссии. Потом оба переехали в Петербург и жили вместе, вращаясь в театральных, литературных и общественных кругах (между прочим, Бегичев одно время состоял членом «Союза Благоденствия», куда был принят Никитою Муравьевым, но скоро, по словам декабриста Ивашева, «отстал»). От'езд Грибоедова на Восток в 1818 году разлучил их на время. Но они встретились вновь в марте 1823 года в Москве и Бегичев был первым, кому Грибоедов читал «Горе от ума» в ранней редакции. Грибоедов очень любил Бегичева и их личные отношения прекрасно обрисовываются в тех двадцати письмах Грибоедова к нему, которые сохранились до наших дней; ответные письма Бегичева до нас не дошли.

Печатаемая нами «Записка об А. С. Грибоедове», написанная Бегичевым, является единственной мемуарной данью памяти его друга, дошедшей до наших дней. Факты, сообщенные Бегичевым в этих воспоминаниях, являются настолько интересными, авторитетными и правдивыми, что смело их можно поставить на первое место в скудной мемуарной литературе о Грибоедове. История этой «Записки» следующая. В 1854 году Бегичев прочитал в «Отечественных Записках» (№ 4, отдел 3, стр. 29—48) анонимную рецензию-статью, принадлежащую перу

критика Дудышкина, написанную по поводу двадцатипятилетия со дня смерти творца «Горя от ума», исполнившегося 30 января 1854 г. и вызвавшего появление четырех новых изданий комедии. Но самые издания не заслуживали детального отзыва и поэтому Дудышкин говорил о них всего в нескольких строках. Целью же его статьи было «обратить внимание читателя на причины, которые содействовали быстрому развитию таланта Грибоедова между 1817—1823 годами». В ответ же на призыв Дудышкина к друзьям Грибоедова пополнить пробелы его биографии, Бегичев решил взяться за перо, несмотря на то, что Грибоедов писал ему как-то в одном письме: «в одном только случае возьмись за перо в мою защиту, если я буду в отдалении, или умру прежде тебя и кто-нибудь мой ненавистник вздумает чернить мою душу и поступки». Свой «Ответ господину рецензенту на рецензию его четырех изданий комедии «Горе от ума» в № 4 «Отечественных Записок» (точный заголовок записки) Бегичев построил в виде живого и связного очерка жизни Грибоедова, написанного по личным воспоминаниям. Но при жизни Бегичев своей записки не опубликовал, копию же ее передал собирателю материалов о Грибоедове Д. А. Смирнову, записавшему, между прочим, со слов Бегичева ряд рассказов о Грибоедове (см. ниже). «Небольшую, но драгоценную по непреложной истине фактов библиографическую свою записку о Грибоедове, Степан Никитич передал в полную мою собственность и в письме ко мне от 15 июня 1857 года сказал: «Я доверяю тебе, если рассудишь за благо издать приложенный очерк, не упоминая имени моего и выставляя только заглавные буквы других имен... На восьмом десятке лет я не хочу сделаться известным только тем, что был искренним другом Грибоедова, хотя и внутренно горжусь этим»,—читаем в статье Д. А. Смирнова «Биографические известия о Грибоедове» («Беседы общества любителей русской словесности» 1868 г., вып. II). В этой своей статье, а также и в статье «Черновая тетрадь Грибоедова» (в «Русском Слове» 1859 г., №№ 4 и 5) Смирнов неоднократно цитировал эту записку, но целиком ее не издал. После его смерти она затерялась и лишь в начале 1890 годов проф. И. А. Шляпкин нашел у антиквара Е. К. Гартье эту записку в виде небольшой тетрадки, скопированной писарской рукой; к Гартье эта рукопись попала в составе библиотеки А. Л. Куна, который в свою очередь приобрел ее с библиотекой начальника главного управления по делам печати В. В. Григорьева. В 1892 году Шляпкин впервые опубликовал «Записку» Бегичева в «Русском Вестнике» (№ 8, стр. 305—316).

Текст Бегичевской записки печатается по той же рукописи, находившейся в библиотеке Григорьева; несколько неточностей и пропусков, допущенных Шляпкиным в опубликовании «Записки», исправлены по рукописи, являющейся ныне собственностью Н. К. Пиксанова.

С душевным удовольствием прочел я статью вашу о незабвенном для меня Грибоедове. Вы вполне поняли и оценили его светлый ум, его благородную душу, страстную любовь к отече-

ству и огромное дарование. — Но вы замечаете справедливо, что в изданных его биографиях многого недостает, а потому вызываете друзей его пополнить эти пробелы.

Конечно, из всех, которые называют себя теперь его друзьями, никто более меня не имеет на это права! Я знал его с юношеских лет, долго жил с ним, следил за каждым его шагом и пользовался неизменной его дружбой до конца жизни.—В этом последнем отношении может состязаться со мной только А. А. Жандр: Грибоедов всегда видел в нем истинного друга, любил и душевно уважал его, но Жандр узнал его позднее меня [1].

Намереваясь написать краткий очерк биографии Грибоедова, против воли моей, я вынуждаюсь необходимостью говорить о себе.—Без личных, самых откровенных и самых дружеских отношений Грибоедова ко мне, я мог бы только сказать о нем, что он написал превосходную комедию и убит в Персии, но это известно всем.

Грибоедов родился в Москве в 1795 году; мать его, имевши только сына и дочь [2], ничего не щадила для их воспитания [3], и Грибоедов своей понятливостью и любознанием в полной мере удовлетворял ее. Тогда еще не были назначены лета для вступления в университет, и он вступил студентом тринадцати лет [4], знавши уже совершенно французский, немецкий и английский языки и понимавши свободно в оригинале всех латинских поэтов; в дополнение к этому имел необыкновенную способность к музыке, играл отлично на фортепиано; и если б посвятил себя только этому искусству, то, конечно, сделался бы первоклассным артистом. Но на пятнадцатом году его жизни обозначилось уже,

---

[1] А. А. Жандр познакомился с Грибоедовым в Петербурге в 1815 г. и тогда же они очень сблизились. Об их дружеских отношениях см. вводную статью Н. К. Пиксанова в издании Жандровской рукописи «Горя от ума» (М., 1912 г., изд. Л. Э. Бухгейм, стр. III—XXVI).

[2] Мария Сергеевна, в браке за Дурново. Ее рассказы о брате записывал Д. А. Смирнов, но, к сожалению, не опубликовал. Из ее переписки с братом до наших дней сохранилось только одно ее письмо к Грибоедову от 25 мая 1828 года, опубликованное в статье Т. А. Сосновского (П. П. Каратыгина) «А. С. Грибоедов. Биографический очерк» — «Русская Старина» 1874 г., № 6, стр. 298—300.

[3] За ней было тогда две тысячи душ, но впоследствии времени дела ее расстроились. (Примечание Бегичева).

[4] Судя по материалам сенатского архива, Грибоедов поступил в московский университет 30 января 1806 года.

что решительное его призвание — поэзия. Он написал в стихах пародию на трагедию «Дмитрий Донской», под названием «Дмитрий Дрянской», по случаю ссоры русских профессоров с немецкими за залу аудитории, в которой и русские, и немецкие профессора хотели иметь кафедру [1]. — Начинается так же, как и в трагедии, советом русских, которые хотят изгнать из университета немцев, потом также кстати, как в трагедии, явилась в стан княжна Ксения, пришла в университет Аксиния и т. п. Все приготовились к бою, но русские одержали победу. Профессор Дмитрий Дрянской, издававший журнал, вышел вперед, начал читать первый нумер своего журнала и немцы все заснули [2]. Тетрадка эта, писанная его рукой, сохраняется у меня [3]. Конечно, это произведение юношеское, но в нем однако ж много юмора и счастливых стихов [4].

... того вр[емени]... и вышел... солдатом. Он... [пользовался серде]чным уваже[нием]... Иона [5]. Вскоре [около 1811 года... Штейн [оставил] свое место в отечестве. Нашел в Москве убежище от гонения Напо[леона, который об'я]вил его в газетах вне закона (hors la loi) [6].

---

[1] Из руских профессоров Грибоедов, как студент философского, а потом юридического факультета, слушал Сохацкого и Спешнева, а из немцев — Гейма, Буле, Рейнгарда и Шлецера-сына.

[2] Вероятно, это намек на профессора М. Т. Каченовского, издававшего с 1807 года «Вестник Европы» и нападавшего на всякое подражание иностранному.

[3] До наших дней эта комедия не сохранилась и в печати она неизвестна. Известно, что Бегичев передал ее Д. А. Смирнову (см. «Русское Слово» 1859 г., № 4, стр. 2) и, вероятно, она сгорела вместе с другими бумагами Д. А. Смирнова. Следует отметить то, что в эпоху общего увлечения ложно-классической трагедией Озерова «Дмитрий Донской» написать на нее пародию было весьма оригинальным делом, обличавшим уже тогда сатирические наклонности молодого студента. Не о ней ли идет речь, когда говорится о чтении Грибоедовым какой-то комедии в январе 1812 года? (См. книгу Н. К. Пиксанова «Творческая история «Горя от ума». М., 1928 г.).

[4] Дальше в рукописи оторван угол с двенадцатью строками текста; восстанавливаем по догадке сохранившиеся отрывки.

[5] Впоследствии Ион получил в казанском университете степень доктора прав. (Примечание Бегичева, находящееся на оторванном куске страницы).

[6] Так говорили тогда в Москве, но за достоверность этого я не ручаюсь. (Примечание Бегичева).

Буль познакомил с Штейном Грибоедова, Штейн приласкал юношу, и Грибоедов несколько раз рассказывал мне с удовольствием о беседах их с Штейном и Булем [1].

[Затем А. С. Грибоедов, когда неприятель приблизился к границе России, поступил под команду князя Салтыкова, получившего дозволение сформировать гусарский полк] [2].

Но едва приступили к формированию, как неприятель взошел в Москву. Полк этот получил повеление итти в Казань, а по изгнании неприятелей, в конце того же года, предписано ему было следовать в Брест-Литовск, присоединиться к разбитому иркутскому драгунскому полку и принять название иркутского гусарского. Здесь началось наше знакомство, а вместе с этим истинная и неизменная дружба на всю жизнь. По заключении мира он приехал в отпуск в Петербург и осенью того же года вышел в отставку из гусар, и, кажется, 1815 года причислен к иностранной Коллегии [3]. Я служил тогда в гвардии, и мы жили с ним вместе. 19-ти лет написал он в одном действии, в стихах, комедию «Молодые супруги». Содержание взято из французской пьесы («Secret du ménage»). Кажется, г. рецензент, это вам неизвестно, но ее тогда часто давали на петербургской сцене и всегда она была принята публикой очень хорошо [4].—В Петербурге, по молодости лет, Грибоедов вел веселую и разгульную жизнь. С его неистощимой веселостью и остротой, везде, когда он попадал в круг молодых людей, был он их душой. Всегдашнее же наше и почти неразлучное общество составляли Грибоедов, Жандр, Катенин [5], Чипягов [6] и я. Все они, кроме меня, были в душе

[1] Об'яснения к этому абзацу см. ниже в статье И. С. Зильберштейна «Несобранные рассказы о Грибоедове».

[2] Строки, взятые в прямые скобки, являются вольной сводкой И. А. Шляпкина уцелевших отдельных слов от десяти строк рукописи, находившихся на обороте оборванного угла.

[3] Это было 9 июня 1817 года; см. «Русское Обозрение» 1895 г., № 3, стр. 387.

[4] В «Театральных воспоминаниях» Р. М. Зотова (стр. 83) записано: «Еще до от'езда Грибоедова на Кавказ видел его часто у князя Шаховского, по заказу которого он переделал французскую комедию «Le secret du ménage» и назвал ее «Молодые супруги».

[5] Писатель и критик, в молодости друживший с Грибоедовым и написавший с ним комедию «Студент». До наших дней дошло шесть писем Грибоедова к нему.

[6] Вместе с Жандром и Шаховским он участвовал в 1817 году в переводе третьего акта «Горациев» Корнеля; см. С. Бертенсон. «П. А. Катенин», П. 1913 г., стр. 13.

поэты [1], много читали, знали хорошо европейскую литературу, и отдавали преимущество романтикам. В дружеских беседах часто сообщали они друг другу планы будущих своих сочинений, но мало писали, да и не имели времени для этого от своих служебных занятий. Все мы любили очень театр, часто его посещали и оканчивали наш вечер, т. е. до 2-х и 3-х часов утра, у кн. Шаховского, бывшего тогда директором театра. Хозяин был очень любезен, всегда весел, и разговор его о всех предметах был занимателен и разнообразен, но более любил он говорить о литературе. В доме его встречались разнообразные и разнохарактерные лица. Тут можно было увидеть и литератора, и артиста, и даровитого актера, и хорошенькую актрису, и шалуна офицера, а иногда и ученого академика [2]. Веселая и беззаботная была тогда жизнь наша! Я, при старости моей, до сих пор с удовольствием вспоминаю об этом времени!

С Хмельницким Грибоедов был знаком только по дому князя Шаховского и ни в одной из его комедий не участвовал. Но по просьбе кн. Шаховского написал он одну сцену в комедии его «Своя семья» [3] и для бенефиса, не помню какого актера, перевели они с Жандром с французского, в несколько дней, маленькую комедию «Притворная неверность» [4]. А судя только по этому, вы, г. рецензент, удивляетесь резкому переходу Грибоедова в комедии «Горе от ума» и спрашиваете, «каким образом из школы поверхностно-остроумной и однообразно-забавной на французский лад мог выйти писатель такой, как Грибоедов?». Но при первом знакомстве нашем вкус и мнение Грибоедова о литературе были

---

[1] Булгарин в изданной им биографии Грибоедова написал, что он в обществе литераторов был только с 1824 года. (Примечание Бегичева — ошибка: Булгарин указывает 1815 г.).

[2] Князь Шаховской был членом академии и лучшим того времени писателем для сцены. Многие его комедии исполнены комической веселостью и публика всегда видела их с удовольствием. По страсти своей к театру он сформировал многих хороших актеров. (Примечание Бегичева).

[3] Об обстоятельствах написания отрывка из «Своей семьи» сам Грибоедов писал С. Н. Бегичеву 4 сентября 1817 года: «Шаховской меня просит сделать несколько сцен стихами в комедию, которую он пишет для бенефиса Валберховой; и я их сделал довольно удачно».

[4] Пьеса эта, являвшаяся переводом комедии «Les fausses infidélités», французского драматурга XVIII века Барта, была впервые поставлена на сцене Большого театра в Петербурге 11 февраля 1818 года в бенефис Екатерины Семеновой.

уже сформированы: это известно мне на мой собственный счет. Из иностранной литературы я знал только французскую, и в творениях Корнеля, Расина и Мольера я видел верх совершенства. Но Грибоедов, отдавая полную справедливость их великим талантам, повторял мне: «Да зачем они вклеили свои дарования в узенькую рамочку трех единств? И не дали волю своему воображению расходиться по широкому полю?». Он первый познакомил меня с «Фаустом» Гёте, и тогда уже знал почти наизусть Шиллера, Гёте и Шекспира. Все творения этих гениальных поэтов я прочел после в французском переводе.

Никогда не говорил мне Грибоедов о виденном им в Персии сне[1], вследствие которого он написал «Горе от ума», но известно мне, что план этой комедии был сделан у него еще в Петербурге 1816 года, и даже написаны были несколько сцен; но не знаю, в Персии или в Грузии, Грибоедов во многом изменил его и уничтожил некоторые действующие лица, а между прочим, жену Фамусова, сантиментальную модницу и аристократку московскую (тогда еще поддельная чувствительность была несколько в ходу у московских дам) и вместе с этим выкинуты и написанные уже сцены.

Настал, наконец, 1818 год, с которого жизнь Грибоедова совершенно изменилась и взяла переворот благотворный для его дарования.

К нам ездил часто сослуживец мой по полку, молодой, очень любезный, шалун и ветренник, поручик Ш[ереметев]. В одно утро вбегает он к Грибоедову совершенно расстроенный, жалуется, что танцовщица, в которую он был влюблен, изменила ему для графа З[авадовского], говорил, что он застрелит его, послал уже к нему вызов и просил Грибоедова быть у него секундантом[2]. Со всем своим красноречием Грибоедов не мог уговорить его,

[1] Булгарин в своей биографии Грибоедова говорит об этом. (Примечание Бегичева).—К истории создания «Горя от ума» ср. ниже воспоминания В. В. Шнейдера в статье И. С. Зильберштейна.

[2] Неправильно. Грибоедов был секундантом со стороны Завадовского.—О романе Завадовского с Истоминой и о роли Грибоедова в нем см. в книге С. Н. Шубинского «Исторические очерки и рассказы» (шестое издание, П. 1911 г.), где впервые было изложено по архивным данным дело о дуэли Шереметева с Завадовским. См. также статью С. А. Белокурова в «Русском Обозрении» 1895 г., № 3, в которой были опубликованы документы из Московского Главного архива министерства иностранных дел. Но полностью все делопроизводство, важное для уяснения роли Грибоедова, до сих пор не опубликовано.—Об этой дуэли см. также ниже в записях Смирнова.

и на другой день Ш[ереметев] был смертельно ранен[1]. Я был в отсутствии, и Грибоедов писал ко мне в Москву, что на него нашла ужасная тоска, он видит беспрестанно перед глазами умирающего Ш[ереметева], и пребывание в Петербурге сделалось для него невыносимо. А в продолжение этого времени познакомился с ним очень замечательный по уму своему Мазарович; он был назначен поверенным по делам в Персию и предложил Грибоедову ехать с ним секретарем посольства[2]. Я возвратился из Москвы за несколько дней до их отправления, и горестно было расставание наше!!!

Трехлетнее (если не ошибаюсь) пребывание его в Персии[3] и уединенная жизнь в Тебризе[4] сделали Грибоедову большую пользу. Сильная воля его укрепилась, всегдашнее любознание его не имело уже преграды и рассеяния. Он много читал по всем предметам наук и много учился. Способность его к изучению языков была необыкновенная: он узнал совершенно персидский язык, прочел всех персидских поэтов и сам мог писать стихи на этом языке. Начал также учиться санскритскому языку, но учение это не кончил. Потом был он чиновником при известном генерале и тогдашнем начальнике Грузии и Кавказа, Алексее Петровиче Ермолове, пользовался его благорасположением, бывал с ним в военных экспедициях и до конца жизни отлично уважал его. Из Грузии писал он мне: «Наш Кавказский проконсул гигантского ума!» и после лично несколько раз повторял мне то же. После пятилетней разлуки, с душевной радостью увиделись мы опять с ним в Москве. Он приехал в отпуск в марте 1823 г.

Из комедии его «Горе от ума» написаны были только два действия. Он прочел мне их, на первый акт я сделал ему некоторые замечания, он спорил, и даже показалось мне, что принял это нехорошо. На другой день приехал я к нему рано и застал

---

[1] Якубович, один из секундантов, оказавшийся по следствию главной причиной этой дуэли, был выписан из гвардии с тем же чином в армейский полк и отправлен в Грузию. А Грибоедов по высочайшей воле оставлен без наказания. (Примечание Бегичева).

[2] О Мазаровиче см. в воспоминаниях Н. Н. Муравьева-Карского.

[3] В Персии Грибоедов провел с октября 1818 года до марта 1823 года, т. е. четыре с половиной года.

[4] Посланник наш по временам только ездил в Тегеран ко двору шаха, но жил всегда в Тебризе, при тогдашнем наследнике Абасс-Мирзе, любимом сыне шаха и правителя Персии. (Примечание Бегичева).

его только-что вставшим с постели: он неодетый сидел против растопленной печи и бросал в нее свой первый акт лист по листу. Я закричал: «Послушай, что ты делаешь?!!» — «Я обдумал», отвечал он, «ты вчера говорил мне правду, но не беспокойся: все уже готово в голове моей». И через неделю первый акт уже был написан.

В апреле я женился; событие это интересно только для одного меня, и я бы, конечно, об нем умолчал без маленького происшествия, которое характеризует поэтическую натуру Грибоедова. Он был у меня шафером и в церкви стоял возле меня. Перед началом службы священнику вздумалось сказать нам речь, Грибоедов, с обыкновенной своей тогдашней веселостью, перетолковывал мне на ухо эту проповедь, и я насилу мог удержаться от смеха. Потом он замолчал, но когда держал венец надо мной, я заметил, что руки его трясутся и, оглянувшись, увидел его бледным и со слезами на глазах. По окончании службы, на вопрос мой: «Что с тобой сделалось?» — «Глупость», отвечал он, «мне вообразилось, что тебя отпевают и хоронят».

Я выехал из Москвы в конце мая, но перед от'ездом моим, недели за три, я очень редко видел его. Он пустился в большой московский свет, бывал на всех балах, на всех праздниках, пикниках и собраниях, по дачам и проч., и проч.

На замечание мое о перемене его образа жизни, Грибоедов всегда отвечал: «Не бойся! время мое не пропадет». Мать его, живши безвыездно всегда в Москве и имевшая дочь невесту, вывозила ее в свет и имела огромное знакомство [1]. Но он прежде

---

[1] О характере матери Грибоедова можно заключить из одного замечательного ее письма к сыну, до нас не дошедшего, но авторитетное свидетельство о котором сохранилось в письме Катенина к его другу — критику Н. И. Бахтину — от 29 мая 1828 года: «Сказывал ли я вам когда, что случайно довелось мне однажды, лет десять тому назад, прочитать письмо матери Грибоедова к сыну? Он тогда, чином титулярный советник, вошел снова в службу и сбирался в Персию с Мазаровичем: мать, радуясь его определению, советовала ему отнюдь не подражать своему приятелю, м н е, потому де, что эдак, прямотой и честностью, не выслужишься, а лучше делай, как твой родственник т а к о й-т о, который подлец, как ты знаешь, и все вперед идет; а как же иначе? ведь сам бог, кому мы докучаем молитвами, любит, чтоб перед ним мы беспрестанно к у в ы р к да к у в ы р к. — Так вещала нежная мать...» — См. А. А. Ч е б ы ш е в. «Материалы для истории русской литературы 20-х и 30-х годов XIX века. Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину». — «Русская Старина» 1911 г., № 7, стр. 148—149.

никуда почти не ездил. Вслед за мной приехали ко мне в деревню брат мой с семейством и Грибоедов. Последние акты «Горя от ума» написаны в моем саду, в беседке. Вставал он в это время почти с солнцем; являлся к нам к обеду и редко оставался с нами долго после обеда; но почти всегда скоро уходил и приходил к чаю, проводил с нами вечер и читал написанные им сцены. Мы всегда с нетерпением ожидали этого времени. Он хотел оставить мне на память свою пьесу, написанную его рукой, но имел терпение написать только два акта, а остальные заставил писаря. Тетрадь эта у меня сохраняется[1]. В сентябре Грибоедов возвратился со мной в Москву и жил у меня в доме до июня 1824 г., располагая опять провести лето со мной в деревне. Но мне случилась надобность ехать совсем в другую сторону, а он отправился в Петербург, где и прожил около года.

Не имею довольно слов об'яснить, до чего приятны были для меня частые (а особливо по вечерам) беседы наши вдвоем. Сколько сведений он имел по всем предметам!!! Как увлекателен и одушевлен он был, когда открывал мне, так сказать, нараспашку свои мечты и тайны будущих своих творений, или когда разбирал творения гениальных поэтов! Много он рассказывал мне о дворе персидском, нравах и обычаях персиян, их религиозных сценических представлениях на площадях и проч., а также об Алексее Петровиче Ермолове и об экспедициях, в которых он с ним бывал. И как он был любезен и остер, когда бывал в веселом расположении!

Он был в полном смысле христианином и однажды сказал мне, что ему давно входит в голову мысль явиться в Персию пророком и сделать там совершенное преобразование; я улыбнулся и отвечал: «Бред поэта, любезный друг!» — «Ты смеешься, — сказал он, — но ты не имеешь понятия о восприимчивости и пламенном воображении азиатцев! Магомет успел, отчего же я не успею?» И тут заговорил он таким вдохновенным языком, что я начинал верить возможности осуществить эту мысль.

---

[1] Шляпкин неправильно указал в примечаниях к «Записке», что эта рукопись была отдана Д. А. Смирнову и сгорела. Она хранилась после смерти Бегичева у его дочери—М. С. Бегичевой и в 1902 году была приобретена Московским Историческим Музеем. Впервые опубликована эта рукопись была под редакцией В. Е. Якушкина в 1903 году в серии трудов Музея. Ее исследование см. в книге Н. К. Пиксанова: «Творческая история «Горя от ума».

Из планов будущих своих сочинений, которые он мне передавал, припоминаю я только один. Для открытия нового театра в Москве, осенью 1823 года, располагал он написать в стихах пролог в двух актах, под названием «Юность вещего». При поднятии занавеса, юноша-рыбак Ломоносов спит на берегу Ледовитого моря и видит обаятельный сон, сначала разные волшебные явления, потом муз, которые призывают его, и, наконец, весь Олимп во всем его величии. Он просыпается в каком-то очаровании; сон этот не выходит из его памяти, преследует его и в море, и на необитаемом острове, куда с прочими рыбаками отправился он за рыбным промыслом. Душа его получила жажду познания чего-то высшего, им неведомого, и он убегает из отеческого дома. При открытии занавеса во втором акте, Ломоносов в Москве, стоит на Красной площади. Далее я не помню. Но слух об его комедии распространился по Москве, он волею и неволею читал ее во многих домах. Сначала это льстило самолюбию молодого автора, а потом ужасно ему наскучило и отняло у него много времени. Пролога он написать не успел, а театр открылся [1].

На возвратном пути из Петербурга, в 1825 г., Грибоедов уже ко мне не заехал и приехал в Грузию через Крым, который желал видеть. А в начале 1826 г., отправлен он был генералом Ермоловым по делам службы в Петербург, возвратился оттуда в Москву в конце июля и в начале августа был у меня в деревне на один день: он спешил с'ехаться с генералом Паскевичем в Воронеже. Известный теперь уже всей Европе князь Варшавский, граф Паскевич-Эриванский, всегда принимал Грибоедова родственно [2] и почти дружески. Грибоедов служил при нем в персидскую кампанию, был во всех сражениях возле главнокомандующего, исполнял многие его препоручения и преимущественно участвовал в переговорах о мире, потому что знал хорошо Персию и персидский язык. Все это засвидетельствовал граф Эриванский перед государем императором и послал его с донесением о мире. В проезд его через Москву, он заезжал ко мне часа на два [3]

[1] В «Черновой тетради» Грибоедова, опубликованной в «Русском Слове» 1859 года, сохранилось несколько отрывков этого незавершенного произведения. — Вместо Грибоедова для открытия московского театра написал пролог М. А. Дмитриев — «Торжество муз».

[2] Супруга князя Варшавского — двоюродная сестра покойного Грибоедова. (Примечание Бегичева).

[3] Грибоедов приехал в Петербург с Туркманчайским договором 14 марта 1828 года, значит у Бегичева он был числа 12.

и, между прочим, сказывал мне, что граф Эриванский спрашивал его, какого награждения он желает: «Я просил графа, — говорил он, — представить меня только к денежному вознаграждению. Дела матери моей расстроены, деньги мне нужны, я приеду на житье к тебе.—Все, чем я до сих пор занимался, для меня дела посторонние, призвание мое — кабинетная жизнь, голова моя полна, и я чувствую необходимую потребность писать». — Но человек располагает, а бог определяет, говорит французская пословица. По прибытии Грибоедова в Петербург, государь император принял его очень милостиво и осыпал награждениями. Он получил и деньги, и чин, и орден св. Анны 2-й степени с бриллиантами, а потом по высочайшей воле министр предложил ему ехать полномочным послом в Персию. На пути к месту своего назначения Грибоедов пробыл у меня три дня. В разговорах наших, между прочим, спросил я его, не написал ли он еще комедии, и нет ли еще нового плана. «Я уже говорил тебе при последнем свидании» — отвечал он, — «что комедии больше не напишу, веселость моя исчезла, а без веселости нет хорошей комедии. Но есть у меня написанная трагедия». И тут же рассказал он содержание и прочел наизусть читанные им сцены в Петербурге. Не стану говорить мнения моего об этих сценах, вы его высказали в вашей рецензии [1]. Но на убеждения мои прочесть мне всю трагедию, он никак не согласился. «Я теперь еще к ней страстен, — говорил он, — и дал себе слово не читать ее пять лет, а тогда, сделавшись равнодушнее, прочту как чужое сочинение, и если буду доволен, то отдам в печать».

Во все время пребывания его у меня, он был чрезвычайно мрачен. Я ему заметил это, и он, взявши меня за руку, с глубокой горестью сказал: «Прощай, брат Степан, вряд ли мы с тобой более увидимся!!!»—«К чему эти мысли и эта ипохондрия?»— возразил я, — «ты бывал и в сражениях, но бог тебя миловал». — «Я знаю персиян, — отвечал он, — Аллаяр-Хан [2] мой личный враг, он меня уходит! Не подарит он мне заключенного с пер-

---

[1] Дело идет о трагедии «Грузинская ночь». Вот слова Дудышкина: «Замысел этой трагедии очень трагичен, и в нем видна уж та глубина мысли, без которой трудно было бы вообразить себе Грибоедова после «Горя от ума».

[2] Аллаяр-Хан был зять тогдашнего шаха персидского и в большой силе при дворе. Он возбудил шаха к об'явлению войны. (Примечание Бегичева).

сиянами мира. Старался я отделаться от этого посольства. Министр сначала предложил мне ехать поверенным в делах, я отвечал ему, что там нужно России иметь полномочного посла, чтобы не уступать шагу английскому послу. Министр улыбнулся и замолчал, полагая, что я, по честолюбию, желаю иметь титул посла. А я подумал, что туча прошла мимо и назначат кого-нибудь чиновнее меня, но через несколько дней министр присылает за мной и об'являет, что я по высочайшей воле назначен полномочным послом. Делать было нечего! Отказаться от этого под каким-нибудь предлогом, после всех милостей царских, было бы с моей стороны самая черная неблагодарность. Да и самое назначение меня полномочным послом в моем чине [1] я должен считать за милость, но предчувствую, что живой из Персии не возвращусь». То же рассказывал мне при свидании А. А. Жандр. Грибоедов прямо от министра приехал к нему поздно вечером, разбудил его и сказал: «Прощай, друг Андрей! Я назначен полномочным послом в Персию, и мы более не увидимся [2]. И, к несчастью, предчувствие это сбылось!!! Он погиб в цвете лет своих, и всем известна его трагическая кончина. Более 25-ти лет прошло после этого события, но и до сих пор я не могу без грусти вспомнить об этом!!! Он был хорошим сыном, хорошим братом, верным другом и всегда по сердцу готовым на помощь ближнему.

Желательно, чтобы вы, г-н рецензент, из изданной уже биографии и этого краткого очерка, с любовью [3]...

---

[1] Он только перед этим произведен был в статские советники. (Примечание Бегичева).

[2] Ср. рассказы Жандра о последней встрече с Грибоедовым в записях Смирнова.

[3] На этом слове обрывается 24-ая страница рукописи; сколько страниц пропало — неизвестно.

Е. П. Соковнина

ВОСПОМИНАНИЯ О Д. Н. БЕГИЧЕВЕ

Д. Н. Бегичев (1786—1855), из воспоминаний о котором его племянницы Е. П. Соковниной мы извлекаем записи о Грибоедове, был родным братом С. Н. Бегичева. С Грибоедовым он подружился в Белоруссии в 1813 году в полку генерала Кологривова. Впоследствии Грибоедов с ним часто встречался в Петербурге и в деревне у Степана Никитича. В конце своей жизни Д. Н. был воронежским губернатором. Ему посвящено одно стихотворение молодого Кольцова. Он занимался также литературой; его перу принадлежит ряд правоучительных повестей, из которых наибольший успех выпал «Семейству Холмских».

Статья Соковниной была написана в ответ на упоминания о Д. Н. Бегичеве в «Записках» Ксенофонта Полевого. Напечатана она была в «Историческом Вестнике» 1889 г. № 3; записи о Грибоедове находятся на стр. 665—666 и 672—673.

... О дружбе его [Д. Н. Бегичева] с Грибоедовым, К. А. Полевой в своих «Записках» говорит, что Грибоедов изобразил своего друга Д. Н. Бегичева в «Горе от ума» — в лице Платона Михайловича. Но беззаботный характер последнего решительно ни в чем не сходен с энергично-деятельным характером Д. Н. Бегичева. Молва же об изображении Д. Н. Бегичева в роли Платона Михайловича распространилась вследствие одного незначащего случая. В 1823 г. А. С. Грибоедов гостил летом в деревне (Дмитревка, Ефремовского уезда) друга своего Степана Никитича Бегичева и здесь исправлял и кончал свою бессмертную комедию, поселясь в саду, в беседке, освещаемой двумя большими окнами. Д. Н. Бегичев в это лето приехал к брату с своею женою. Раз Грибоедов пришел в дом к вечернему чаю и нашел обоих братьев Бегичевых сидящими у открытого окна в жаркой беседе о давно прошедших временах. Так как вечер был очень теплый, то Дмитрий Никитич расстегнул жилет. Жена его Александра Васильевна (урожденная

Давыдова, родная сестра партизана Д. В. Давыдова), боясь, чтобы муж не простудился, несколько раз подходила к нему, убеждая застегнуть жилет и ссылаясь на сквозной ветер. Д. Н., увлеченный разговором, не обращал внимания на ее просьбы, и, наконец, с нетерпением воскликнул: «Эх, матушка!» и, обратясь к брату, сказал: «А славное было время тогда!» А. С. Грибоедов, безмолвный свидетель этой сцены, расхохотался, побежал в сад, и вскоре за тем принеся свою рукопись, прочел им сцену между Платон Михайловичем и Натальей Дмитриевной, только-что им написанную, прибавив при этом: «Ну, не подумайте, что я вас изобразил в этой сцене; я только-что окончил ее перед приходом к вам». Конечно, все смеялись и так как этот маленький эпизод был передан Д. Н. Бегичевым братьям его жены, и, между прочим, Денису Васильевичу, словоохотливому весельчаку, то немудрено, что стоустая московская молва поспешила разнести весть, что А. С. Грибоедов изобразил своего друга Д. Н. Бегичева в роли Платона Михайловича [1]. Жена Д. Н. Бегичева, Александра Васильевна, не имела ничего общего с светской и бесцветной московской барыней Натальей Дмитриевной, изображенной в «Горе от ума». А. В. росла сиротою, под строгим надзором своей родной тетки Ек. Евд. Бибиковой, и была вынуждена с 18-летнего возраста взяться за управление имением не только тетки, но и имениями своих трех братьев Давыдовых, которые все были на службе. Их уважение и благодарность сестре за ее заботы были беспредельны [2].

. . . . . .

[1] Существует также версия о том, что прототипом Платона Михайловича Горичева был И. И. Огарев. В своей статье «Очерк первоначальной истории «Горя от ума» А. Н. Веселовский пишет следующее: «В лице добродушного и неповоротливого честного малого Платона Михайловича Горичева Грибоедов не задумался изобразить своего старого приятеля и родственника Илью Ивановича Огарева и, по старым рассказам, сам же приехал к другу и признался, что вставил его в свою комедию» («Русский Архив» 1874 г., № 6, стр. 1540).

[2] В той же статье А. Н. Веселовский предлагает версию о «двоюродной сестре Грибоедова, изображенной в лице Натальи Дмитриевны Горичевой». — И. Д. Гарусов в своем издании «Горя от ума» 1875 г. (стр. 360), сообщает, что «москвичи старого времени» видели в ней дочь Офросимовой, но сам отвергает это, выдвигая какую-то другую москвичку, известную ему по слухам, но фамилии ее не называет, «потому что хотя ее уж и нет в живых, но в Москве живут еще доселе очень близкие к ней люди».

Комм. П... Инв. № 51139

Мне было всего 12 лет, когда я провела зиму в Москве у моего дяди Степана Никитича Бегичева, у которого тогда, в 1823 г., жил его друг А. С. Грибоедов. Они оба имели большое влияние на мое умственное развитие. Слова А. С. Грибоедова, говорившего мне: «Лиза, не люби света и его побрякушек: будь деревенской девушкой, ты там будешь больше любима, а главное, научишься сама лучше любить», — глубоко запавшие мне в душу, сохранились живо в моей памяти, и дали мне направление к тихой семейной жизни. Даже любовь к музыке и серьезному чтению были развиты во мне моим дядей С. Н. Бегичевым и его другом А. С. Грибоедовым. В эту зиму Грибоедов продолжал отделывать свою комедию «Горе от ума» и, чтобы вернее схватить все оттенки московского общества, ездил на обеды и балы, до которых никогда не был охотник, а затем уединялся по целым дням в своем кабинете. Тогда по вечерам раздавались его чудные импровизации на рояли, и я, имея свободный доступ в его кабинет, заслушивалась их до поздней ночи. У меня сохранился сочиненный и написанный самим Грибоедовым вальс, который он передал мне в руки. Прилагаю этот вальс, в уверенности, что он может и теперь доставить многим удовольствие [1].

Дядя С. Н. Бегичев при богатстве своей жены (урожденной Барышниковой) мог бы жить роскошно в Москве, но так как он, подобно другу своему Грибоедову, не любил светских удовольствий, то всю роскошь в его домашнем обиходе составляли гастрономические обеды и дорогие вина, которые так славились, что привлекали в дом его многих приятных собеседников.

Почти ежедневными посетителями дяди были, между другими, князь В. Ф. Одоевский [2], очень еще тогда молодой, почти юноша,

[1] Воспроизведение этого автографа было дано в этой же книжке «Исторического Вестника», а затем перепечатано в первом томе Академического издания Грибоедова. — Опубликованный Соковниной вальс является первой редакцией; вторая же редакция, более совершенная, была напечатана в «Лирическом альбоме» на 1832 год.

[2] К сожалению, он не оставил своих воспоминаний о Грибоедове. Единственным памятником их отношений до последнего времени были лишь четыре письма Грибоедова к нему. Лишь недавно был найден любопытный документ, свидетельствующий о большой дружбе между ними существовавшей. Это — письмо В. Ф. Одоевского о Грибоедове, написанное в сентябре 1826 года из Петербурга в Москву С. А. Соболевскому и сохранившееся в архиве последнего:

«Уведомь меня, где и что Грибоедов — останется ли он в Москве и поедет ли в Грузию или нет, как и когда к нему писать; обо всем

и товарищ его по изданию сборника «Мнемозина» Кюхельбекер, который давал мне уроки русского и немецкого языков. Часто оживлял общество весельчак Верстовский, который тогда написал знаменитый свой романс «Черная шаль» и певал его с особенным выражением, своим небольшим баритоном, аккомпанируемый Грибоедовым. Остроумный и словоохотливый Денис Васильевич Давыдов сыпал острыми шутками и рассказами о былом. Понятно, что такое приятное общество, и притом с приправой лучших вин и изысканного обеда, приманивало многих посетителей. Бестужев, издатель альманаха «Полярная Звезда», искал знакомства с С. Н. Бегичевым, но А. С. Грибоедов советовал ему избегать Бестужева, зная замыслы декабристов, которым впрочем А. С. не придавал значения, что и выразил в ответе Чацкого Репетилову: «Шумите вы — и только!»

Никто не мог ожидать, чтобы рассеянный мечтатель и ипохондрик Кюхельбекер мог быть завербован в политический заговор. Его рассеянность давала повод к многим забавным анекдотам, но это не мешало ему обладать литературным талантом. Я обязана Кюхельбекеру тем, что он познакомил меня с красотами поэзии, а Грибоедову тем, что научил меня понимать высокопоэтические достоинства псалмов Давида, заставляя переводить некоторые из них.

Нравственное влияние С. Н. Бегичева на Грибоедова, начавшееся с 1812 г., когда Грибоедов, попав из университета в гусары, увлекался рассеянной жизнью военной молодежи, продолжалось до конца его жизни. Степан Никитич был на 9 лет старше Гри-

---

уведомь обстоятельно, скажи ему, что Ж(уковского) я только и видел один раз в день приезда, что он уехал в деревню и я не имел случая с ним больше свидеться. Скажи еще Гриб(оедову), что теперь не могу ничего писать к нему, но есть много писчего — оставлено до удобнейшего случая, поцелуй его от меня и от души — слышишь ли, сколько в тебе достанет; надобно же, чтобы судьба насмехалась так надо мною — он выехал из Петербурга на другой день моего приезда. Расскажи ему о моей женитьбе, опиши ему женщину, которая одна осмелилась понимать меня, принять во мне участие, женщину со светлою головою, с горячим сердцем, одним словом расскажи ему все, что знаешь, вырази ему то, чего я сам словами не могу выразить. Гриб(оедов) поймет этот немой язык — скажи ему, что я скоро ему все сам опишу. Прощай, будь здоров. Твой Владимир». — См. А. К. Виноградов. «Мериме в письмах к Соболевскому». М. 1928 г., стр. 205. — Ответное письмо Соболевского в архиве В. Ф. Одоевского, ныне находящемся в Ленинградской Публичной библиотеке, не сохранилось.

боедова, и А. С. уважал в нем человека с большим умом и здравым смыслом, необычайно доброго, без всяких эгоистических и честолюбивых целей, и всегда поддавался благотворному влиянию своего друга. Могу прибавить к этому, что С. Н. Бегичев всегда входил в материальные интересы Грибоедова, которые бывали порою очень стеснены, вследствие расточительности его матери. Дружеская помощь С. Н. не раз выручала его из затруднений.

Насколько сильно было влияние С. Н. Бегичева на Грибоедова служит доказательством, что Александр Сергеевич, как бы предчувствуя свою гибель, очень не желал принять предлагаемый ему пост посланника в Персии, и принял его единственно по убеждениям своего друга С. Н. Бегичева. С. Н. был уверен, что при знании Грибоедовым восточных языков, при его знакомстве с нравами и обычаями персиян, он мог принести на этом посту большие услуги России. Как же поразил С. Н. трагический конец его задушевного друга! Он упрекал себя в рановременной кончине Грибоедова, зная, что мечтой последнего было — поселиться в деревне и посвятить себя литературным трудам. Внезапная весть об убиении Грибоедова разом состарила дядю С. Н.; он вдруг постарел, и с этих пор ничто не могло развлечь его сердечной скорби.

В настоящее, переживаемое нами время эгоизма и холодного расчета, такие бескорыстные, светлые личности, как оба брата Бегичевы, способные любить до самозабвения, составляют уже редкое явление.

Ф. В. Булгарин

ВОСПОМИНАНИЯ О НЕЗАБВЕННОМ АЛЕКСАНДРЕ СЕРГЕЕВИЧЕ ГРИБОЕДОВЕ

Эти воспоминания были впервые напечатаны в январской книжке журнала «Сын Отечества» за 1830 г. (№ 1, том IX, стр. 3—42) под инициалами Ф. Б. Автором, который в то время был совместно с Н. И. Гречем издателем журнала, были сделаны отдельные оттиски этих воспоминаний; один такой оттиск сохранился в библиотеке Пушкина — см. Б. Л. Модзалевский, «Библиотека Пушкина»—«Пушкин и его современники», 1910 г., вып. 9—10, стр. 16. В том же году эти воспоминания были перепечатаны во втором издании «Сочинений Фаддея Булгарина», часть 12. — Эти воспоминания вызвали несправедливую анонимную эпиграмму в «Литературной Газете» 1830 г., № 53, стр. 136:

Ты целый свет уверить хочешь,
Что был ты с Чацким всех дружней:
Ах ты бесстыдник, ах злодей!
Ты и живых бранишь людей,
Да и покойников порочишь.

Эпиграмма эта приписывалась в старые годы Пушкину и лишь недавно было опубликовано свидетельство П. А. Вяземского о принадлежности ему этой эпиграммы (см. «Старина и Новизна» кн. VIII, стр. 38 и Н. О. Лернер. «Эпиграммы Вяземского на Булгарина» — «Русская Старина» 1908 г., № 7, стр. 113—117).

Ф. В. Булгарин (1789—1859) познакомился с Грибоедовым в начале июня 1824 года, вскоре по приезде Грибоедова в Петербург с рукописью «Горя от ума». Они быстро сблизились и впоследствии Булгарин об'яснил это сближение тем, что Грибоедову издавна был известен один добрый поступок Булгарина: помощь одному больному юноше, другу Грибоедова, в Варшаве в 1814 году (см. ниже «Как люди дружатся»). Булгарин принимал большое участие в судьбе Грибоедова: только благодаря его ловкости удалось напечатать отрывки из комедии в альманахе «Русская Талия»; в дни сидения Грибоедова под арестом в 1826 году, он с большим риском для себя сносился через подкупленного офицера стражи с Грибоедовым и пересылал ему книги и деньги; и, наконец, позднее Булгарин часто выполнял поручения

Грибоедова, присылаемые с Востока, по приобретению книг, вещей и по денежным счетам; он уведомлял также Грибоедова о новостях в ведомстве иностранных дел. Уезжая в последний раз на Восток, Грибоедов оставил Булгарину имеющий важное текстуальное значение, так называемый «Булгаринский список» «Горя от ума» с надписью: «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов». Впоследствии материальные отношения с Грибоедовым доставили Булгарину много неприятностей с наследниками поэта (см. Н. К. Пиксанов. «Столкновение Булгарина с матерью Грибоедова»—«Русская Старина». 1905 г., № 12, стр. 706—718).

Воспоминания Булгарина представляли собою первый и весьма дельный опыт биографии Грибоедова; во многих случаях эти воспоминания до сих пор сохраняют значение первоисточника. Текст их воспроизводим по публикации «Сына Отечества» с дополнениями по седьмому тому «Полного собрания сочинений Фаддея Булгарина». Новое, сжатое издание, исправленное и умноженное. П. 1844 г., стр. 245—257. Примечания, подписанные «Изд.» и «Соч.», принадлежат Ф. В. Булгарину.

После плачевного события, лишившего Россию одного из избранных сынов ее, а нас, друзей Грибоедова, повергнувшего в вечную горесть, — часто собирался я написать несколько строк в память незабвенного; но при каждом воспоминании о нем глубокая скорбь, об'яв душу, заглушала в ней все другие ощущения, затемняла разум и лишала возможности мыслить... я мог только проливать слезы...

Наконец, время, не исцелив ран сердечных, освоило меня с горестью, как увечного с его недугом. Я решился представить очерк жизни, или, лучше сказать, нравственного бытия Грибоедова, не для утешения друзей его (ибо нам невозможно утешиться), но исполняя долг гражданина, друга и писателя. Чувствую, что при всей моей любви к Грибоедову, при всем познании его характера, я не могу изобразить верно его нравственный портрет. Горжусь и тем, что мог постигнуть возвышенную его душу, и оценить необыкновенный ум и дарования.

Жизнь Грибоедова обильна чувствованиями, мыслями, мечтами высокими, но не богата происшествиями. Грибоедов родился около 1793 года [1]. Род его ведет свое происхождение из Польши,

[1] Ошибка. Вопрос о годе рождения Грибоедова дебатировался в литературе в течение многих лет. В 1874 году в «Русской Старине» (№ 10) Н. П. Розанов сообщил «Заметку о годе рождения Грибоедова», составленную на основании метрических книг Девятинской церкви в Москве; этому вопросу посвящены статьи В. Е. Якушкина

от фамилии Грибовских, переселившихся в Россию, кажется, в начале царствования рода Романовых. Один из предков Грибоедова подписался на Уложении царя Алексея Михайловича, припоминающем, во многих местах, Статут Литовский, сочиненный литовским канцлером Львом Сапегой в XVI веке. Это заставляет думать, что предок Грибоедова, писавший Уложение, мог быть нарочно вызван в Россию для этого дела, как муж искусный в правоведении. Впрочем, это одно предположение, о котором мы неоднократно говорили с покойным другом. Герб его и надпись на нем об'ясняют происхождение и древность его рода, который отныне получает новый блеск дарованиями и душевными качествами покойного Александра Сергеевича, лучшими правами на уважение соотечественников. Воспоминание о знаменитых предках служит укором недостойным потомкам, которые гордятся чужими заслугами. А. С. Грибоедов облагородил бы всякое происхождение [1].

Он получил первоначальное воспитание в Москве, в доме родительском. Лучшие профессора Московского университета и частные учителя преподавали ему уроки. После он стал посещать университетские публичные лекции, как вольнослушающий студент, учился прилежно, страстно. Более всех споспешествовал к развитию способностей Грибоедова, знаменитый московский профессор Буле. У него Грибоедов брал частные уроки в философических и политических науках, на дому, и руководствовался его советами по всем отраслям познаний.

Наступление отечественной войны прекратило учебные занятия Грибоедова. Получив по экзамену степень кандидата прав, с чином 12 класса, А. С. Грибоедов в 1812 г., июля 26, вступил в военную службу корнетом в формированный графом Салтыковым московский гусарский полк, который вскоре был распущен по смерти графа в Казани, и Грибоедов поступил, в декабре того же года, в иркутский гусарский полк.

Эскадрон, в который он был определен, находился тогда в Литве, в резервном кавалерийском корпусе, состоявшем под

(«Русские Ведомости» 1895 г., № 88); Язона («Русская Правда» 1904 г., № 19); Н. В. Шаломытова («Русские Ведомости» 1907 г., № 231); В. В. Каллаша («Утро России» 1907 г., 17 октября). Наиболее же веские аргументы были за 4 января 1795 года.

[1] О предках А. С. см. статью М. И. Семевского «Несколько слов о фамилии Грибоедовых» — «Москвитянин» 1856 г., № 9, стр. 309—323.

начальством генерала от кавалерии Андрея Семеновича Кологривова; главная корпусная квартира была в Бресте-Литовском. Здесь для Грибоедова началась новая жизнь [1]. Пламенная душа требовала деятельности, ум — пищи, но ни место, ни обстоятельства не могли удовлетворить его желаниям. Надлежало чем-нибудь наполнить пустоту сердца, и юность представила ему в радужных цветах мечты наслаждений, которых истинная цена познается только с летами и опытностью. Дружба спасла Грибоедова от сетей, в которые часто попадают пылкие и благородные, но неопытные юноши, в начале светского поприща. В это время Грибоедов познакомился и подружился с Степаном Никитичем Бегичевым, бывшим тогда ад'ютантом при генерале Кологривове, и нашел в нем истинного друга и ментора [2]. Дружба эта продолжалась до смерти Грибоедова и длится за гробом. В свете не поверили бы и стали удивляться такой дружбе, какая существовала между Грибоедовым, Бегичевым и еще некоторыми близкими к сердцу покойного. Чувства, мысли, труды, имущество, все было общим в дружбе с Грибоедовым. Нет тех пожертвований, на которые бы не решился Грибоедов для дружбы: всем жертвовали друзья для Грибоедова. Его нельзя было любить иначе, как страстно, с энтузиазмом, потому, что пламенная душа его согревала и воспламеняла все вокруг себя. С Грибоедовым благородный человек делался лучше, благороднее. Его нежная привязанность к другу, внимание, искренность, светлые, чистые мысли, высокие чувствования переливались в душу и зарождали ощущение новой, сладостной жизни. Его голос, взгляд, улыбка, приемы имели какую-то необыкновенную прелесть; звук его голоса проникал в душу, убеждение лилось из уст...

... Не могу написать ничего связного о Грибоедове: ибо, когда только должен вспомнить о душе его, о его качествах, сердце мое разрывается на части... Но я обещал сказать что-нибудь — исполняю!

Грибоедова любили многие, но, кроме родных, ближе всех к нему были: С. Н. Бегичев, Андрей Андреевич Жандр и я. Познав Грибоедова, я прилепился к нему душою, был совершенно счастлив

---

[1] Сохранилось описание праздника в Брест-Литовске в честь генерала Кологривова, составленное девятнадцатилетним Грибоедовым; оно было напечатано в «Вестнике Европы» 1814 г., № 15, стр. 228—238.

[2] Кологривов приходился дядей С. Н. Бегичеву; брат С. Н. — Д. Н. Бегичев был в то же время правителем канцелярии Кологривова.

его дружбою, жил новою жизнью в другом лучшем мире, и осиротел навеки!...

Но первое право на дружбу Грибоедова имел Бегичев. Он узнал его прежде других, прежде постигнул его, и в юношеском пламени открыл нетленное сокровище, душу благородную. С. Н. Бегичев разбудил Грибоедова от очарованного сна и обратил к деятельности. Грибоедов писал стихи, еще посещая университет, но не собирал их и не печатал. В Польше он снова обратился к русской словесности и написал комедию: «Молодые супруги», которая была играна в первый раз, в С.-Петербурге, сентября 29, 1815 года, в пользу актрисы Семеновой м[ладшей]. Грибоедов приехал в Петербург в 1815 году. В Польше познакомился он с князем А. А. Шаховским, а в Петербурге с Н. И. Хмельницким и А. А. Жандром. Связь с сими литераторами заставила его снова приняться за перо и трудиться общими силами для театра, по примеру французских писателей. Грибоедов участвовал с князем А. А. Шаховским и Н. И. Хмельницким в сочинении комедии «Своя семья», представленной в первый раз на С.П.Б. театре января 24, 1818 г.; а с А. А. Жандром перевел с французского комедию «Притворная неверность», соч[инения] Барта, представленную в первый раз на С.-Петербургском театре в феврале 1817 г.[1].

Тотчас по приезде в С.-Петербург, Грибоедов познакомился с Н. И. Гречем, издававшим «Сын Отечества», в котором Грибоедов поместил несколько театральных статей. Грибоедов душевно любил и уважал Греча, был с ним искренен, как с другом. Греч имел случай оказать ему на деле свою дружбу, и если я не поместил Греча в числе самых близких, то это потому только, что он по обстоятельствам реже бывал с Грибоедовым, нежели Жандр и я.

В 1816 г. в марте, Грибоедов вышел в отставку из военной службы. Проживая в Петербурге, он не столько занимался литературою, сколько побуждала его к тому врожденная склонность. Он жил более в свете и для света, и только малые урывки времени посвящал музам. В 1817 г. он поступил на службу в ведомство коллегии иностранных дел, с чином губернского секретаря; в следующем году определен секретарем персидской миссии, произве-

[1] Неправильно; впервые была поставлена в понедельник 11 февраля 1818 года в бенефис Екат. Семеновой (см. собрание афиш в Центральной библиотеке Ленинградских академических театров; ср. П. Арапов. Летопись русского театра. 1861 г., стр. 263).

ден в титулярные советники, и отправился в Тавриз. Российским поверенным в делах в Персии был тогда стат. сов. Мазарович.

Грибоедов знал совершенно немецкий, французский, итальянский и английский языки, и понимал латинский. В Персии он стал обучаться по-персидски, и в скором времени не только об'яснялся свободно на сем языке, но и понимал персидских авторов. Поведением своим и характером он снискал себе уважение целой английской миссии в Тавризе, и приобрел особенную благосклонность наследника престола, принца Аббаса-Мирзы, который истинно любил Грибоедова, и находил удовольствие в его беседе. Все отличнейшие сановники персидские также уважали Грибоедова; он много способствовал к поддержанию доброго согласия между Аббас-Мирзою и правлением нашим в Грузии. Во время пребывания своего в Персии, Грибоедов убедил множество русских, поселившихся в Персии и вступивших в военную службу, возвратиться на лоно отечества. Ему поручено было проводить этот отряд в российские пределы, и Грибоедов неоднократно подвергался опасности лишиться жизни в сем походе от озлобленных персиян, которым неприятно было возвращение сих переселенцев. Однако ж, это дело нимало не ослабило благосклонности Аббаса-Мирзы, который даже упросил шаха, родителя своего, пожаловать Грибоедову персидский орден Льва и Солнца 2-й степени. В 1822 г., января 3, он произведен за отличие в коллежские асессоры, и в том же году, в марте месяце, получил дозволение носить персидский орден. В феврале 1822 г. Грибоедов выбыл, по собственному желанию, из персидской миссии, и по высочайшему повелению определен по дипломатической части к г. главноуправляющему в Грузии, А. П. Ермолову.

Я до сих пор не говорил о достоинстве литературных опытов Грибоедова, и вовсе умолчу о прежних его произведениях, потому что они меркнут перед бессмертным трудом, его комедией «Горе от ума», известною в рукописи, в целой России, всем грамотным людям. Вот каким образом родилась эта комедия. Будучи в Персии, в 1821 г., Грибоедов мечтал о Петербурге, о Москве, о своих друзьях, родных, знакомых, о театре, который он любил страстно и об артистах. Он лег спать в киоске, в саду, и видел сон, представивший ему любезное отечество, со всем, что осталось в нем милого для сердца. Ему снилось, что он в кругу друзей рассказывает о плане комедии, будто им написанной, и даже читает некоторые места из оной. Пробудившись, Грибоедов берет каран

даш, бежит в сад, и в ту же ночь начертывает план «Горя от ума» и сочиняет несколько сцен первого акта. Комедия сия заняла все его досуги, и он кончил ее в Тифлисе, в 1822 г. В марте 1823 г. он получил отпуск в Москву и Петербург на 4 месяца. Приехав в Москву, Грибоедов стал посещать общества и в то же время почувствовал недостатки своей комедии и начал ее переделывать. Каждый выезд в свет представлял ему новые материалы к усовершению своего труда, и часто случалось, что он, возвратясь поздно домой, писал целые сцены по ночам, так сказать, в один присест. Таким образом составилось сие бессмертное творение, отпечаток чувствований, впечатлений и характера незабвенного автора. Любовь к родине и ко всему похвальному, глубокое презрение к нравственному ничтожеству, прикрывающемуся лаком иноземной образованности, презрение к закоренелым предрассудкам и низкому идолопоклонству, — вот характер сей комедии, написанной таким разговорным языком, какого поныне не было в нашей литературе. Первый списанный экземпляр сей комедии быстро распространился по России, и ныне нет ни одного малого города, нет дома, где любят словесность, где б не было списка всей комедии, по несчастью, искаженного переписчиками. Этот удивительный успех — первый пример в России! Комедия «Горе от ума» была напечатана отрывками в «Русской Талии», и нашла противников в Москве, где с изумительным постоянством восстают против всего, что выходит из обыкновенного круга. Есть и в Петербурге украшенные лаврами литераторы, которые не понимают, как может существовать комедия, в которой по обыкновению никто не женится, где нет пролазов-слуг, шалунов-племянников, старого опекуна, хитрого любовника и нежной любовницы, которой свадьба предшествует закрытию завесы. Наши письменные люди, дамы и мужчины, обученные мудрости по курсу Лагарпа, точно так же рассуждают. Есть добрые и умные люди, которые увлекаются чуждыми суждениями. Жестокий приговор комедии «Горе от ума», произносимый с завистью, невежеством, оскорбленным самолюбием и легковерным простодушием, есть лучшее доказательство ее высокого достоинства. Я не хочу распространяться в разборе всего произведения Грибоедова, потому что оно хотя и всем известно, но поныне не напечатано.

Находясь при особе А. П. Ермолова, Грибоедов снискал его доверенность и родительскую любовь. Грибоедов был также привязан к Алексею Петровичу, как к отцу, а не начальнику, был

с ним безотлучно, и даже сопутствовал ему в военных экспедициях. В 1824 г., в мае, Грибоедов получил позволение отправиться за границу на излечение болезни; но, прибыв в Петербург, остался там и прожил около года [1].

Уединенная жизнь в Персии и Грузии совершенно преобразила характер Грибоедова. Он не хотел появляться более в свете, посвятил себя наукам и, при необыкновенной памяти и прилежании, приобрел глубокие познания, продолжая изучать то, чему положены были хорошие начала профессором Буле. Грибоедов, сверх занятий изящною словесностью и поэзиею, трудился беспрестанно над изучением предметов важных. Правоведение, философия, история, политические и финансовые науки, составляли его всегдашнее упражнение. Он читал не для препровождения времени, но для того, чтобы научаться, и умел из всего извлекать полезное для ума и сердца. Из'ясняясь приятно и правильно на всех языках, он отлично хорошо говорил по-русски, достоинство весьма редкое между образованными русскими. Красноречие его, всегда пламенное, было убедительно, потому что основывалось на здравом смысле и глубокой учености. Трудно было не согласиться с ним в мнении. Он имел особенный дар, как все необыкновенные люди, убеждать и привлекать сердца. Знать его, было то же, что любить. Более всего привязывало к нему его непритворное добродушие, которое, при необыкновенном уме, действовало на сердца, как теплота на природу. От того-то, во время пребывания своего в Петербурге, Грибоедов, почувствовав ничтожность светских связей, подружился с литераторами и любителями наук и словесности, снискал их привязанность и уважение, и жил только в литературном кругу. Грибоедова не умели ценить в свете, не умели ценить его и некоторые литераторы, которые думают возвыситься тем, что выходят из природного своего круга и в приемных и гостиных ищут награды за свои труды, в благосклонности людей, непостигающих другого достоинства в человеке, кроме связей, богатства и почестей. Грибоедов был выше

[1] В это время упросил я его, позволить списать с себя портрет собственно для меня. Это единственный портрет его. Зная, что доставим удовольствие многим, я и товарищ мой, Н. И. Греч, вознамерились издать оный. Знаменитый наш художник, Н. И. Уткин, исполнил наше желание. *Изд.* — Подлинник этого портрета, рисованного цветным карандашом художником Рабильяром (?), вделан в переплет Булгаринского списка «Горя от ума», ныне находящегося в Ленинградской Публичной библиотеке.

всех этих мелочей: они казались ему смешными и жалкими, столько же, как и люди, забывающие для них предопределение таланта. Он купил познание света опытностью; чтил и уважал звание и почести в людях заслуженных и достойных, и никогда не склонял чела перед временными любимцами фортуны или счастливыми пронырами. Разумеется, что с этими чувствами Грибоедов долженствовал иметь врагов. Он имел их, не сделав никому ни малейшего зла, но единственно за то, что был выше других умом и душою. За это самое Сократ испил цикуту.

Грибоедов написал в это время прекрасное стихотворение на балет «Руслан и Людмила», напечатанное в «Сыне Отечества», и перевел пролог к гетеву «Фаусту», напечатанный в альманахе «Полярная Звезда». Он отказался от намерения ехать за границу и решился возвратиться в Грузию, побывав в южной России и в Крыму. Он любил величественную природу Грузии. Возвратясь туда, он был в экспедиции с генералом Вельяминовым против горских народов, в 1825 г., и в виду вершин Кавказа и неприятельского стана написал прелестное стихотворение «Хищники на Чегеме», напечатанное в «Северной Пчеле» [1].

Происшествия, опечалившие Россию в конце 1825 г., потребовали присутствия его в Петербурге. Не знали Грибоедова, и узнали его. Благородный образ мыслей, откровенность и чистота всех дел его и помыслов снискали ему милостивое внимание правосудного и великодушного монарха. Грибоедов имел счастье представляться государю императору и с этой минуты душою полюбил августейшего монарха, как государя и как человека [2]. При отправлении на службу, по собственному его желанию, обратно в Грузию, Грибоедов всемилостивейше награжден чином надворного советника, 8 июня 1826 г.

В это время он жил со мною, на даче, в уединенном домике на Выборгской стороне, видался только с близкими людьми, про-

---

[1] Поводом к написанию этого стихотворения явились действия «хищнических племен» — кабардинцев и черкесов, которые в числе до 2.000 человек на рассвете 29 сентября напали на станицу Солдатскую и разгромили ее. — Автограф, с которого стихотворение печаталось в «Северной Пчеле», в семидесятых годах был найден в Карловском архиве Булгарина и целиком опубликован в «Русской Старине» 1874 г., № 6, стр. 279—281.

[2] Эти утверждения остаются, конечно, на совести Булгарина; об отношении Грибоедова к декабристам см. ниже комментарии к воспоминаниям Н. В. Шимановского и Д. И. Завалишина.

водил время в чтении, в дружеской беседе, в прогулках, и занимался музыкою. Все изящное имело доступ к душе Грибоедова: он страстно любил музыку, будучи сам искусен в игре на фортепиано. Фантазии его и импровизации отзывались глубоким чувством меланхолии.

Часто он бывал недоволен собою, говоря, что чувствует, как мало сделал для словесности. «Время летит, любезный друг», говорил он: «в душе моей горит пламя, в голове рождаются мысли, а между тем, я не могу приняться за дело, ибо науки идут вперед, а я не успеваю даже учиться, не только работать. Но я должен что-нибудь сделать... сделаю!..» Вот как думал Грибоедов. Он не мог без сожаления вспоминать о том, что некоторые наши писатели, особенно поэты, думают, что им должно следовать одному вдохновению и ничему не учиться. Грибоедов указывал на Байрона, Гете, Шиллера, которые от того именно вознеслись выше своих совместников, что гений их равнялся их учености. Грибоедов судил здраво, беспристрастно и с особенным жаром. У него навертывались слезы, когда он говорил о бесплодной почве нашей словесности. «Жизнь народа, как жизнь человека, есть деятельность умственная и физическая», говорил Грибоедов: «Словесность — мысль народа об изящном. Греки, римляне, евреи не погибли от того, что оставили по себе словесность, а мы... мы не пишем, а только п е р е п и с ы в а е м! Какой результат наших литературных трудов по истечении года, столетия? Что мы сделали, и что могли бы сделать!...» Рассуждая о сих предметах, Грибоедов становился грустен, угрюм, брал шляпу и уходил один гулять в поле или в рощу.

Мне не случалось в жизни ни в одном народе видеть человека, который бы так пламенно, так страстно любил свое отечество, как Грибоедов любил Россию. Он в полном значении о б о ж а л ее. Каждый благородный подвиг, каждое высокое чувство, каждая мысль в русском приводила его в восторг. Если бы знали враги его, раздиравшие его литературную славу, как он радовался, находя в них хорошее! Грибоедов, зная столько иностранных языков, любил читать русские книги, особенно переводы (даже самые плохие) великих писателей. Когда я из'явил ему мое удивление на этот счет, он отвечал: «Мне любопытно знать, как из'яснены высокие мысли и наставления мудрецов, и может ли

понимать их класс народа, незнающий иностранных языков? Это археологические и этнографические изыскания, любезный друг», прибавил он с улыбкою.—Грибоедов чрезвычайно любил простой русский народ и находил особенное удовольствие в обществе образованных молодых людей, неиспорченных еще искательством и светскими приличиями. Он находил особенное наслаждение в посещениях храмов божьих. Кроме христианского долга, он привлекаем был туда особенным чувством патриотизма. «Любезный друг!» говорил он мне: «только в храмах божьих собираются русские люди; думают и молятся по-русски. В русской церкви, я в отечестве, в России! Меня приводит в умиление мысль, что те же молитвы читаны были при Владимире, Димитрии Донском, Мономахе, Ярославе, в Киеве, Новегороде, Москве; что то же пение трогало их сердца, те же чувства одушевляли набожные души. Мы русские только в церкви,—а я хочу быть русским!..»

Но эта любовь к отечеству не заставляла его ненавидеть чужеземцев, подобно тем грубым невеждам, которые почитают врагом каждого, кто не родился на берегах Волги или Оки. Напротив того, Грибоедов радовался, когда чужеземец посвящал свои таланты на пользу России, и был признателен к каждому, оказавшему услуги его отечеству. Разумеется само по себе, что Грибоедов не почитал чужеземцами жителей областей, присоединенных к России оружием или трактатами. Такая мысль не может родиться в голове образованного человека. Но как всякий человек имеет свой особенный образ мыслей, то он любил более славянские поколения, и желал, чтобы из двух человек одинакового достоинства, соплеменник предпочитаем был иноплеменнику. Грибоедов вообще не любил разделения между славянскими племенами, и почитал их одною семьею. Ему нравилась мысль моя: что все славянские поколения родные сестры, из которых одна замужем за единоплеменником, другая — за немцем, третья — за турком, но это не должно препятствовать родственной любви и согласию.

Приехав в Грузию при начале войны с Персией, Грибоедов находился при особе графа Паскевича-Эриванского, своего родственника, любившего его, как родного брата. Деятельность графа и пламенное желание быть полезным тому краю, обрадовали Грибоедова и заставили его трудиться. Я намерен сообщить здесь отрывки из нескольких его писем, в которых изображается

характер и душа Грибоедова, лучше, нежели в чужом описании. Вот что он писал ко мне из Тифлиса, от 16 апреля 1827 [1]:

«Любезный друг, Фаддей Венедиктович! Прежде всего просьба, чтобы не забыть, а потом уже благодарность за дружеское твое внимание к скитальцу в восточных краях. Пришли мне пожалуйста статистическое описание, самое подробнейшее, сделанное по лучшей, новейшей системе, какого-нибудь округа южной Франции, или Германии, или Италии (а именно, Тосканской области, коли есть, как края наиболее возделанного и благоустроенного), на каком хочешь языке, и адресуй в канцелярию главноуправляющего, на мое имя. Очень меня обяжешь. Я бы извлек из этого таблицу не столь многосложную, но по крайней мере порядочную, которую бы разослал к нашим окружным начальникам, с кадрами, которые им надлежит наполнить [2]... При Алексее Петровиче у меня много досуга было и если я немного наслужил, так вдоволь начитался. Авось теперь, с божиею помощию, употреблю это в пользу. — Стихов Жандра в первом номере я нигде не мог отыскать; ты не прислал мне; а другие—«К Музе» я, еще не зная чьи они, читал здесь вслух у Ховена и уверен был, что это произведение человека с большим дарованием. Я надеюсь, что воротясь из похода, как-нибудь его сюда выпишу. Не могу довольно я отблагодарить тебя за прежнее твое письмо и за присылку журналов. Желал бы иметь целого Годунова [3]... В первой сцене Бориса мне нравится Пимен—старец... Не ожидай от меня стихов; горцы, персияне, турки, дела управления, огромная переписка нынешнего моего начальника поглощают все мое внимание. Не надолго, разумеется: кончится кампания и я откланяюсь. В обыкновенные времена никуда не гожусь: и не моя вина: люди мелки, дела их глупы, душа черствеет, рассудок затмевается и нравственность гибнет без пользы ближнему. Я рожден

---

[1] В публикации этого письма, как и в публикации почти всех писем Грибоедова, Булгарин допустил много искажений и пропусков; всех интересующихся этими письмами отсылаем к третьему тому академического издания, где они опубликованы в полном виде. Наиболее же примечательные искажения и пропуска восстанавливаем в подстрочных примечаниях.

[2] Пропущена фраза: «а то с этим невежественным чиновным народом век ничего не узнаешь, и сами они ничего знать не будут».

[3] Трагедия «Борис Годунов», соч. А. С. Пушкина, находящаяся в рукописи. — С о ч.

для другого поприща... I глава твоей «Сиротки» [1] так с натуры списана, что (прости душа моя) невольно подумаешь, что ты сам когда-нибудь валялся с кудлашкой. Тьфу пропасть! Как это смешно, и жалко, и справедливо [2]... Многие просят, чтобы ты непременно продолжал и окончил эту повесть».

Наконец, началась война. Грибоедов был безотлучно при графе Паскевиче-Эриванском, охотно переносил труды военные и не прятался от опасностей. Он прослужил кампанию, как отличный гражданский чиновник и как храбрый воин [3]. По представлению графа, он награжден был за отличие чином коллежского советника, в декабре 1827 г. Он был послан в лагерь Аббаса-Мирзы для переговоров о мире, и имел с ним весьма занимательные сношения. При заключении Туркманчайского трактата, Грибоедов трудился беспрерывно и оказал важные услуги. В награду за сие, он избран был графом Паскевичем-Эриванским поднести мирный трактат государю императору.

В Петербурге получено было прежде известие, что Грибоедов отправится с трактатом в Петербург. Дурная дорога воспрепятствовала ему прибыть в срочное время для курьерской езды. С нетерпением ожидали его. Не могу без умиления вспомнить о той радостной минуте, в которую я встретил его. По какому-то инстинкту, я несколько дней сряду ходил в заездный дом Демута и ожидал моего друга. Наконец, 14 марта, около полудня под'ехала кибитка, и я принял его в мои об'ятия... Мы плакали, как дети, от радости! [4]...

---

[1] В романе «Иван Выжигин». Тогда я сочинял сей роман и напечатал I главу в «Сыне Отечества». С о ч.

[2] Булгариным пропущена фраза, характеризующая круг его читателей: «Я несколько раз заставал моего Александра, когда он это читал вслух своим приятелям».

[3] Вот черта, характеризующая Грибоедова. В последнюю Персидскую войну он проезжал верхом, вместе с князем Италийским, графом Суворовым-Рымникским, внуком великого, под выстрелами неприятельских орудий. Ядро оконтузило лошадь кн. Суворова, и она в испуге поднялась на дыбы. Грибоедов, любя князя и думая в первую минуту, что он ранен, пришел в некоторое смущение. Полагая, что страх вкрался в его душу, он решился наказать себя. При первом представившемся случае, сел на батарею, и выдержал, не сходя с места, 124 неприятельских выстрела, чтобы освоиться с ядрами, как он говорил. (Примечание Булгарина).

[4] В прибавлении к № 32 «Северной Пчелы» на 1828 год, выпущенном 15 марта, Булгарин напечатал заметку о приезде Грибоедова.

Государь император наградил по-царски Грибоедова: пожаловал ему чин статского советника, орден св. Анны 2-й степени с алмазами, медаль за Персидскую войну и 4.000 червонных [1]. В апреле сего же 1828 г. мудрый монарх наш благоволил назначить его полномочным министром при дворе персидском.

Все предвещало счастливый успех. Грибоедов знал персидский язык, страну, нравы и обычаи, характер двора и главнейших сановников. Грибоедов вовсе не предугадывал о сем блестящем назначении и намеревался выйти в отставку, посвятить себя совершенно наукам и словесности и поселиться со мною, по крайней мере на некоторое время, возле ученого Дерпта, в моем тихом убежище [2].Мы утешались этой мыслью, делали планы, как будем провожать время, как будем ездить в гости в Москву, в Петербург, в деревню к С. Н. Бегичеву, и проч. Повинуясь воле государя и желая служить ему усердно, Грибоедов отсрочил свое намерение жить для науки и словесности, но не отказался от них совершенно. Пламенея ревностию к службе, он однако же с мрачным предчувствием вспоминал о Персии и предсказывал, что не возвратится оттуда, что там должен окончить жизнь, в отдалении от милых сердцу, и часто повторял: «там моя могила! Чувствую, что не увижу более России!..».

Из прощального письма в деревню, к жене моей, которую он любил как сестру, можно видеть его предчувствия и надежды.

«Прощайте, милый друг, прощайте! Расстаюсь с вами на три года, а может быть—навсегда! О боже! неужели я должен навсе-

---

[1] Любопытные дополнения к этим строкам имеются в письме Булгарина к шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу, сохранившемся в черновой копии в архиве Ф. В. в Карлове близ Дерпта: «Когда Грибоедов приехал в Петербург с Туркманчайским трактатом и получил от щедрот государя императора 4.000 червонных, то тотчас же отдал мне деньги на сохранение. Князь (В. Ф.) Одоевский (служащий в иностранной цензуре), пришед в квартиру Грибоедова, удивился, застав меня считающего деньги хозяина квартиры. Я посоветовал другу моему составить капиталец, и он отдал мне 36.000 рублей для сохранения. Между тем, прежде нежели разменяли червонцы и положили деньги в ломбард, Грибоедов имел нужду одеться, жить и уплатить кое-какие должки, взял у меня 5.000 рублей, с тем, чтобы возвратить при получении жалования до от'езда в Москву или после. Не надеясь даже быть посланником, он хотел ехать на лето со мною в деревню мою»; см. Н. К. Пиксанов. «Столкновение Булгарина с матерью Грибоедова» — «Русская Старина» 1905 г., № 12, стр. 710—711.

[2] В имении Булгарина, Карлове.

гда остаться в стране, чуждой моим чувствованиям! Я еще не теряю надежды укрыться в вашем Карлове, от всего, что тяготит меня в жизни! Но когда? Еще далеко до этого! В ожидании, прощайте, и будьте счастливы. С. П. Б. 5 июня 1828 г.» [1].

Во время военных и дипломатических занятий, Грибоедов, в часы досуга, уносился душою в мир фантазии. В последнее пребывание свое в Грузии он сочинил план романтической трагедии и несколько сцен, вольными стихами с рифмами. Трагедию назвал он «Грузинская ночь»; почерпнул предмет оной из народных преданий и основал на характере и нравах грузин. Вот содержание: один грузинский князь за выкуп любимого коня отдал другому князю отрока, раба своего. Это было делом обыкновенным, и потому князь не думал о следствиях. Вдруг является мать отрока, бывшая кормилица князя, няня дочери его; упрекает его в бесчеловечном поступке; припоминает службу свою, и требует или возврата сына или позволения быть рабою одного господина, и угрожает ему мщением ада. Князь сперва гневается, потом обещает выкупить сына кормилицы, и, наконец, по княжескому обычаю—забывает обещание. Но мать помнит, что у нее отторжено от сердца детище, и как азиатка, умышляет жестокую месть. Она идет в лес, призывает Дели, злых духов Грузии [2], и

[1] Этим днем и датирована надпись Грибоедова на рукописи «Горя от ума», оставленной им Булгарину; об этой рукописи Булгарин писал позже: «Грибоедов, уезжая посланником в Персию, дал мне полное право собственности собственноручною надписью на подлинной комедии и особою формальною бумагою»; см. «Письмо Ф. В. Булгарина к Михаилу Александровичу (Дондукову-Корсакову) из Петербурга от 1 марта 1832 года» — «Библиографические Записки» 1859 г., № 20, столб. 621.—Исследование Булгаринского списка см. в книге Н. К. Пиксанова «Творческая история «Горя от ума», М., 1928.

[2] У Грибоедова это—духи ведьмы Али. В статье Н. Берзенова «О грузинской медицине» имеется следующая характеристика духов Али: «Есть молитва, в которой гном, известный у грузин под именем Али (буквально—пламень), обрисован рельефно. По народному поверью, Али — дух женского пола, и он в особенности преследует родильниц; часто является он им в образе повивальных бабок, умерщвляет дитя, а родильницу уводит и бросает в реку... Сказывают, были и теперь будто бы есть неустрашимые люди, которым удавалось поймать Али и держать ее несколько лет в услужении; уверяют, что она невольно делается рабой того, кто отрежет у ней косу, а так как Али часто расчесывает свои волосы на пустынном берегу реки, то это можно сделать при известных условиях». У Али «зубы словно кабаньи клыки, а коса во весь рост, и говорит-то она хотя языком человеческим, но

составляет адский союз на пагубу рода своего господина. Появляется русский офицер в доме, таинственное существо по чувствам и образу мыслей. Кормилица заставляет Дели вселить любовь к офицеру, в питомице своей, дочери князя. Она уходит с любовником из родительского дома. Князь жаждет мести, ищет любовников и видит их на вершине горы св. Давида. Он берет ружье, прицеливается в офицера, но Дели несут пулю в сердце его дочери. Еще не свершилось мщение озлобленной кормилицы! Она требует ружья, чтобы поразить князя,—и убивает своего сына. Бесчеловечный князь наказан небом за презрение чувств родительских и познает цену потери детища. Злобная кормилица наказана за то, что благородное чувство осквернила местью. Они гибнут в отчаянии. Трагедия, основанная, как выше сказано, на народной грузинской сказке, если б была так окончена, как начата, составила бы украшение не только одной русской, но и всей европейской литературы. Грибоедов читал нам наизусть отрывки, и самые холодные люди были растроганы жалобами матери, требующей возврата сына у своего господина. Трагедия сия погибла вместе с автором! [1]...

Н. И. Греч, услышав отрывки из этой трагедии и ценя талант Грибоедова, сказал в его отсутствии: «Грибоедов только попробовал перо на комедии «Горе от ума». Он займет такую степень в литературе, до которой еще никто не приближался у нас: у него, сверх ума и гения творческого, есть—душа, а без этого нет поэзии!» [2].

Наконец, Грибоедов поехал к своему назначению, но по обстоятельствам не мог отправиться прямо в Персию и должен был свидеться прежде с графом Паскевичем-Эриванским. Отрывки из двух писем ко мне покажут, как Грибоедов смотрел на дела и какими чувствами одушевлялось его русское сердце.

все наоборот, и вся она создана будто на изнанку, и все члены у ней будто выворотные»—См. «Кавказский Календарь» на 1857 г.

[1] Это не совсем так. Отрывки из «Грузинской ночи» сохранились в «Черновой тетради» Грибоедова, бывшей в руках у Д. А. Смирнова, напечатавшего эти отрывки в своей статье в «Русском Слове» 1859 г., № 5, стр. 89—95 и 115—116. — В позднейших перепечатках этих воспоминаний Булгарин сделал следующее примечание: «Ныне (в ноябре 1830 года), получил я известие, что отрывки из сей трагедии и некоторые другие сочинения Грибоедова уцелели».

[2] В «Записках о моей жизни» Н. И. Греч, между прочим, пишет о Булгарине: «В моем доме он узнал Бестужевых, Рылеева, Грибоедова, Батенкова, Тургеневых и пр.—цвет умной молодежи».

«Ставрополь, 27 июня 1828 г.

Любезнейшая Пчела! Вчера я сюда прибыл с мухами, с жаром, с пылью! Пустил бы я на свое место какого-нибудь франта, охотника до почетных назначений, Dandy петербургского, Bonds-street — Невского проспекта, чтобы заставить его душою полюбить умеренность в желаниях и неизвестность.

Здесь меня задерживает приготовление конвоя. Как добрый патриот, радуюсь взятию Анапы. С этим известием я был встречен тотчас при в'езде. Нельзя довольно за это благодарить бога, тому, кто дорожит безопасностью здешнего края. В последнее время закубанцы сделались дерзки, до сумасбродства, переправились на нашу сторону, овладели несколькими постами, сожгли Незлобную обременили себя пленными и добычею. Наши пошли к ним на перерез с 1.000 конными и с 4-мя орудиями, но не поспели. Пехота стала действовать отдельно, растянулась длинною цепью тогда, как донской полковник Родионов предлагал, соединившись, тотчас напасть на неприятеля, утомленного быстрым переходом. Горцы расположены были табором в виду, но заметив несовокупность наших движений, тотчас бросились в шашки, не дали ни разу выстрелить орудию, бывшему при пехотном отряде, взяли его и перерубили всех, которые при нем были, опрокинули его вверх колесами, и поспешили против конного нашего отряда. Родионов удержал их четырьмя орудиями; потом хотел напасть на них со всеми казаками линейными и донскими, но не быв подкреплен, ударил на них только с горстью донцев своих, и заплатил жизнию за великодушную смелость. Ему шашкою отхватили ногу, потом пулею прострелили шею: он свалился с лошади и был изрублен. Однако отпор этот заставил закубанцев бежать от Горячих вод, которым они угрожали нападением. Я знал лично Родионова: жаль его, отличный офицер, исполинского роста и храбрейший. Тело его привезли на Воды. Посетители сложились, чтобы сделать ему приличные похороны, и провожали его, как избавителя, до могилы. Теперь, после падения Анапы, все переменилось: разбои и грабительства утихли, и тепловодцы, как их здесь называют, могут спокойно пить воду и чай. Генерал Эммануэль отправился в Анапу, чтобы принять присягу от тамошних князей. На дороге с той стороны Кубани, толпами к нему выходили навстречу все горские народы с покорностию и подданством. Опять повторяю, что выгоды от взятия Анапы неисчислимы... Прощай. Лошади готовы. Коли к моему приезду гр. Эриванский

возьмет Карс, то это немало послужит в пользу моего посольства. Здесь я уже в его улусах; все меня приветствуют с новым начальником [1]. Говорят, что он со всеми ласков, добр, внимателен, и бездну добра делает частного и общего. А у нас чиновники народ добрый! [2]. Прощай, еще раз, любезный друг».

Сообщив известие для «Северной Пчелы» о взятии Карса, Грибоедов приписал следующее: «Ура! Любезнейший друг! мои желания и предчувствия сбылись. Карс взят штурмом. Читай реляцию и проповедуй ее всенародно. Это столько чести приносит войску и генералу, что нельзя русскому сердцу не прыгать от радости. У нас здесь все от славы с ума сходят. Верный друг твой А. Г.».

Владикавказ, 30 июня 1828 г.».

Грибоедов, будучи в последний раз в Петербурге, открылся верным друзьям своим, что он любит. Он был как родной в доме той, которая занимала его сердце, видел ее ребенком, и привык обходиться с нею, как с меньшою сестрою. В Петербурге он не знал еще, что сделает с собою, но одна минута решила судьбу его. Сообщаю любопытное письмо его ко мне по сему предмету. Это самый верный отпечаток сердца Грибоедова и его самобытного, необыкновенного характера. Читая это письмо — кажется, видишь его!

«Биваки при Казанче, на турецкой границе, 24 июля 1828 г.

Любезный друг! пишу к тебе под открытым небом, и благодарность водит моим пером: иначе никак бы не принялся за эту работу, после трудного дневного перехода. Очень, очень знаю, как дела мои должны тебе докучать. Покупать, заказывать, отсылать!

Я тебя из Владикавказа уведомил о взятии Карса. С тех пор прибыл в Тифлис. Чума, которая начала свирепствовать в действующем отряде, задержала меня на месте; от графа Паскевича ни слова, и я пустился к нему наудачу. В душной долине, где протекают Храм и Алгет [3], лошади мои стали; далее, поднимаясь к

---

[1] Эта бессмысленная фраза у Грибоедова совершенно иначе написана: «Здесь я уже к его услугам, все меня приветствуют с чрезвычайною переменою его характера».

[2] Дальше в письме написано: «собачья натура, все забыли прошедшее, полюбили его и стали перед ним на задние лапки...»

[3] В публикации «Русской Старины» «Аракс и Алгетла».

Шулаверам, никак нельзя было понудить их итти в гору. Я в реке ночевал; рассердился, побросал экипажи, воротился в Тифлис накупил себе верховых и вьючных лошадей, с тем, чтобы тотчас пуститься снова в путь, а с поста казачьего отправил депешу к графу... Это было 16-го. В этот день я обедал у старой моей приятельницы А[хвердовой], за столом сидел против Нины Чавчавадзевой, все на нее глядел, задумался, сердце забилось; не знаю, беспокойство ли другого рода, по службе, теперь необыкновенно важной, или что другое, придало мне решительность необычайную: выходя из-за стола, я взял ее за руку и сказал ей: «Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous dire». Она меня послушалась, как и всегда: верно думала, что я ее усажу за фортепиано,—вышло не то. Дом ее матери возле; мы туда уклонились, вошли в комнату; щеки у меня разгорелись, дыханье занялось; я не помню, что я начал ей говорить, и все живее и живее; она заплакала, засмеялась... потом к матушке ее, к бабушке, к ее второй матери Пр. Н. А[хвердовой]; нас благословили...; отправил курьера к ее отцу, в Эривань, с письмами от нас обоих и от родных. Между тем вьюки мои и чемоданы изготовились, все вновь уложено на военную ногу; во вторую ночь я без памяти, от всего, что со мною случилось, пустился опять в отряд, не оглядываясь назад. На дороге получил письмо летучее от Паскевича, которым он меня уведомляет, что намерен сделать движение под Ахалкалаки. На самой крутизне Безобдала гроза сильнейшая продержала нас всю ночь: мы промокли до костей. В Гумрах я нашел, что уже сообщение с главным отрядом прервано. Граф оставил Карский Пашалык, и в тылу у него образовались толпы турецких партизанов; в самый день моего приезда была жаркая стычка, у Басова черноморского полка, в горах за Арпачаем. Под Гумрами я наткнулся на отрядец из 2-х рот Козловского, 2-х рот 7-го карабинерного и 100 человек, выздоровевших; все это назначено на усиление главного корпуса; но не знали куда итти; я их тотчас взял всех под команду, 4-х проводников из татар, сам с ними и с казаками впереди, и вот уже второй день веду их под Ахалкалаки; всякую минуту ожидаем нападения. Коли в целости доведу, дай бог. Мальцев в восхищении: воображает себе, что он воюет.

В Гумрах же нагнал меня ответ от князя Чавчавадзева-отца из Эривани: он благословляет меня и Нину, и радуется нашей любви.—Хорошо ли я сделал? Спроси милую мою В[арвару] С[еме-

новну] и Андрея [1]. Но не говоря Р[одофиникину] [2]: он вообразит себе, что любовь заглушит во мне чувство других моих обязанностей. Вздор. Я буду вдвое старательнее служить, за себя и за нее».

По возвращении в Тифлис, Грибоедов писал ко мне:

«Строфы XIII, XIV, XV [3].

. . . . . .

Промежуток 1½ месяца.

Дорогой мой Фаддей! Я по возвращении из действующего отряда сюда в Тифлис 6-го августа занемог жестокою лихорадкою. К 22-му получил облегчение. Нина не отходила от моей постели, и я на ней женился. Но в самый день свадьбы, под венцом уже, опять посетил меня пароксизм, и с тех пор нет отдыха: я так исхудал, пожелтел и ослабел, что, думаю, капли крови здоровой во мне не осталось».

Наконец, он отправился с супругою в Тегеран. Мрачные предчувствия стесняли сердце его более, нежели когда-нибудь, и он с каждым днем становился грустнее, как будто знал, что приближается к гробу. Выписки из письма его к почтенной даме, которую он любил как мать, к В. С. М[иклашевиче]вой, дадут полное понятие о том, что происходило в душе его.

«Эчмядзин, 17 сент. 1828 г.

Друг мой, В[арвара] С[еменовна]! [4]. Не пеняйте же на долгое мое молчание, милый друг; видите ли, в какую для меня необыкновенную эпоху я его прерываю. Женат, путешествую с огромным караваном, 110 лошадей и мулов, ночуем под шатрами, на высотах гор, где холод зимний. Нинуша моя не жалуется, всем довольна и весела: для перемены бывают нам блестящие встречи, конница во весь опор несется, пылит, спешивается и поздравляет нас с щастливым прибытием туда, где бы вовсе быть не хотелось.

---

[1] В. С. Миклашевич и А. А. Жандр — друзья Грибоедова.

[2] К. К. Родофиникин, директор азиатского департамента Министерства иностранных дел, с которым Грибоедов не ладил, так как расходился с ним во взглядах на задачи русской политики в Персии.

[3] Эти строфы и точки поставлены Грибоедовым в шутку, в подражание модным поэмам. (Примечание Ф. В. Булгарина).

[4] Пропущена фраза: «Жена моя по обыкновению смотрит мне в глаза, мешает писать, знает, что пишу к женщине и ревнует».

Ныне нас принял весь клир монастырский в Эчмядзине, с крестами, иконами и хоругвями, пением, курением etc; и здесь, под сводами этой древней обители, первое мое помышление об вас и Андрее. Помиритесь с моей ленью.

Как все это случилось! Где я, что, и с кем!.. [1]. Но мне простительно-ли, после стольких опытов, стольких размышлений, вновь бросаться в новую жизнь, предаваться на произвол случайностей и все далее от успокоения души и рассудка! А независимость, которой я такой был страстный любитель? Исчезла, может быть, навсегда, и как ни мило и утешительно делить все с прекрасным, воздушным созданием, но это теперь так светло и отрадно, а впереди так темно, неопределенно!! Всегда ли так будет!! Бросьте вашего Трапёра и Куперову Prairie, мой роман живой у вас перед глазами и во сто крат занимательнее: главное в нем лицо, друг ваш, неизменный в своих чувствах, но в быту, в роде жизни, в различных похождениях, непохожий на себя прежнего, на прошлогоднего, на вчерашнего даже; с каждою луною со мной сбывается что-нибудь, о чем не думал, не гадал».

«Табриз, 3 декабря.

Как я себя виню, что не послал вам написанных строчек три месяца назад! Вы бы не сердились на меня, а теперь верно разлюбили, и правы. Не хочу оправдываться. Андрей! ты помоги мне умилостивить нашего общего друга. Хорошо, что вы меня насквозь знаете, и не много надобно слов, чтобы согреть в вас те же чувства, ту же любовь, которые от вас, моих милых, нежных друзей, я испытывал в течение стольких лет—и как нежно и как бескорыстно! Верно сами догадаетесь, неоцененная В[арвара] С[еменовна], что я пишу к вам не в обыкновенном положении души. Слезы градом льются... Неужели я для того рожден, чтобы всегда заслуживать справедливые упреки за холодность (и мнимую притом), за невнимание, за эгоизм от тех, за которых бы охотно жизнь отдал. Александр наш что должен обо мне думать! [2]. И это кроткое, тихое создание, которое теперь отдалось мне на всю

---

[1] Пропущена фраза: «Будем век жить, не умрем никогда». Слышите? Это жена мне сейчас сказала ни к чему, доказательство, что ей шестнадцатый год».

[2] Декабрист А. И. Одоевский, за которого Грибоедов безрезультатно хлопотал перед Паскевичем; см. Н. К. Пиксанов. К характеристике Грибоедова. Поэт и ссыльные декабристы. «Русские Ведомости» 1911 г., № 263.

мою волю, без ропота разделяет мою участь [1] и страдает самою мучительною беременностию: кто знает, может быть, я и ее оставлю, сперва по необходимости, по так называемым делам, на короткое время, но после время продлится, обстоятельства завлекут, забудусь, не стану писать; что проку, что чувства мои неизменны, когда видимые поступки тому противоречат? Кто поверит!»...

Сбылись предчувствия Грибоедова: он погиб жертвою народного неистовства в Тегеране. Не имея официальных известий о сем ужасном происшествии, я не могу писать об этом. Знаю только, что вражда возникла за армян, русских подданных, которые укрывались в доме посланника. Не только русские, но и добрые персияне, знавшие Грибоедова, сожалеют о нем. Целая Грузия оплакивает Грибоедова [2].

Известие о смерти Грибоедова привезено в С.-Петербург 14 марта 1829 г., того же самого числа, ровно через год, когда он приехал с трактатом Туркманчайским!

Раны сердца моего растворились [3]... я не могу писать более... писал только для друзей, для знавших Грибоедова, в надежде, что все добрые, чувствительные люди извинят несвязность, сбивчивость этой статьи. Я был сам не свой! Мог ли я думать о холодных людях?

---

[1] В письме: «ссылку».

[2] В следующей книжке сообщу описание похорон его, доставленное мне из Тифлиса: читатели увидят, как целая страна любила и уважала Грибоедова. Соч. (Это анонимное «Описание последнего долга, отданного Грибоедову в Тифлисе», принадлежащее перу В. Н. Григорьева; см. ниже).

[3] Излишняя и порой казавшаяся неискренней чувствительность Булгарина в его эпоху вызывала иронические замечания в рецензиях. Вот, например, отрывок из рецензии «Северного Меркурия», подписанной буквой Ф. (М. А. Бестужева-Рюмина) на отдельный оттиск воспоминаний Булгарина: «Многие невольно могут подумать, что начало и конец сей статьи переделаны автором в прозу из элегии какого-нибудь слезливого романтика, уволенной Ф(аддеем) В(енедиктовичем) от помещения в «Сыне Отечества». Излишняя плаксивость приторна в стихах, а еще более в прозе. Зачем бы, кажется, во вступлении в статью, предварять Фад. Вен. своих читателей, что он при воспоминании о Грибоедове всегда плачет; а при заключении статьи своей упоминать, что раны сердца его растворились?... Наставленные в сих местах точки слились с пера почтенного автора как бы взамен слезинок его»; см. «Северный Меркурий» 1830 г., № 62, от 23 мая, стр. 245—247.

Ф. Б[улгарин]

КАК ЛЮДИ ДРУЖАТСЯ

(справедливый рассказ)

Дополнением к воспоминаниям Ф. Булгарина может служить этот рассказ его, появившийся в «Северной Пчеле» 1837 г., № 47, с подписью «Из воспоминаний Ф. Б.». Здесь изложен эпизод с больным офицером Генисс., другом Грибоедова, которому Булгарин оказал помощь, что и вызвало симпатию к Булгарину со стороны Грибоедова.—В литературе о Грибоедове сведений о Генисс. нет.

Мы уже до того дожили на белом свете, что философы и моралисты усомнились в существовании дружбы, а поэты и романисты загнали ее в книги, и так изуродовали ее, что кто не видал ее в глаза, тот никоим образом ее не узнает. В самом деле, неужели можно назвать священным именем дружбы эти связи, основанные на мелких расчетах самолюбия, эгоизма или взаимных выгод? Мы видим людей, которые живут двадцать, тридцать лет в добром согласии, действуют заодно, никогда не ссорятся, доверяют один другому, и говорим, вот истинные друзья. Таких друзей много. Есть люди, которые входят в тесный союз, с тем, чтобы ненавидеть третьего и вредить ему. И этот союз называют в свете дружбою! Есть сто различных родов подобной дружбы, и вы от подобных друзей услышите повторение избитых речений: «Чтобы узнать человека, надобно с'есть с ним две бочки соли». Испытанные друзья! Другой вам скажет: «Деньги оселок дружбы, а мы уже не один миллион разделили согласно». О, нежные друзья! «Я и дети мои обязаны другу моему местами и наградами. Он воспользовался милостью своего покровителя, и облагодетельствовал нас».—Тут нет уже дружбы. Дружба не вмешивается ни в дела, ни в расчеты. Да, что ж такое дружба? Право, не умею

истолковать. Нет никакого сомнения в том, что все мы, т. е. люди, чрезвычайно любим себя и ужасно нравимся самим себе. Дружба есть волшебство, чародейство. Посредством непостижимого очарования дружба представляет нам вас самих в другом лице и вы привязываетесь к этому лицу, как к самому себе: вот вам и дружба. Друг ваш не похож на вас, ни лицом, ни нравом, нет нужды. В вас самих лета и болезнь изменяют лицо, вы сами не всегда одинакового нрава. Но главное: чувствования и образ мыслей у вас и друга одни и те же. Вот где моральное тождество и сходство. Вы скажете: мало ли людей с одним образом мыслей и с одними чувствованиями; неужели все это друзья?—Дело в том, что эти чувствования и мысли не стоят гроша. Дружба не принимает чувствований и мыслей на вес, на меру и по тарифу. Истинные друзья могут ссориться между собою, гневаться один на другого, даже бранить друг друга, точно так же, как мы бываем недовольны собою, гневаемся на себя и сознаемся в своих ошибках. Сказать о друге: он не способен ни к чему дурному, а в этом случае поступил неблагоразумно, есть то же, что сказать: сознаюсь, что я поступил неосторожно. Вы будете ссориться, гневаться и будете душевно любить друг друга... Это настоящая дружба, а дружба есть точь в точь любовь. Истинной любви нет без дружбы, а дружбы — без любви.

Но как люди дружатся? Уже верно не за шампанским, не за красным сукном, не в беседах и не вследствие долговременного испытания. Сошлись, увиделись и полюбили друг друга навеки... За что? А бог знает... так... ни за что. Ему что-то во мне понравилось; мне нравится в нем все, голос, приемы, движения, мысли, чувства, образ из'яснения. Наконец, чем долее мы узнаем друг друга, тем более привязываемся, и все-таки не зная за что. Если он имеет сатирический дух, то даже замечает мои смешные стороны, и хохочет. На другого я бы гневался, а с ним хохочу сам над собою, подшучиваю над ним... то есть: мы думаем и чувствуем вслух, разделяем все, не думая о разделе, доверяем вполне друг другу, не помышляя о доверенности и недоверчивости, а все это потому, что в нем я вижу себя, и притом в лучшем виде. Я уверен даже, что он лучше меня, т. е. это я в праздничном наряде.

Я вам расскажу, как я подружился...

Я жил в Варшаве, на Свентоюрской улице, в небольшом каменном доме на улицу, принадлежавшем в то время почтенному старику-немцу, Г. Каминскому, который каждый праздник присы-

лал мне цветов из своего садика, и удивлялся, что я предпочитаю прогулки в поле и в лесу на Белянах, на Воле, и т. п., спокойному наслаждению видом цветов и зелени из его беседки. В один день, когда тучи угрожали дождем, я, вместо обыкновенной прогулки за город, пошел в ближайший публичный сад, называемый садом Красинского. Это было в 8 часов утра. Прогуливающихся не было вовсе. Обошед несколько раз весь сад, я сел отдохнуть на скамье. На другом конце сидел молодой человек, в гусарском долмане, с унтер-офицерскими галунами. Он был бледен, как труп. На лице его изображались, яркими чертами, недуг телесный и скорбь душевная. Взор его был полупомеркший. Но лицо его сохраняло остатки красоты необыкновенной. Черты его имели правильную азиатскую форму; черные волосы вились в кудри, и в физиономии отражались ум и добродушие. Ему было около двадцати лет. Пушок едва твердел на усах. Взглянув на него несколько раз, я не мог отвести от него взоров моих. Сердце мое сжималось, смотря на его страдание. И я так же, почти в детских летах, ходил в уланской куртке, по свету, за тридевять земель в тридесятое царство. Я знал, что такое чужая сторона, чужие люди. Кому призреть больного юношу на чужбине. У него, быть может, есть мать, есть сестра, которые бы пеклись о нем, если б недуг посетил его под родительским кровом... А здесь, госпиталь... Бедный юноша. Мне стало жалко и я заговорил с ним.

Я узнал, что он родом из самой Москвы, где имеет родителей, и что он определился в И[ркутский] гусарский полк юнкером, в 1812 году, но не попал в действующую армию, и теперь находится в резервном кавалерийском корпусе под начальством генерала Кологривова. Этот гусарский полк стоял, не помню, возле Ковно или Бреста (теперь этому минуло 20 лет) [1]. Юнкер отпросился для излечения болезни в Варшаву, надеясь найти здесь одного майора, знакомого с его родителями, и занять у него денег, пока пришлют ему из дому. По несчастью, майор выехал из Варшавы, а между тем болезнь усиливалась, и так, бедный юнкер решился итти в госпиталь. Я предложил ему мою квартиру, и, водясь дружески с медиками от самой молодости (потому что между ними всегда более образованных людей), обещал ему доставить хорошего доктора.—«Но у меня вовсе нет денег», сказал юнкер. «А на что вам они», отвечал я. «Доктор мне приятель, да и притом он

[1] Иркутский гусарский полк под командой генерала Кологривова находился в Брест-Литовске летом 1814 года.

и без того не взял бы ни копейки, ни миллиона с бедного воина. Лекарство даст нам каждый аптекарь, а на прочее... Бог даст! Пойдемте со мною. Я живу близехонько».—Он пожал мою руку, со слезами на глазах, и мы отправились.

Я велел моему слуге принести с постоялого двора чемодан моего больного приятеля, сладил ему походную постель, поместил в моей спальне, а сам перенесся в так называемую гостиную, призвал доктора, и дело пошло на лад. Кухарка моего хозяина стряпала для больного суп и бульон; я с моим слугою (честным и израненным отставным уланом) ухаживали за больным. С первого дня переселения ко мне, юноша лег в постель и три месяца не вставал. Усилия медицины были бесполезны. Открылась жестокая чахотка и он умер...

Втечение трех месяцев я часто беседовал с ним. Он был чрезвычайно образован, начитан, имел удивительную память, и был пристрастен к словесности, к поэзии, любил все высокое, благородное. Рассказывая мне о Москве, о своей жизни, он с восторгом говорил об одном молодом офицере своего полка, которого он знал в Москве, еще будучи в пансионе. Из дружбы к этому офицеру он пошел в военную службу, и ему обязан был всем своим образованием, любовью к изящному, высокому, к поэзии природы. Мой жилец писал несколько раз к этому офицеру, и однажды получил от него письмо, в котором он уведомлял его, что приедет к нему в Варшаву. Больной прижимал это письмо к устам, плакал от радости... Я удивлялся этой необыкновенной привязанности и утешался. Моему сердцу было теплее.

Наконец, протекло лет шесть; я уже был в Петербурге и занимался словесностью, издавал «Северный Архив». Однажды прихожу к другу и товарищу моему, Н. И. Г[речу], и нахожу у него незнакомого человека. Добродушный хозяин познакомил нас по-своему, т. е. таким образом, что мы знали, с первой минуты, как обойтись друг с другом. Мой новый знакомец был тогда не тот человек, каким он сделался после. Но бессмертие уже было в его портфеле. Услышав в первый раз его фамилию, мне показалось, будто где-то и когда-то я слышал об ней, но не мог вспомнить. Мы стали разговаривать, и в первую четверть часа стали называть друг друга ты[1], не зная сами и не постигая, каким образом мы до-

[1] Свидетель Н. И. Г(реч). С ним мы сошлись почти так же. В первую четверть часа подружились, и вот этому уже прошло семнадцать лет. (Примечание Булгарина).

шли до этой фамильярности. Ничего не помню, а помню только, что мы несколько раз пожимали друг другу руки, и обнимались. Я просто влюбился в моего нового знакомца... Это был Грибоедов.

Жесточайшие мои противники литературные были старые приятели, родственники или даже питомцы Грибоедова. Он даже хотел помирить меня с одним из них, воображая, что у этого человека душа Грибоедова... он ошибся. Все, что окружало Грибоедова, говорило ему противу меня, потому что я тогда занимался литературной критикой, я говорил резкие истины. За дружбу со мной Грибоедов приобрел даже литературных врагов; он хохотал и говорил только: хороши ребята! Грибоедова просили, чтобы он развязался со мною... Он улыбался и сидел у меня по восьми часов сряду. Признаюсь, что зато и я никогда не любил никого в мире больше Грибоедова, потому что не в состоянии любить более, почитая это невозможностью. Право не знаю, люблю ли я более детей моих... Я люблю их как Грибоедова, а Грибоедова любил как детей моих, как все, что есть святого и драгоценного в мире. Душа его была рай, ум—солнце.

Когда он отправлялся последний раз в Персию, я сказал ему накануне: «Ты пойдешь высоко; я навсегда останусь тем, что теперь, т. е. ничем, в полном смысле Пироновой эпитафии [1]. Мои противники мучат тебя...». Он быстро взглянул на меня, схватил за руку и сказал: «Ничто в мире не разлучит нас. Помнишь ли Геннис..., которого ты призрел в Варшаве. Он писал ко мне о тебе [2]... Я давно искал тебя... Наша дружба не провалится: она имеет основание». Это собственные слова незабвенного. Ах, как малы перед ним его соперники! Он весь жил для добра и добром.

И так, офицер, о котором говорил с восторгом мой больной жилец, к которому он писал, был Грибоедов...

Как люди дружатся? Очень скоро, но прочно, когда есть основание.

---

[1] Pirron the fut rien, etc.

[2] Это письмо в печати неизвестно.

Ф. Б[улгарин]

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРИЗРАКИ

Фельетон этот, напечатанный в 1824 году в «журнале нравов и словесности, издаваемом Ф. Булгариным» — «Литературные Листки» (в № 16, стр. 93—108, под инициалами Ф. Б.), замечателен тем, что, несмотря на оговорки, что в фельетоне «нет никаких личностей» и что «имена и разговоры выдуманы», под именем Талантина здесь был выведен Грибоедов. Фельетон этот для нас получает важное биографическое значение потому, что в нем от имени Талантина излагаются довольно подробно литературно-теоретические взгляды Грибоедова — какой литературной подготовки он требовал от поэта, какого рода писателей считал он наиболее достойными издания,—которые он, конечно, высказывал в литературных собраниях. Ср. биографический очерк в I т. акад. издания сочинений Грибоедова.

Номер «Литературных Листков» с «Литературными Призраками» датирован цензурным разрешением от 27 августа. Вероятно, вскоре после появления статьи, т. е. в начале сентября, Грибоедов написал Булгарину следующее письмо: «...Тон и содержание этого письма покажутся вам странны, что же делать?! Вы сами тому причиною... Лично не имею против вас ничего; знаю, что намерение ваше было чисто, когда вы меня, под именем Талантина, хвалили печатно и, конечно, не думали тем оскорблять. Но мои правила, правила благопристойности и собственное к себе уважение не дозволяют мне быть предметом похвалы незаслуженной, или, во всяком случае, слишком предускоренной. Вы меня хвалили как автора, а я именно, как автор, ничего еще не произвел истинно изящного. Не думайте, чтобы какая-нибудь внешность, мнение других людей, меня побудили к прерванию с вами знакомства. Верьте, что для меня моя совесть важнее чужих пересудов; и смешно бы было мне дорожить мнением людей, когда всемерно от них удаляюсь. Я просто в несогласии сам с собою: сближаясь с вами более и более, трудно самому увериться, что ваши похвалы были мне не по сердцу, боюсь поймать себя на какой-нибудь низости, не выкланиваю ли я еще горсточку ладана!! Расстанемтесь. Я бегать от вас не буду, но коли где встретимся, то без приязни и без вражды. Мы друг друга более не знаем. Вы верно поймете, что, поступая, как я теперь, не сгоряча, а по весьма долгом размышлении, не могу уже

ни шагу назад отступить. Конечно, и вас чувство благородной гордости не пустит опять сойтись с человеком, который от вас отказывается». Но скоро Грибоедов и Булгарин помирились.—Между прочим, в 1835 г. Булгарин изобразил Грибоедова в «Памятных записках Чухина».

Прямой талант в других я вечно уважал,
И лишь нелепостей был искренний гонитель:
Я не щадил невежд и скаредных писцов;
Что делать? И теперь я всем сказать готов:
Фирс—добрый человек, но глупый сочинитель

В. Пушкин.

Архип Фаддеевич, большой охотник до наблюдений [1], просил меня однажды, чтобы я показал ему нескольких из числа поэтов подражателей, которых бессмыслице он часто удивлялся в разных журналах. Я попросил к себе на вечер четырех из числа самых отчаянных передразнивателей первоклассных наших писателей, представляющих публике лучшие их произведения вывороченными наизнанку. Эти добрые люди считают себя основателями Новой школы, потому единственно, что в нелепых своих творениях употребляют некстати некоторые новые слова и речения, кстати введенные в язык отличными писателями. Архип Фаддеевич весьма любопытствовал также узнать причину, заставившую молодых поэтов избрать путь совершенно противоположный цели поэзии. Он, по добродушию своему, полагал, что это направление умом есть следствие нового учения или размышления. Читатель увидит, как он обманулся.—В наше общество попал нечаянно один истинный литератор, Г. Талантин, недавно прибывший в столицу из отдаленных стран, где он находился по службе; и он-то был причиною разговора, который я здесь помещаю.

[1] Сочинитель этой статьи излишним почитает предуведомлять своих читателей, что в ней нет никаких личностей, что имена и разговор выдуманы, и на самом деле никогда не существовали. Многие молодые люди, написав несколько куплетов по инстинкту, превозносимые в кругу друзей и знакомых, осыпаемые похвалами от услужливых журналистов, почитают себя гениями, от юности бросают науки, всю жизнь проводят в бездействии и, воображая себя вдохновенными, судят обо всем решительно, пишут совершенный вздор, без всякой пользы для себя и для отечества. Но что всего хуже, эти так называемые поэты уловляют других юношей в свои сети, вперяют им лень, отвращение от науки и полезных занятий. Искоренение сего зла есть цель сей статьи. (Примечание Булгарина).

Архип Фаддеевич (обращаясь к истинному литератору). Почему вы перестали писать? — Я знаю вашу комедию, видал ее на театре, читал напечатанную, и всегда восхищался живостью мыслей, плавностью стихов и занимательностью положений действующих лиц. По роду своему, она, конечно, не принадлежит к первоклассным характерным комедиям, но доказывает ваши отличные способности. Я слышал от одного знатока, что у вас есть другая комедия в рукописи, которая воскресит у нас на сцене память Фон-Визина.—Но неужели вы в семь лет ничего более не произвели. Скажите мне, что вы делали?

Талантин. Учился!

Лентяев, Неучинский, Фиялкин, Борькин (вместе). Ха, ха, ха.

Арх. Фад. Что вы здесь находите смешного?

Лентяев. Разве надобно учиться, чтоб быть поэтом?

Талантин. Точно так, как надобно учиться, чтоб быть музыкантом, скульптором, живописцем. Талант есть способности души принимать впечатления и живо изображать оные: предмет, природа, а посредник между талантом и предметом — наука.

(Все, исключая меня и Арх. Фад., смеются).

Лентяев. Какой вздор! — Я вам докажу собою, что науки вовсе не нужны. Еще в школе друзья мои (из которых теперь многие уже прославились), уверили меня, что я рожден поэтом. Я перестал учиться, начал писать стихи: послания, мелодические песни и анакреонтические гимны — и прославился. Воспеваю гетер, вино, лень, себя и друзей моих. Наслаждаюсь, пью радость из чаши бытия, чрезвычайно много сплю, провожу жизнь в совершенном бездействии, и слава друзей моей юности, отражаясь на мне и сливаясь с моею, доставила мне громкое имя русского Горация, Анакреона, Тибулла...

Арх. Фад. Позвольте спросить, где и кто величает вас сими именами?

Лентяев. Кто? Целый мир, все друзья мои поэты! Где?— Повсюду: я это вам докажу даже из печатного.

Неучинский. Это совершенная правда: о друг мой, мой Гораций! Впрочем не думайте, чтобы мы никогда не заглядывали в книги: мы читали Парни, Ламартина и одну часть из курса Лагарпова.

Талантин. Подражание Парни и Ламартину — есть диплом на безвкусие, а познание литературы, почерпнутое из Ла-

гарпа, возбуждает сожаление. Вы именно учитесь по тому, что надлежало бы забыть. Если вы хотите учиться у иностранцев, то читайте, по крайней мере, Блера, Бутервека, Шлегелей, Сульцера и т. п.—Но с того ли должно начинать русскому поэту? От него требуется, во-первых...

Фиялкин (прерывая его). Конечно, не метафизика, не политика, не статистика (о грамматике уже и говорить нечего); но именно то, что я предлагаю моим читателям и читательницам в продолжение полвека. Мадригальцы, надписи к портретам, стишки в альбомы, по случаю подаренного цветочка, потерянной булавочки, упавшего наперсточка, сломившейся иголочки. Похвалы башмачкам, ленточкам, перчаточкам: одним словом все нежное, прекрасное, чувствительное!

Борькин. Справедливо! — Но эта мысль принадлежит мне. Девять лет тому назад я об'явил пред светом, что я не хочу учиться ни истории, ни политике, ни философии; не хочу быть ни биографом, ни критиком; не хочу предписывать наставления ни гражданам, ни воинам. Я сказал и докажу вам это печатным, что я о другом думаю. Одни женщины меня занимают. Я беспрестанно рассуждаю о их добродетелях и недостатках, об их вкусе и капризах, и посвящаю им перо мое, как украшению государств просвещенных! В награду же я ничего не требую, кроме ласкового взгляда и улыбки. Вы видите, что я не корыстолюбив.

Я. Улыбка сожаления?

Борькин. Одной улыбки, больше ничего!
Ах, я grand быть не желаю,
Я не comte, чинам не рад,
Я огнем d'amour пылаю,
Et d'un coeur je suis богат.

Арх. Фад. (говорит на ухо). Воля твоя, но эти люди не в своем уме.

Я (обращаясь к Борькину). Но мне кажется, что вы даже писали трагедии?

Борькин. Я достиг совершенства во всех родах: писал трагедии, комедии, драмы, оперы, водевили, оды, послания, элегии, баллады, песни, эпиграммы, сатиры, издавал журнал, отличился в критическом роде. Одним словом, писал все и обо всем с успехом, со славою. Правда, что едва я взял перо в руки, как

люди, почитающие себя знатоками, во весь голос, не зная сами к чему и зачем, кричали: худо, ужасно, негодно! — Но это был крик зависти; я не внимал ему и, как видите, неутомимо пишу, и буду писать на зло всем, до конца моей жизни. Даже завещание мое написал стихами в 180 листов, где именно прописано, что дети мои и родственники должны издать в свет все мои творения, которых у меня, кроме напечатанных, 326½ пудов и два фунта.

Арх. Фад. О ужас!

Талантин. Литературный потоп!

Неучинский. Браво! ай да наши! — На что науки? — Я в четырнадцать лет бросил ученье, ничего не читал, ничего не знаю — но славен и велик! — Я поэт природы, вдохновения. В моих гремучих стихах отдаются, как в колокольчике, любовные стоны, сердечная тоска смертельной скуки, уныние (когда нет денег), и радость (когда есть деньги), в пирах с друзьями. Я русский Парни, Ламартин: если не верите, спросите у друга моего Лентяева.

Лентяев. Клянусь Вакхом — правда! Стихи друга моего образцовые — я вам докажу это печатным.

Арх. Фад. Хоть я в первый раз имею честь говорить с вами, но позвольте вам сказать откровенно, что вы заблуждаетесь. Вижу причины сего несчастного ослепления. Это самолюбие, взлелеянное снисхождением умных людей, бестолковыми или даже ироническими похвалами друзей и—позвольте досказать—невежеством. Если бы вы чему-нибудь учились, вы бы не так думали и делали.

Фиялкин. Ученость делает человека педантом, желчным, ученость для гения все равно, что узда для коня. Мы хотим на свободе прыгать в чистом поле между цветочками и кусточками, пастись в области воображения.

Арх. Фад. То-есть вы хотите быть лошадками?

Лентяев. Но древние поэты, которых нам беспрестанно поставляют в пример, и которых слава возросла до такой степени, что мы, ничему не учившись, знаем их имена, древние, говорю я, не знали того, что знают наши профессоры, а писали лучше их.

Арх. Фад. Позвольте вам сказать, что вы ошибаетесь. Древние поэты, которых слава пережила существование могущественных империй, были просвещеннейшими людьми своего века.

Гомер был в одно время поэт, историк, статистик, стратег, философ и мифолог. С его поэмою в руках путешественники поверяют ныне местоположения городов, рек, морей, им упоминаемых, и находят во всем удивительную точность. В Англии сделано исследование Илиады в анатомическом отношении, и доказано, что Гомер, в описании различных положений тела при борьбе и единоборстве, соблюдал величайшую верность. На Гомера ссылаются историки и географы; из его творения расплодилось многочисленное племя пиитических произведений, поэм, трагедий и проч. Виргилий—историк и этнограф в Энеиде, ученый домостроитель в Георгиках. Лукан—историк и политик в своей Фарсалии. Эврипид, Эсхил, Софокл — глубокомысленные философы, наставники своих сограждан. Одним словом, в бессмертных творениях древних видна высокая образованность, наука, возвышенная цель, и потому они навсегда останутся образцами.

Неучинский. А будто у нас нет образцовых сочинений—мои стихи помещены...

Арх. Фад. Полно, теперь спор не о словах, но об вещах.

Лентяев. Но какую же вы находите цель в творениях Анакреона, Тибулла, Горация, о которых говорят, что они воспевали только вино и любовь, подобно мне?—Я утверждаю, что поэзия не должна иметь никакой цели, кроме плавности в стихах и верного изображения чувствований.

Арх. Фад. Вы слышали звон, но не знаете, где он. Вы берете одно из условий за цель. Анакреон, Гораций и подобные им поэты имели в предмете отвлечь юношество от разврата, введенного азиатскою роскошью и смягчить суровость стоической философии. Они воспевали радости невинных наслаждений, любовь и вино, но всегда начинали свои песни похвалою умеренности. Анакреон и Гораций советуют всегда примешивать в вино воду. Они равно презирали роскошь и безнравственность и призывали граждан к веселию после трудов, предпринятых для блага общего. Римляне и греки веселились только за ужином, после работы, а не с утра до вечера. Они пели за столом радостные гимны в честь Вакха и богини любви, но не составляли из того ремесла единственного занятия. Что же касается до древних элегий, то это образцы нежного чувства, душевной доброты, любви возвышенной, философии усладительной. Напротив того ваши элегии, почтенные господа, выбранные по стишку из французских стихотворцев, похожи на французскую фарсу «Отчаяние

Жокриса» (le désespoir de Jocrisse), или на жалобы мальчика, поставленного в угол за шалость. Смешно и только.

Лентяев. Прошу не говорить так решительно о древних элегиях: это мой конек.

Арх. Фад. Разве вы знаете древние языки?

Лентяев. А это на что? — Я все знаю по инстинкту и по наслышке, и отчасти по переводам на французский язык, которого хотя я не понимаю совершенно, но как говорится—маракую.

Борькин. Я некогда писал о древних женщинах, но нигде не нашел, чтобы древние поэты учились.

Арх. Фад. Это может быть потому, что вы этого не искали, а отчасти и потому, что их биографии недостаточны. Но их произведения доказывают эту истину. Второе доказательство, что без наук нельзя быть великим, вы видите из того, что и новые поэты снискали всемирную славу учением. Например, все без исключения французские писатели, прославившие век Людовика XIV и царствование Людовика XV, учились в первостепенных коллегиумах. Клопшток, Вилланд, Гёте, Шиллер, Томас Мур, Лорд Байрон, Кембль, В. Скотт, Суте (Southey) и проч. кончили полный курс наук в лучших европейских университетах, и почитались в свое время отличнейшими студентами. Науки открывают поэтам новый мир, разрывают цепи воображения, которое у неучей всегда останется в тесных пределах, или, говоря вашим анакреонтическим языком, будешь всегда закупоренным в бутылке.

Неучинский. Но если кто не имел счастия учиться в университетах, неужели тот, по вашему, осужден на вечное отвержение? Вспомните, что не все имели даже случай слушать университетские лекции.

Арх. Фад. Главное дело в том, чтобы учиться, а где и как—все равно. Я упомянул об университетах только для доказательства, что новые поэты учились так же, как и древние. В светской жизни, в тишине кабинета, можно также образовать себя чтением, размышлением, беседою с людьми учеными и сведущими в науках. Поверьте, кто хочет учиться, тот найдет время, место и средства.

Лентяев (обращаясь к Талантину). Но вы не кончили своей речи и не досказали, чего требуется от русского поэта?

Талантин. Совершенного познания русского языка, грамматики...

Борькин. Ха, ха, ха! Мы, кажется, говорим не по-киргизски!

Арх. Фад. Но пишете не по-русски.

Фиялкин. A bas la Grammaire, à bas la Grammaire! (прочь с грамматикой, долой грамматику!).

Талантин. Позвольте кончить, а после делайте, что хотите. Чтобы совершенно постигнуть дух русского языка, надобно читать священные и духовные книги, древние летописи, собирать народные песни и поговорки, знать несколько соплеменных славянских наречий, прочесть несколько славянских, русских, богемских и польских грамматик, и рассмотреть столько же словарей; знать совершенно историю и географию своего отечества. Это первое и необходимое условие. После того, для роскоши и богатства, советую прочесть Тацита, Фукидида, если возможно, Робертсона, Юма, Гиббона и Миллера. Не худо также познакомиться с новыми путешественниками по Индии, Персии, Бразилии, Северной Америке и островам Южного океана. Это освежит ваше воображение и породит новые идеи о природе и человеке. Весьма не худо было бы прочесть первоклассных отечественных и иностранных поэтов, с критическими разборами, и, по крайней мере, из древних — Гомера, Виргилия, Горация, Гезиода и греческих трагиков. Не говорю о восточных языках, которых изучение чрезвычайно трудно и средств весьма немного. Но все не худо ознакомиться несколько с Восточными рудниками Гаммера (Fundgruben des Orients), или перевернуть несколько листов в Гербелоте, в хрестоматии Сильвестра де-Саси, в Азиятических изысканиях калькуттского ученого обществав (Asiatic Researches) и в назидательных Письмах о Китае (Lettres edifiantes etc). — Восток, неисчерпаемый источник для освежения пиитического воображения, тем занимательнее для русских, что мы имели с древних времен сношения с жителями оного. Советую вам иногда заглядывать в сочинения, а особенно в журналы по части физических наук, чтоб не повторять рассказов нянюшек о естественных явлениях в природе, и не принимать летучего огня за привидение. Благодарю вас, что вы позволили мне сказать несколько слов, и уверяю, что пока вы будете упорствовать в невежестве, до тех пор вы никогда не выйдете за черту золотой посредственности. Может быть, между вашими современниками найдутся люди, которые будут читать (по различным причинам) ваши произведения, но потомство неумолимо. Имена ваши под-

вергнутся той же участи, как имена поэтов, украшавших «Ежемесячные сочинения» Миллера, издававшиеся в 1757 по 1764 год. Этот журнал останется навсегда драгоценным в историческом и статистическом отношении, но изящная его часть—исчезла навеки вместе с гг. сочинителями, которые, вероятно, в свое время имели своих поклонников. Прощайте! (Талантин с Архипом Фаддеевичем уходит).

Лентяев (говорит мне). Скажи пожалуйста, откуда ты выкопал этих оригиналов с их нравоучением? Поверь, что мы все принимаем это за оскорбление пиитических наших дарований. Как!—нам советовать учиться?—Мщение! мщение!—Я напишу песню, в которой разбраню тебя, старика, и твоего ученого приятеля.

Фиялкин. Я, государь мой, побраню вас порядком по-русски и по-французски: напишу стишки насчет Архипа Фаддеевича и посвящу ему же. Напечатаю несколько эпиграмм и—и всего не вспомню.

Борькин. Я докажу вам и всем вашим друзьям, что вы дурно пишете, что у вас слог нехорош, много ошибок исторических и проч.

Неучинский. Я вас задену в послании к другу и напишу эпиграмму, а если надобно, то приделаю куплетец к песни друга моего Лентяева.

Я. Но за что вы сердитесь,—я отнюдь не виноват: говорили Талантин и Архип Фаддеевич.

Борькин. Вы виноваты—за то, что призвали в наше общество людей, которые говорят, что надобно учиться. Это дерзость!

Я. То есть правда.

Борькин. Прошу вас, господа, ко мне. Там рассудим, как нам доказать, что ученье не нужно таким поэтам, как мы.

Я. Пожалуйста докажите вместе с этим, что солнечный свет вреден.

Фиялкин. Конечно вреден для слабых глаз.

Я. Понимаю!

Н. Н. Муравьев-Карский

ЗАПИСКИ

Н. Н. Муравьев (1793—1867), видный военный деятель. Юношей он участвовал в Отечественной войне и в походе на Париж, затем провел несколько десятков лет на разных должностях на Кавказе. Впервые он прибыл туда в 1816 году в составе чрезвычайного посольства А. П. Ермолова, которое было снаряжено в Персию вскоре после заключения мира. В списке чиновников, находившихся в посольстве, он отмечен: «гвардии генерального штаба, штабс-капитан Николай Николаевич Муравьев». В 1820 году он получил чин полковника; 15 марта 1828 года — чин генерал-майора и тогда же намечался на должность начальника штаба кавказского корпуса при Паскевиче. Впоследствии был генерал-ад'ютант, а в 1854—1856 гг. состоял наместником Кавказа; за взятие крепости Карс получил титул «Карский». О Н. Н. см. статьи: А. П. Берже. Н. Н Муравьев.—«Русская Старина» 1873 г., т. VIII, стр. 599—630; М. П. Щербинина Кн. М, С. Воронцов и Н. Н. Муравьев.—«Русск. Старина» 1874 г., № 9, стр. 99—114; Д. Е. Остен-Сакена. Н. Н. Муравьев в 1828—1856 г., 8 ibid., № 11, стр. 535—543.

Познакомившись с Грибоедовым в 1818 году, он встречался с поэтом на протяжении десяти лет. Их совместная служба на Кавказе, их занятия восточными языками дали возможность Муравьеву ближе познакомиться с Грибоедовым и запечатлеть в своем дневнике ценнейшие сведения о великом писателе. Не питая особой симпатии к Грибоедову, Муравьев, однако, высоко ценил его ум и познания; его воспоминания являются единственным в своем роде документом о жизни Грибоедова на Кавказе.

Записки Муравьева печатались в «Русском Архиве» с 1885 по 1894 год, куда они были доставлены его дочерью—А. Н. Соколовой. Отсюда и извлекаем страницы, связанные с именем Грибоедова. По годам эти воспоминания распределены в «Русском Архиве» следующим образом: страницы о Грибоедове в 1818 году извлечены из «Русского Архива» 1886 г., № 11, стр. 331—335, 339—340; о 1819 г.—«Р. А.» 1886 г., № 12, стр. 433—434; о 1822 г.—«Р. А.» 1888 г., № 5, стр. 103—108, 112, 115—116, 117, 119—121; о 1826 г.—«Р. А.» 1889 г., № 4, стр. 594—595; о 1827 г.—«Р. А.» 1889 г., № 9, стр. 60—62, 67, 76—77, 87—89; № 11, стр. 275,

289—290, 315—316; о 1828 г. и о смерти Грибоедова—«Р. А.» 1893 г., № 11, стр. 362—364 и 1894 г., № 1, стр. 39—50.

Следует указать, что, пересматривая свои записки в конце своей жизни в 1866 году, Муравьев не только многое в них зачеркнул, так что прочитать невозможно, но некоторые страницы целиком уничтожил. Можно предположить, что при этой «редактуре» пострадали и страницы о Грибоедове.

1818 г. Тифлис.

7-го [октября]. Якубович рассказал мне в подробности поединок Шереметева в Петербурге. Шереметев был убит Завадовским, а Якубовичу тогда должно было стреляться с Грибоедовым за то же дело. У них были пистолеты в руках; но, увидя смерть Шереметева, Завадовский и Грибоедов отказались стреляться. Якубович с досады выстрелил по Завадовскому и прострелил ему шляпу [1]. За сие он был сослан в Грузию [2]. Теперь едет через Грузию в Персию Грибоедов. Якубович хочет с ним стреляться и поверил сие мне и Унгерну. Он не зовет нас в секунданты, зная, чему они подвергаются со стороны правительства, но желает, чтобы мы шагах в двадцати находились и помогли бы раненому. Я советовался на сей счет с Унгерном, и мы не находим в Тифлисе места удобного для сего. Грибоедов едет сюда потому, что он находится при Мазаровиче, который назначен поверенным

---

[1] Другую версию о поведении Якубовича см. ниже в рассказах Бегичева, записанных Д. А. Смирновым.

[2] А. И. Якубович познакомился с Грибоедовым, возможно, еще в дни своего отрочества, так как они вместе воспитывались в московском университетском благородном пансионе. Свою службу он начал в лейб-гвардии уланском полку и жил в Петербурге, принимая деятельное участие в театральных шалостях, интригах и других удальских похождениях тогдашней золотой молодежи, в кругу которой был известен, как «отчаянный кутила и дуэлист». Якубович действительно пострадал за участие в дуэли Шереметева с Завадовским и пострадал больше всех, так как Завадовский был выслан на некоторое время за границу, Грибоедов остался безнаказанным, а Якубович был сослан на Кавказ. В дневнике Н. Н. Муравьева под 15 февраля 1818 года записано следующее: «После обеда приехал из Петербурга фельд'егерь и не привез ничего занимательного для нас. Он привез с собой одного лейб-уланского корнета Якубовича, которого перевели тем же чином в нижегородский драгунский полк за то, что он был секундантом кавалергардского офицера Шереметева на поединке его с Завадовским. Шереметев был убит, Завадовского простили, а секунданта наказали» («Русский Архив» 1886 г., № 11, стр. 297).

в делах при Персидском дворе. Мазаровичу положено при сем месте 3.000 червонцев жалованья, кроме экстраординарной суммы [1].

8-го. После обеда ходил в сад, дабы найти место удобное для поединка Якубовича. Вечер провел у меня Якубович. Его образ мыслей насчет многих предметов мне очень понравился.

21-го. Якубович об'явил нам, что Грибоедов, с которым он должен стреляться, приехал, что он с ним переговорил и нашел его согласным кончить начатое дело. Якубович просил меня быть секундантом. Я не должен был отказаться, и мы условились, каким образом сие сделать. Положили стреляться им у Талызина [2] на квартире.

22-го. Я обедал у француза [3] и видел Грибоедова. Человек весьма умный и начитанный, но он мне показался слишком занят собой. Секундант его маленький человек; не знаю, кто он такой. С ним вместе приехал сюда один капитан Быков, л.-г. Павловского

---

[1] Семен Иванович Мазарович — сын венецианского адмирала Джованни Мазаровича. По образованию — доктор медицины и, начиная с 1809 года, работал по своей специальности в черноморской дивизии на Средиземном море у контр-адмирала Салтанова, затем—в Яссах в посольстве сенатора Красно-Милашевича и в штабе князя Голенищева-Кутузова в Бессарабии. В 1816 году был определен доктором при чрезвычайном посольстве в Персию А. П. Ермолова; 6 июля 1818 года по представлению Ермолова был назначен поверенным в делах в Персии и в этой должности прослужил до 26 января 1826 года; Грибоедов тогда числился при нем секретарем, а в 1828 году заместил Мазаровича в Персии в звании полномочного министра. О нем см. «Архив Раевских» под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, стр. 290—291. — В Государственный Исторический Музей недавно поступила связка писем Грибоедова к Мазаровичу (числом шесть).

[2] Ад'ютант Ермолова. — Унгерн — также сослуживец Муравьева.

[3] Это, несомненно, иностранец Castello. О нем в дневнике Муравьева от осени 1828 года, когда Castello умер, сохранилась подробнейшая запись: «Француз сей был не без способностей, имел ум предприимчивый, но весь парил в одном воображении. Он прибыл из Франции еще при А. П. Ермолове и выхлопотал себе в министерстве финансов в Петербурге позволение сучить шелк в Грузии. Обольстивши правительство обещаниями о несметных выгодах, которые он хотел доставить, он получил большие привилегии и суммы на заведение свое, вовлек в подобные же суммы и богатых помещиков в России...» («Русский Архив» 1894 г., № 1, стр. 37). В письме Грибоедова к П. Н. Ахвердовой от 3 июля 1827 года имеется привет «à m-me Castello».

полка, для выбора людей в гвардию. Ввечеру Грибоедов с секундантом и Якубовичем пришли ко мне, дабы устроить поединок как должно. Грибоедова секундант предлагает им сперва мириться, говоря, что первый долг секундантов состоит в том, чтобы помирить их. Я отвечал ему, что я в сие дело не мешаюсь, что меня призвали тогда, как уже положено было драться, следственно Якубович сам знает, обижена ли его честь. И мы начали уславливаться, но тот вывел меня в другую комнату и просил меня опять стараться о примирении их, говоря, что он познакомился в Москве с матерью Грибоедова, которая просила его стараться сколько возможно остановить сей поединок, который она предвидела, и следственно, что долг заставлял его сие делать. Между тем Якубович в другой комнате начал с Грибоедовым спорить довольно громко. Я рознял их и, выведя Якубовича, сделал ему предложение о примирении; но он и слышать не хотел. Грибоедов вышел к нам и сказал Якубовичу, что он сам его никогда не обижал. Якубович на то согласился. — А я так обижен вами. «Почему же вы не хотите оставить сего дела?» — Я обещался честным словом покойному Шереметеву при смерти его, что отомщу за него на вас и на Завадовском.—«Вы поносили меня везде».—Поносил и должен был сие сделать до этих пор; но теперь я вижу, что вы поступили как благородный человек; я уважаю ваш поступок; но не менее того должен кончить начатое дело и сдержать слово свое, покойнику данное.—«Если так, так гг. секунданты пущай решат дело». Я предлагал драться у Якубовича на квартире, с шестью шагами между барьерами и с одним шагом назад для каждого; но секундант Грибоедова на то не согласился, говоря, что Якубович, может, приметался уже стрелять в своей комнате.

Я согласился сделать все дело в поле; но для того надобно было достать бричку, лошадей, уговорить лекаря Амбургер [1], секундант Грибоедова, взялся достать бричку у братьев Мазаровичей и нанять лошадей. Он побежал к ним, а я к Миллеру [2],

[1] Сослуживец Грибоедова по русской миссии в Персии, близкий его знакомый, впоследствии генеральный консул в Тавризе. В отношении министра иностранных дел графа К. В. Нессельроде к А. П. Ермолову от 16 июля 1818 года было извещено, что «поверенным в делах Персии назначается Мазарович, секретарем при нем Грибоедов и канцелярским служителем Амбургер» («Русская Старина» 1874 г., № 10, стр. 278). Сохранилось четыре письма Грибоедова к А. М. Амбургеру.

[2] М. О. Миллер — врач в посольстве Ермолова.

который сперва подумал, что его в секунданты звали, смешался сперва и не хотел согласиться; но когда он узнал, что его просили только помочь раненому, он тотчас согласился и обещал мне на другое утро дожидаться меня. Амбургер со своей стороны достал бричку. Все опять у меня собрались, отужинали, были веселы, дружны, разговаривали, смеялись, так что ничего на поединок похожего не было. Желая облегчить поединок (как то был мой долг), я задержал Унгерна и Якубовича у себя, после того, как все ушли, и предлагал Якубовичу кончить все при двух выстрелах, несмотря на то, будет ли кто ранен, и взять восемь шагов между барьерами. Но он никак не согласился на мое предложение, и я принужден был остаться при прежних правилах.

23-го. Я встал рано и поехал за селение Куки отыскивать удобного места для поединка. Я нашел Татарскую могилу, мимо которой шла дорога в Кахетию; у сей дороги был овраг, в котором можно было хорошо скрыться. Тут я назначил быть поединку. Я воротился к Грибоедову в трактир, где он остановился, сказал Амбургеру, чтобы они не выезжали прежде моего возвращения к ним, вымерил с ним количество пороху, которое должно было положить в пистолеты и пошел к Якубовичу, а от него к Миллеру; но Миллера я не застал дома. Я побежал в военный госпиталь, нашел его там и сказал ему, что ему уже отправляться пора. Мы с ним условились, что он прежде всех поедет в Куки в военный госпиталь, что он там дождется пока я проеду и поедет в лагерь к колонистам, откуда он будет смотреть к монументу, и как скоро я покажусь верхом из оврага, он поскачет к нам. Якубовичу я сказал, чтобы он отправился пешком к месту, спрятался бы за монумент и не выходил бы оттуда, пока я его не позову. Амбургеру с Грибоедовым я сказал, чтобы они в бричке ехали и взяли бы с собой свои пистолеты. Я сам поехал верхом, увидел Миллера, поставил бричку за горой и повел Грибоедова с секундантом. Я полагал, что Якубович, который видел куда бричка поехала, пойдет за ней; но он пошел к монументу и спрятался за оный. Я забыл, что ему велел туда итти, и когда Грибоедов спросил у меня, где он, я поскакал из оврага и, вспомня, что он за памятником, позвал его; но Миллер принял сие за знак, подумал, что ему выезжать пора, и тронулся, но он не приметил оврага, в который я опять в'ехал, и проскакал в горы.

Мы назначили барьеры, зарядили пистолеты и, поставя ратоборцев, удалились на несколько шагов. Они были без сюртуков. Якубович тотчас подвинулся к своему барьеру смелым шагом и дожидался выстрела Грибоедова. Грибоедов подвинулся на два шага; они простояли одну минуту в сем положении. Наконец, Якубович, вышедши из терпения, выстрелил. Он метил в ногу, потому что не хотел убить Грибоедова; но пуля попала ему в левую кисть руки[1]. Грибоедов приподнял окровавленную руку свою, показал ее нам и навел пистолет на Якубовича. Он имел все право подвинуться к барьеру; но, приметя, что Якубович метил ему в ногу, он не захотел воспользоваться предстоящим ему преимуществом: он не подвинулся и выстрелил. Пуля пролетела у Якубовича под самым затылком и ударилась в землю; она так близко пролетела, что Якубович полагал себя раненым: он схватился за затылок, посмотрел свою руку, однако, крови не было[2]. Грибоедов после сказал нам, что он целился Якубовичу в голову и хотел убить его, но что это не было первое его намерение, когда он на место стал. Когда все кончилось, мы подбежали к раненому, который сказал: O sort injuste[3]. Он не жаловался и не показывал вида, что он страдает. Я поскакал за Миллером, его в колонии не было; я поехал в горы, увидел его вдали и окликнул; он приехал к нам, перевязал слегка рану и уехал. Раненого положили в бричку, и все отправились ко мне. Тот день Грибоедов провел у меня; рана его не опасна была, и Миллер дал нам надежду, что он в короткое время выздоровеет. Дабы скрыть поединок, мы условились сказать, что мы были на охоте, что Грибоедов с лошади свалился и что лошадь наступила ему ногой на руку. Якубович теперь бывает вместе с Грибоедовым, и по обращению их друг с другом никто бы не подумал, что они стрелялись. Я думаю, что еще никогда не было подобного поединка: совершенное хладнокровие во всех

---

[1] Говорят, будто Якубович воскликнул: «По крайней мере, играть перестанешь!». Грибоедов лишился одного пальца на руке, что не мешало ему попрежнему отлично играть на фортепианах. Н. Н. Муравьев был тоже пианист. (Примечание П. Бартенева).

[2] В своих воспоминаниях, напечатанных в «Русском Архиве» (1885 г., № 3, стр. 359), Л. Ф. Львов писал, что Якубович на дуэли с Грибоедовым «получил страшную свою на лбу рану». Это было опровергнуто И. В. Ефимовым в «Заметках на воспоминания Л. Ф. Львова—«Русский Архив» 1885 г., № 12, стр. 559.

[3] О, несправедливая судьба!

четырех нас, ни одного неприятного слова между Якубовичем и Грибоедовым; напротив того, до самой той минуты, как стали к барьеру, они разговаривали между собою, и после того, когда секунданты их побежали за лекарем, Грибоедов лежал на руках у Якубовича. В самое время поединка я страдал за Якубовича, но любовался его осанкою и смелостью: вид его был мужествен, велик, особливо в ту минуту, как он после своего выстрела ожидал верной смерти, сложа руки.

25-го. Грибоедов перешел поутру на другую квартиру. Слух о поединке разнесся и дошел до Наумова[1]. Никого больше в том нельзя подозревать, кроме капитана Быкова, который стоял вместе с Грибоедовым; но Наумов ничего не знает наверное. Его мучит любопытство: ему бы хотелось, чтобы мы все к нему пришли, повинились бы в своем поступке; тогда он принял бы на себя вид покровителя и, пожуривши нас за молодость, взялся бы поправить все дело, которое не требует поправления. Ему весьма обидно показалось, что мы сего не сделали; он напал на бедного Талызина, не смея на другого напасть, наговорил ему неприятностей и обвинял его в обмане. «Ты должен был все знать, потому что ты вместе с Якубовичем жил; для чего ты мне ничего не сказал и не говоришь?» Бедный Талызин клялся ему, что он ничего не знает. Тогда Наумов позвал к себе Якубовича, хотел из него все выведать самым глупым образом, но ошибся. Он стал уверять Якубовича, что он все знает. «Если вы все знаете», — отвечал ему Якубович, — «так зачем же вы спрашиваете меня? А я вам говорю, что поединка не было и что слухи эти пустые». Весьма приметно, что Наумов еще недавно имел такую власть; он хочет ее выказать; его любопытство мучает, и он хотел бы быть в состоянии рассказывать всем на ухо обстоятельства сего поединка, но ему не удалось и не удастся. Вечер мы провели у Грибоедова. Наумов посылал меня к себе просить; я пошел к нему, но не застал его дома.

26-го. Наумов прислал сказать Якубовичу, что полковник Наумов приказывает ему выехать из города, а что Сергей Александрович позволяет ему до вечера 27-го числа в Тифлисе остаться. Наумов сим подтверждает то, что я об нем выше написал.

---

[1] С. А. Наумов — дежурный штаб-офицер в посольстве Ермолова.

27-го. Ввечеру Якубович уехал на Карагач в полк. Про рану Грибоедова распущено множество слухов. Унгерн слышал вчера, что пуля ударила его в ладонь и вылетела в локоть.

. . . . . .

25-го [декабря]. Я пошел поутру к генералу Вельяминову[1] и выпросил у него позволение для Рененкампфа и Воейкова[2] ехать вперед навстречу Алексею Петровичу [Ермолову]. Я пошел к обедне; во время оной пришло известие, что Алексей Петрович близко от Тифлиса. Алексей Александрович Вельяминов[3] приехал в два часа пополудни, а с ним Верховский, Самойлов, Лищенко, Рыхлевский[4] Петр Николаевич[5]; а Алексей Петрович остался на Артисховском посту, дабы в'ехать в город ночью, чтобы избавиться от встреч. Он приехал в 7-м часу, заперся с Иваном Александровичем и занимался с ним часа полтора, после чего он вышел к нам. Нас было человек 10 из домашних его; он принял нас очень ласково, всех поодиночке, обнял и восхитил нас. Вечер я провел у главнокомандующего и сидел у Петра Николаевича до 2-го часа ночи. Он мне рассказывал разные происшествия по службе. Между прочим он сказал мне, что Алексей Петрович очень сердится на Якубовича за случившийся поединок и советовал мне через Грибоедова попросить Мазаровича, чтобы он об'яснил дело генералу и устроил бы оное так, чтобы он не сердился и оставил бы оное.

28-го. Я обедал у Ивана Александровича Вельяминова, который после обеда сказал мне, что полицеймейстер[6] подавал ему на меня просьбу через Ховена[7], но что он возвратил ее. Я благодарил его за сие. Впрочем, сказал я ему, я не боюсь ябед полицей-

---

[1] И. А. Вельяминов — начальник дивизии в Грузии.

[2] Офицеры — члены посольства Ермолова.

[3] Начальник штаба отдельного кавказского корпуса, брат предидущего.

[4] Офицеры кавказского корпуса.

[5] Генерал-майор П. Н. Ермолов — двоюродный брат главнокомандующего, долго служивший на Кавказе; по чину — маршал посольства.— В 1898 году в «Русской Старине» было опубликовано несколько писем к нему А. П. Ермолова и А. А. Вельяминова.

[6] Полицмейстером тогда состоял чиновник посольства — подпоручик С. Ф. Федоров.

[7] Генерал-майор Р. И. Фон-дер-Ховен, назначенный в 1818 году и. д. тифлисского гражданского губернатора.

цеймейстера, потому что я прав; но мне весьма прискорбно было бы связаться с человеком такого рода.

Ввечеру я пошел к Алексею Петровичу; но он не показывался, и я просидел до 12-го часа у Петра Николаевича с Самойловым и Розеном [1]. У нас зашел большой спор об Каховском [2]; Петр Николаевич защищал его.

29-го. Ввечеру зашел к Стабушу, который стоит с Шишковым, племянником Александра Семеновича Шишкова, который переведен недавно в Кабардинский пехотный полк.

31-го. Я обедал у Алексея Петровича, вечер провел до полуночи у Грибоедова и встретил у него новый год. Ужин был прекрасный, и все несколько подпили. Краузе [3] показывал разные штуки.

1819 г. Тифлис.

1-го января. Я провел вечер на бале у Алексея Петровича. Бал был довольно пышный. Всего мне больше на оном понравились грузинки, которые удивили меня несказанною красотою своей.

2-го. я обедал у Алексея Петровича и после обеда сидел у него до шести часов вечера в кабинете. Мы разговаривали очень долго о новых колонистах, которые сюда прибыли, о ереси их и о беспечности сих людей, о преимуществах, которых они требуют, и каким образом государь принял их. Алексей Петрович был очень любезен и ласков; он дал мне новые книги насчет Армении, привезенные ему из Парижа.

4-го я занимался все время сдачею дел Верховскому [4].

11-го я был у Алексея Петровича, который говорил очень долго о разделении Польши с таким красноречием и с такими познаниями, что мы все удивлялись и заслушались его. Грибоедов проделывает с ним все те же самые штуки, которые он со мной делал, и надувает Алексея Петровича, который верно полагает

---

[1] Прапорщик граф Н. А. Самойлов — «кавалер посольства» Ермолова и офицер нижегородского драгунского полка на Кавказе Розен, разжалованный из кавалергардского полка за поединок.

[2] Офицер Н. А. Каховский, родственник А. П. Ермолова, числившийся в егерском полку. Сохранилось четыре письма к нему Грибоедова.

[3] Капитан А. И. Краузе — казначей посольства.

[4] Офицер, вскоре назначенный обер-квартирмейстером отдельного грузинского корпуса.

[в нем] пространные и глубокие сведения. Грибоедов умен и умеет так осторожно действовать, что все речи его двусмысленны, и он тогда только дает утвердительное мнение свое, когда Алексей Петрович свое скажет, так что никогда ему не противоречит и повторяет слова Алексея Петровича: все думают, что он прежде тот предмет также хорошо знал. Я уже был надут им и видел ход его действий.

16-го. Мне кажется, Грибоедов придирается ко мне, и что у нас не обойдется ладно. Вчера обедал я в трактире, и Грибоедов тоже. Пришел туда тот самый толстый Степанов, с которым я раз виделся на его квартире и который отказался от своих слов и просил извинения. Грибоедов не знал его. Увидя его, он спросил меня, та ли это особа, про которую прежде говорено было и которой я побоялся. «Как побоялся», — сказал я, — «кого я буду бояться?» — Да его наружность страшна. — «Она может быть страшна для вас, но совсем не для меня». Меня очень рассердило сие маленькое происшествие. Я дождался, пока Степанов ушел, а потом, подозвав к себе Амбургера, спросил у него громко при всех, слышал ли он суждение Грибоедова, который находит наружность Степанова грозною? Грибоедов несколько потерялся и не умел иначе поправиться, как сказав, что он ее грозною потому находит, что Степанов громаден. Тем и кончилось. Грибоедов почувствовал свою ошибку и все вертелся около меня.

18-го. Вчера я получил благодарность в приказах от Алексея Петровича за искусное расположение войск на границе Персии для удержания кочующих народов и доставление нужных замечаний.

22-го я обедал у Алексея Петровича. Грибоедов отличался глупейшею лестью и враками. Я не понимаю, как Алексей Петрович может так долго ошибаться в нем. Он, кажется, к нему еще очень хорошо расположен, и мне кажется сие за счастье, что Грибоедов не остается в Тифлисе, а уезжает с Мазаровичем.

28-го. Уехал отсюда с Мазаровичем в Персию к великому удовольствию всех Грибоедов, который умел заслужить всеобщую нелюбовь. Мне кажется, однако же, что Алексей Петрович не ошибся на его счет. Он препоручил Грибоедову сделать описание случившемуся здесь землетрясению для помещения оного в ведомости. Грибоедов написал ужасную штуку: Куринские льды с ревом поколебались, треснули и стремились к пучине; тут был и гром, и треск, и стук, и страх, и разбежавшиеся жители, и

опустелый город; землетрясение пять минут продолжалось и пр., и пр., и все написано так лживо и так нескладно, что было больше похоже на силлогизм человеческого преследования[1]. Я узнал, что Алексей Петрович премного его благодарил за сие и расхваливал его; по от'езде же Грибоедова он приказал Могилевскому[2] пересочинить все сие сызнова.

. . . . . .

1822 г. Тифлис.

23-го [января]. Я был на званом обеде у Алексея Петровича по случаю прибытия сюда Гурияльского владельца, которого угощали. Он генерал-лейтенант нашей службы, имеет Аннинскую и Владимирскую звезды и носит генеральское шитье, эполеты и ленту на парадном одеянии своем. Он высокого роста, молод и хорош собою.

24-го. Я был на таком же званом обеде у старика Вельяминова, где находился тоже Гуриял. Ввечеру меня пилили разные скучни и очень долго. Я молчал, а гости все спорили между собой о преимуществе христианской веры над магометанской. Не зная последней, врали жестоким образом и приходили ко мне судиться. Напоследок кончилось тем, что армянин утверждал, что армянское евангелие ближе всех переведено к еврейскому; а Старков, не понимая о чем тот говорит, вступился, как патриот отечества, и уверял, что славянский язык имеет красоты преимущественные красотам всех прочих языков. Беда моя прекратилась приездом Воейкова; я оставил их спорить и провел вечер с ним в приятельском разговоре до полуночи.

25-го. Провел вечер у Грибоедова. Нашел его переменившимся против прежнего. Человек сей очень умен и имеет большие познания.

2-го [февраля]. Пришел ко мне обедать Грибоедов; после обеда мы сели заниматься и просидели до половины одиннадцатого часа: я учил его по-турецки, а он меня по-персидски. Успехи, которые он сделал в персидском языке, учась один, без помощи книг, которых у него тогда не было. Он в точности знает язык персидский и занимается теперь арабским. Я нашел его очень

---

[1] Это «описание» до наших дней не сохранилось.

[2] Это, несомненно, правитель канцелярии посольства Ермолова—А. И. Рыхлевский. Сохранилось четыре письма к нему Грибоедова, в печати неизвестные; два — хранятся в Гос. Театральном Музее им. А. А. Бахрушина, и два—в Гос. Историческом Музее.

переменившимся, и он очень понравился вчера. Он мне рассказывал, между прочим, обращение Мазаровича в Персии и каким он образом роняет честь своего звания, а следственно и государя, своим поведением в Персии. Когда получены были бумаги из Петербурга, которыми извещали Персидский двор, что турки своим поведением навлекают на себя гнев государя и сами задирают нас к войне, надобно было об'яснить Аббас-Мирзе [1], что государь желает дать знать всем народам, что не страсть к завоеваниям его к сему понуждает, но единственно неправильные поступки турок против него. Грибоедов ходил к Аббас-Мирзе и об'яснил ему сие, говоря, что государь не требует союзников, но дает только ему знать о сем. Аббас-Мирза, обрадованный сим случаем, обещался выставить 50 тыс. воинов и итти на турок, что он и сделал. На другой день Мазарович, увидевшись с ним в саду, стал ему о том же говорить; но вместо того, чтобы соблюсти благопристойность, он просил Аббас-Мирзу быть союзником нашим, и в знак благодарности, когда тот об'явил свое согласие, схватил у него руку и поцеловал ее. Вот поступок, достойный иностранца, наемщика в нашей службе!

3-го. Грибоедов приходил ко мне поутру, и мы занимались с ним до пяти часов вечера. Вчера я получил письмо от Н. Н. Шереметевой, которым она извещает меня о новорожденном сыне Леониде у брата моего Михайлы. Она также обещается ходатайствовать о Сергее, чтобы его на волю выпустили.

5-го. Я провел часть дня у Грибоедова, занимаясь восточными языками. Ввечеру явились ко мне два денщика, которых Верховский для меня вытребовал из приходящих сюда рекрутских партий.

6-го. Был день происшествий. Я узнал поутру, что Рюмин приехал, ждал его к себе; но он не приходил. Воейков был у меня и, заставши у меня Грибоедова, сказал мне в другой комнате, что если б я одну вещь знал, то бы она меня очень рассердила. Я просил у него об'яснения; он не хотел об'ясниться, наконец, он ушел. В обед пришел ко мне Катани и сказал, что Рюмин еще поутру пошел из артиллерийского дома ко мне, взяв с собой чертежи свои; между тем Катани сказал, что он слышал, будто Рюмин был у главнокомандующего и у начальника штаба. Я применил слова Воейкова к сему случаю и, крепко рассердясь, гото-

[1] Второй сын шаха Фет-Али из династии Каджаров, назначенный в 1816 году наследником персидского престола.

вился Рюмина арестовать при первой встрече, ибо поступок сей служит продолжением прежних и означал прежнюю его склонность к хвастовству и неповиновению. Проступок его по службе был довольно важен. Я послал за Воейковым, чтобы переговорить с ним о сем случае; между тем пошел после обеда к Верховскому для себя самого. Верховский начал речь тем, что рассказал мне свое происшествие с Гиертой, который таскал из чертежной карандаши и тушь и стал отвечать ему дурно, когда он просил его не трогать сих вещей. Верховский принужден был его остановить угрозою, что он ему покажет свои права. Случай сей расстроил Верховского. За сим я ему рассказал Рюмина дело, и в то самое время пришел ко мне человек с известием, что Рюмин явился ко мне и дожидается с чертежами. Я просил Верховского быть свидетелем моего поступка с Рюминым, и он пришел ко мне. Рюмина работа была очень хороша. Я поблагодарил его; а между тем, узнавши, что он был у главнокомандующего и у начальника штаба и показывал им свою работу, я побранил его, как должно, и отпустил. Пришел Бобарыкин[1], а за ним Воейков; я просил их из'яснить мне, в чем состояли слова, сказанные Воейковым поутру, полагая, что тут касается нечто до Грибоедова. После долгих отговорок Бобарыкин сказал мне, что накануне Грибоедов из'яснялся у Алексея Петровича Петру Николаевичу насмешливо насчет наших занятий в восточных языках, понося мои способности и возвышая свои самыми невыгодными выражениями на мой счет. Меня сие крепко огорчило. Необходимо должно было иметь поединок, чтобы остановить Грибоедова, что было весьма неприятно. Я пошел к Воейкову, где нашел Бобарыкина, об'яснил им, сколько происшествие сие было неприятно для меня, послав вслед за сим к Грибоедову книгу его и велев потребовать мои назад; и то было вмиг исполнено. Вскоре за сим явился ко мне Грибоедов, дабы я ему об'яснил причины, понудившие меня к сему поступку. Я ему об'яснил их и назвал свидетелей. Мы напали все на него и представляли ему его неосторожность. Он извинился передо мною и просил, чтобы я забыл сие; но Бобарыкин, имея старые причины на него сетовать, продолжал спорить с ним. Сие подало повод к колкостям с обеих сторон. Бобарыкин сознавался, что он не должен был мне передавать этих слов, не об'яснившись сперва с Грибоедовым, но сказал, что уважение его и преданность

[1] Поручик Д. А. Бобарыкин — школьный товарищ Муравьева, «кавалер посольства».

ко мне понудили к сему. В самое это время Грибоедов вскочил и ушел.

Мое дело было поправлено, но Бобарыкин и Воейков оставались на дурном счету в глазах Грибоедова. Я намеревался и теперь намереваюсь пресечь понемногу знакомство с ним; но тут я должен был примириться с ним и принять его извинения, и потому я отправился с Бобарыкиным к нему и примирился с тем условием, однако ж, чтобы: 1) Грибоедов не смел после разносить сего, и 2) чтобы он вперед был осторожнее в своих речах. Он охотно согласился на сие и дал честное слово, что вперед будет осторожнее и нигде не разгласит сего дела. Я отдал ему книги и обещался заниматься попрежнему с ним. Бобарыкин извинился в том, что он сказал сие, а Грибоедов в том, что прежде подал ему повод неудовольствия на себя своими неосторожными шутками. И мы так расстались. Перед отходом Грибоедов дал мне письмо, которое он хотел послать к Петру Николаевичу и которым он просил его помирить его со мною. Я сжег сие письмо и пошел к Воейкову, куда вскоре и Грибоедов пришел и просидел с нами до 11 часов вечера. Я возвращался с Бобарыкиным домой с двумя фонарями, как встретился нам Газан с третьим фонарем. Мы зашли к нему и он рассказал нам следующее происшествие, случившееся с ним.

Здесь есть гражданский чиновник Похвиснев, привезенный недавно Алексеем Петровичем. Он брал книги у Газана. Газану они были нужны, и он отправился за ними к Похвисневу, не нашел его дома и стал рыться в книгах его, чтобы свои отыскать[1]. Человек Похвиснева не давал ему сего делать; но как скоро он увидел, что Газан насильно хотел сие делать, он вышел и запер его в комнате. Сколько Газан ни просил его отпереть двери и выпустить его, человек не делал сего. Газан выломал пинком дверь и вышел.

За сим я пошел домой и лег спать, вспомнив, что несколько раз в жизни мне случалось иметь дни, преисполненные происшествиями, неприятностями, и был рад, что те, которые до меня касались, так хорошо кончились.

7-го. Поутру был у меня Миллер; ввечеру я к нему зашел, и он толковал мне новую систему Ганемана, по которой лечат болезни самой меньшей долей лекарства, и лекарства не должны

[1] Сохранилась записка Грибоедова к Н. Н. Похвисневу с просьбой о присылке книг.

быть противодействующие болезни, но которые бы могли произвести ее, когда человек находится в здоровом состоянии[1]. Ввечеру был у Алексея Петровича; он поговорил со мною несколько о делах Туркменских и Хивинских и, сколько я мог заметить, видно, что настоящей цели никакой не имеется, а кажется, что обещал государю много выгод от предполагаемого заведения.

10-го. Я был почти целый день дома и занимался. Я писал к Грибоедову записку, в которой я об'яснял ему, что занятия мои по службе не позволяют мне больше продолжать занятия наши в восточных языках и что в субботу должен у нас последний урок быть[2]. Ввечеру поздно он ко мне пришел и просидел до полночи. Образование и ум его необыкновенны.

. . . . . .

27-го. Я ходил к Алексею Петровичу и носил к нему турецкую грамматику, которую я для него сочинил. После полдня я ходил к Грибоедову, который был болен сии дни. Он получил при мне записку от одного англичанина Мартина, который просил его прислать к нему лекаря, потому что был болен, но он никакого языка, кроме английского, не знал[3]. Мы искали средства, чтобы доставить ему переводчика и как другого не было, как мне самому итти, то я написал записку к Миллеру, которою я просил его притти к нему, а сам отправился. Сей несчастный приехал из Калькутты в Тавриз для лечения, полагая, что холодный климат будет ему полезен. Из Тавриза он сюда прибыл из любопытства и еще более занемог; он принимал множество меркурия и хины, которые расстроили его здоровье. Положение его заслуживает сострадания.

. . . . . .

15-го [марта]. Поутру заходил ко мне Грибоедов с англичанином Мартином, который оправился от своей болезни и сбирается на днях отсюда ехать. После обеда я ходил с Верховским в сады, которые на острове на Куре, ниже города, версты за три или за четыре отсюда. Я нашел прекрасный сад, в коем бесчисленное множество аллей виноградных; он очень обширен, и можно его назвать лабиринтом; ибо множество крытых дорожек и стен, разделяющих владельцев сего сада, делают его очень слож-

---

[1] Это — так называемое учение гомеопатов.

[2] До наших дней ни один документ из переписки Грибоедова с Муравьевым не сохранился.

[3] В печати эта записка неизвестна.

ным и кто в первый раз в нем, не скоро найдет в нем дорогу. Зелень мало-по-малу начинает показываться. Летом же на сем острове вечная прохлада от тени старых каштановых деревьев и бесчисленного множества водопроводов, орошающих сие место. Если мне доведется здесь лето прожить, то я намереваюсь избрать в сем саду хорошее место под тенью старого каштанового дерева, разбить там свою палатку и укрываться от несносной жары, удушающей городских жителей.

16-го. Я был позван Алексеем Петровичем на обед, для того, чтобы говорить с англичанином Мартином, который кроме своего и персидского языка никакого не знает.

17-го. Я получил по российской почте посылку: напечатанную вторую часть моего путешествия в Хиву[1]. Где ни раскрывал я книгу, находил я множество ошибок, как опечаток, так и в слоге, а что всего обиднее, много ошибок в описании края. Я огорчился, пошел к Верховскому и отдал ему книгу, прося его прочесть ее и сказать мне свое суждение. Он обещался сделать сие, но посоветовал мне отнести к И. А. Вельяминову, который лучше всех в состоянии сказать о ней основательное суждение. Во всяком случае я намерен написать о ней критику и послать ее для напечатания в журнал. Со времени сочинения сей книги, я во многом усовершенствовал свои сведения о Востоке и вижу большие ошибки; но какая книга бывает совершенна, особливо та, которая касается столь нового и никому неизвестного предмета?

19-го. Я провел часть дня у Грибоедова и обедал у него, занимаясь с ним турецким языком. Ввечеру я был у Алексея Петровича, а оттуда зашел к Верховскому, который прочитывал вторую часть моей книги путешествия в Хиву и Туркмению, и нашел ее очень хорошей. Он уверял меня, что я из личного предубеждения против себя находил ее дурною.

. . . . . .

31-го марта провели у меня вечер Грибоедов и Кюхельбекер[2]; первый был так любезен вчера, что можно бы почти

[1] «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах гвардии Г. Штаба капитана Николая Муравьева, посланного в сии страны для переговоров. М. в тип. Семена, 1822 г.». В двух частях.

[2] В. К. Кюхельбекер (1797—1846), известный литератор и декабрист, товарищ по лицею и приятель Пушкина. С Грибоедовым его соединяла дружба не меньшая, чем с Пушкиным. Познакомились они, вероятно, еще в 1817 г., когда вместе с Пушкиным поступили в коллегию иностранных дел. Затем Грибоедов уехал на Восток, а Кюхельбе-

забыть его свойства. Поздно ввечеру я был у Алексея Петровича. Приехал фельд'егерь, который привез известие о разных производствах в корпусе, между прочим, и коменданта Грабарача в подполковники.

. . . . . .

16-го [апреля] я ходил ввечеру в собрание и узнал там от Грибоедова происшествие, недавно случившееся между Кюхельбекером и Похвисневым. На днях они поссорились у Алексея Петровича, и как Похвиснев не соглашался выйти с ним на поединок, то он ему дал две пощечины. Алексей Петрович, узнавши о сем, очень сердился, сказав, что Кюхельбекера непременно отправит отсюда в Россию, а между тем велел, чтобы они подрались. У Похвиснева назначен секундантом Павлов, а Кюхельбекер послал на Гомборы по сему предмету за артиллерийским штабс-капитаном Листом, с которым он очень дружен.

17-го я обедал у Ивана Александровича и ввел его в разговор о разных злоупотреблениях, здесь делающихся. Он беспощадно истреблял Ладинского, называя его почти преступником и удивляясь, что до сих пор еще Алексей Петрович, зная его поступки, терпит его в службе. Я перевел разговор насчет Высоцкого, которого он тоже крепко обвиняет в грабежах. Зная правдивость старого Вельяминова, я начал переменять мысли свои насчет сего человека; но меня еще более уверил в сем следующий случай. Я пошел после обеда к Базилевичу и по дороге зашел к Мадатову [1], который с большим беспокойством начал говорить о Высоцком, рассказывал его поступки, оправдывая свои, что мне показалось очень удивительно. Видно, что и он замешан в сем деле. Поговорив, таким образом, с час, он вдруг об'явил мне, что Высоцкий рассказывал, что я ему советовал написать письмо к Алексею Петровичу. Меня очень удивил сей поступок со стороны Высоцкого; он был у меня наедине и, жалуясь на свое поло-

---

кер в 1821 г. за границу. В этом же году Кюхельбекер попал в Тифлис на службу к Ермолову и встретился там с Грибоедовым. Здесь они очень сблизились; Грибоедов делился с новым другом своими литературными замыслами и на глазах Кюхельбекера происходила работа над первоначальным текстом «Горя от ума». В мае 1822 г., после ссоры и дуэли с Похвисневым, Кюхельбекер должен был покинуть Кавказ.— См. А. В. Безродный. В. К. Кюхельбекер и А. С. Грибоедов — «Исторический Вестник» 1902 г., № 5.

[1] Подпоручик Мадатов — переводчик в посольстве Ермолова.

жение, просил совета, говоря, что он намерен писать к Алексею Петровичу; я сказал ему, что он, Ермолов, не любит писем, и что если он решится сие сделать, то должен прежде разведать, в чем его обвиняют, а потом писать, если он невинен, и потому если, как он говорил, Иван Александрович к нему хорошо расположен, то он должен сперва у него спросить, в чем его обвиняют. Сие сказать ему был долг мой, а он разгласил сие, сказав, что я ему советовал писать письмо. Я об'яснил Мадатову дело и сказал, наконец, что если он не намерен был сему верить, то мне никакого дела до сего не было, потому что я не менее того прав останусь, и ушел к Базилевичу, где провел с большим удовольствием время до вечера. Оттуда я ходил к Алексею Вельяминову, у которого Алексей Петрович приказал мне получить изустное наставление для руководства моего в командовании в Тарках. Главнокомандующий, как я догадывался из слов его, старался уверить меня, что поручение сие гораздо лестнее того, что оно в самом деле есть. Я, кажется, буду просто наблюдать за строениями. Я узнал от него также, что представления мои еще не пошли, а пойдут теперь вскоре, с первым фельд'егерем; что меня еще не представили к званию полкового командира, потому что вакантных полков еще нет и, кажется мне, что сие случится не прежде осени. Впрочем, я буду доволен провести лето в Тарках и начальствовать двумя батальонами, которые там будут находиться.

19-го я обедал у губернатора, где слышал от него самые неприличные отзывы об Вельяминове. Ермолов [Петр Николаевич] после обеда приехал ко мне и рассказал мне дело Похвиснева с Кюхельбекером. Грибоедов причиною всего, и Кюхельбекер действовал по его советам. Мне сказал Ермолов, что Алексей Петрович имеет тайное приказание извести Кюхельбекера; невзирая на то, кажется, что слабость его допустит последнего до того же состояния, в котором он прежде был принят у него в доме.

Я получил вчера письмо от Юрьева, которым он извещает меня, что два судна были разбиты около Карабузасского залива и были сожжены туркменами, что из захваченных людей Киат выручил трех. Ввечеру приехал сюда брат Ермолова, служащий прапорщиком в гвардейском генеральном штабе.

20-го. Кюхельбекер стрелялся с Похвисневым; один дал промах, у другого пистолет осекся, и тем дело кончилось.

29-го ввечеру я был у Алексея Петровича, который об'явил нерадостную весть. Он показал мне письмо от кн. Волконского [1], который ему пишет, что он уже не смел докладывать государю о дании мне полка после того ответа, который он получил от государя насчет Верховского, что его должно сперва перевести к старшему в полк, дабы он обучился фронтовой службе, а после того уже поручить ему полк.

30-го апреля поутру я был у Алексея Петровича и просил его перевести меня в какой-нибудь полк до времени, пока я буду в Тарках, дабы к возвращению моему оттуда получить полк. Он с удовольствием обещался сделать сие.

2-го [мая] Ермолов сбирался выехать, но отложил от'езд свой до 3-го числа. Я ходил к нему спрашивать, в какой он меня полк представил, и он сказал мне, что в Грузинский, откуда я уж буду переведен командиром 7-го карабинерного полка.

3-го. Я получил неудовольствие от Воейкова, которое меня сильно огорчило. Накануне я сторговал за 15 червонцев саблю; на другой день, когда я послал за нее деньги, я узнал, что она уже продана Воейкову за 16 червонцев. Я увиделся с Воейковым. Он купил ее, не знав, что она уже моя была, и я просил уступить ее мне, тем более, что у него их две было, а у меня ни одной не было. Он мне отвечал довольно грубо, что сабля эта его, что он ее купил и что он знать не хочет о том, что я ее сторговал.

4-го в 9 часов утра Ермолов уехал. Грибоедов, проводив его, приехал ко мне обедать [2].

. . . . . .

1826 год.

[Сентябрь]. В Тифлисе было две невесты, на коих все обращали глаза: дочь покойного артиллерии генерал-майора Ахвердова и дочь совестного судьи Перфильева. Первая была скромная и весьма хорошо воспитанная девушка, но жила с мачехою своею,

---

[1] П. М. Волконский — министр двора.

[2] В марте этого же 1822 года Грибоедов, поселившись в Тифлисе, купил у уезжавшего Н. Н. Муравьева, назначенного командиром эриванского полка, фортепиано, почти единственное в городе («Русская Старина» 1874 г., т. XI, стр. 289). — Позже Грибоедов это фортепиано уступил Муравьеву же: «Имея прекрасное фортепиано, купленное у Грибоедова, я посвящаю на оное в первые пять дней недели по одному часу в день» — записано в дневнике Н. Н. Муравьева от 27 января 1824 г. («Русский Архив» 1888 г., № 10, стр. 194).

женщиною, которая по правилам своим пользовалась всеобщим уважением, но по смерти мужа своего, управляя оставленным имением сирот, по незнанию своему, почти совсем истребила оное. Как тому более всего способствовал род жизни, который она вела несообразно своему и их состоянию, то и можно почти сказать, что имение сие было промотано, хотя и без всякого дурного умысла со стороны Прасковьи Николаевны Ахвердовой. Она была обижена и обманута теми людьми, коим доверяла управление имением своим в России. Содержась давно уже имением сирот, коих она была попечительницей, она едва уже находила средства к дневному содержанию своему и семейства своего. Но при всем том вечеринки, балы, выезды, наряды шли прежним порядком и умножали долги ее. Красота и воспитание Софьи Ахвердовой привлекали в дом ее множество гостей. Многие в нее влюблялись, но не приступали к женитьбе, опасаясь расстроенного состояния дел ее. Брат Софьи Федоровны [1] был отправлен в Петербург в Пажеский корпус, где о воспитании его имели мало попечения. Прасковья Николаевна имела еще собственную дочь, лет 10-ти, которую она также воспитывала весьма хорошо. В доме жила еще двоюродная сестра нынешней жены моей, Ахвердова. В числе женихов для Сонюшки выбирали разных людей, коих нравственность и правила, по легкомыслию Прасковьи Николаевны, казались удовлетворительными. В таком роде был один грек Севиньи, плут скаредный и обманщик, который говорил хорошо по-французски и обольстил старуху до такой степени, что она обручила за него Сонюшку, когда ей было только 12 лет; но подложные письма его и все поведение были открыты Грибоедовым, который в сем случае поступил по-рыцарски: он изгнал его из круга дома сего [2]. Севиньи скоро уехал в Россию, где обнаружил себя фальшивыми паспортами и кражею [3]. Имение детей покой-

---

[1] От первого брака Федора Исаевича Ахвердова († 1818) с княжною Юстиниани. (Примечание П. Бартенева).

[2] «Грека, рыцаря промышленности, выгнали от Ахвердовых, и я при этом остракизме был очень деятелен», — писал Грибоедов 1 октября 1822 года из Тифлиса В. К. Кюхельбекеру. О Севиньи см. также Ф. Н. Виницкий. Рассказы из былого времени. «Чтения в обществе истории и древностей российских» 1874 г., кн. 1, стр. 87—89.

[3] Вильям Егорович Севиньи, находясь в 1824 году в Москве, выманил у богатого грека Зосимы драгоценную жемчужину «Pellegnia». За мошенничество был приговорен к ссылке, но по высочайшей конфирмации в 1826 году изгнан из России.

ного Ахвердова состояло из дома и сада в Тифлисе, которые Прасковья Николаевна стала разыгрывать в лотерею. Собранные до сих пор 44 тыс. рублей были из опеки взяты опекуном князем Чавчавадзевым, который уплатил оными собственные долги, частью передав попечительнице, и не в состоянии был платить исправно проценты. Попечительница продавала вновь билеты, записываемые на приход в капитал, которого давно уже не существует. Приязнь между обоими семействами была причиною, что до сих пор не было никаких исков; их и вперед не будет; они оказались бы тщетными. Не менее того имение сирот исчезло, деньги за билеты взяты, и лотерея уже восемь лет осталась без розыгрыша. Все сии обстоятельства устрашали женихов.

В то время была еще другая невеста в Тифлисе, славившаяся своею красотою, искусством петь и танцовать, недавно прибывшая с отцом своим, полька Александрина Перфильева. Отец ее, прибывший на службу в Грузию с семейством своим, был вскоре по покровительству Ховена назначен совестным судьею. Дом их имел все признаки шляхетского происхождения; но Александрина, вскружившая многим молодым людям голову, не могла никогда занять меня, хотя многие и предназначали мне ее в супруги. Непомерное желание нравиться и слухи об упрямых свойствах ее достаточны были, чтобы совершенно отклонить с моей стороны всякий иск или желание принять ее в жены. Еще перед выездом моим из Тифлиса я предупредил Мазаровича о желании моем и выборе и просил узнать о состоянии дел Ахвердовой и о расположении ее, но с тем, чтобы не об'яснять ничего. В Джелал-Оглу я получил ответ его. Я мог видеть, что она ничего не имела; но я не искал состояния, а жену.

. . . . . .

1827 г.

В начале года я опять приехал из Манглиса [1] в Тифлис, но с твердым намерением не отлагать более избрания себе супруги. Мазарович, коему я в прошлом году перед походом говорил о намерении моем жениться на Ахвердовой, тогда же писал к мачехе ее, и, как я после узнал, избираемая мною невеста не

[1] Здесь стоял карабинерный полк, которым командовал Н. Н. Муравьев.

из'явила мачехе[1] своей совершенного согласия быть за мною замужем, о чем, кажется, не было говорено Мазаровичу, который не мог сомневаться в успехе сего дела. Впрочем, я ему не поручал никакого ходатайства, и никому не поручал оного, желая сам все кончить, как сие и случилось без чьей-либо посторонней помощи. Я не колебался в выборе себе невесты и не помышлял избрать Александрину Перфильеву или дочь князя Арсения Бебутова, но устремил мысль на нынешнюю жену свою, хотя и не чувствовал к ней сильной страсти и хотя мне несколько нравилась княжна Нина Чавчавадзе; но ее лета[2], ум и воспитание далеко отстали от тех же качеств Сонюшки Ахвердовой[3]. Я совещался с Мазаровичем, дабы узнать в подробности те обстоятельства, которые затрудняли меня в решении, а именно состояние дел ее, сношения с мачехою и тот обширный круг всякого народа, который ежедневно наполнял их и который бы я весьма желал удалить от себя.

Я узнал от Мазаровича, что хотя и нельзя было ожидать приданого (потому что все имение, оставленное ей и брату ее покойным отцом, было запутано, повидимому, беспечностью опекуна князя Чавчавадзе и неумеренностью мачехи ее), но долгов она не имела, и сего мне было достаточно, ибо я не искал богатства, а искал жены. О состоянии мачехи я также узнал, что оно было в самом расстроенном положении, что она была вся в долгах,

---

[1] Прасковья Николаевна Ахвердова — вдова начальника кавказской артиллерии. Это была выдающаяся женщина: получила в Петербурге хорошее образование, с успехом занималась живописью, копировала картины в Эрмитаже, любила литературу и музыку. Овдовев в 1818 г., осталась жить в Тифлисе.

[2] Н. А. Чавчавадзе родилась 4 ноября 1812 года, значит, в это время ей было немногим более 14 лет. Но тем не менее в это время в нее были влюблены некоторые кавказские военные деятели. Сильно увлечен Ниной Александровной был С. Н. Ермолов. Влюблен был в нее без ума и Н. Д. Синявин: «Видел ли я что-нибудь подобное? Нет, в мире не может существовать такого совершенства! Красота, сердце, чувства, неиз'яснимая доброта! Как умна-то! Божусь, никто с ней не сравнится!» — писал о ней тогда Синявин в письме Б. Г. Чиляеву; см. Б. Л. Модзалевский. «Кавказ николаевского времени в письмах его военных деятелей». (Из архива Б. Г. Чиляева) — «Русский Архив» 1904 г., № 1, стр. 115—174.

[3] С. Ф. Ахвердова — падчерица Прасковьи Николаевны, находившаяся у ней на воспитании. Ее опекуном был отец Нины Александровны — кн. А. Г. Чавчавадзе.

но что долги сии нисколько не падали на сирот. Насчет шумного круга, посещавшего дом ее, Мазарович уверял меня, что с появлением моим он весь разойдется, и сей последний предмет один только мог меня затруднять. Впрочем, дабы иметь лучшие сведения, я обратился к Грибоедову, коему состояние дел ее было известно [1]. Он достал мне какую-то таблицу, по коей видно было, что долги старухи простирались сверх 30.000 руб., что имение падчерицы ее, хотя и полагалось налицо, но что оно было все почти издержано старухою. Оно состояло из дома и сада, которые были заложены и сверх того разыгрывались в лотерею уже 7 лет в 80.000 руб.; деньги, за билеты вырученные, более 40.000 руб., были издержаны; выхлопотанные Алексеем Петровичем в пользу вдовы сей от государя 20.000 руб. были им удержаны в пользу сирот и отданы в Приказ Общественного Призрения, но опекуном взяты. Он по ним обещался платить проценты в пользу сирот, но не делал сего, и проценты добывались старухою, продававшею вновь билеты и записывавшею их на приход в капитал, коего таким образом собралось 44.000. Но между тем опекун был ей порукой в займе у другого лица денег. Довольно ясно было видно, что ни дома, ни имения сего более не существовало, но меня сие не беспокоило. Кроме того, имелся еще дом и пять дворов крестьян, которые давали небольшой доход и коим пользовалась старуха; но и сие не могло остановить меня. Касательно сношений моих со старухою, Грибоедов уверял меня, что он на моем месте всячески старался бы удалить ее в Россию после свадьбы, в чем он был совершенно справедлив. Он сам был весьма рад намерению моему и всячески старался склонить меня в деле, коем не нужно мне было посторонних советов, почему я и не просил его дальнейшего участия. Но тут же, при об'яснениях, сознался я ему, что Нина Чавчавадзе мне более нравилась, а он сознался, что был неравнодушен к Ахвердовой, но не помышлял о женитьбе, потому что не имел состояния.

Я не имел с Грибоедовым никогда дружбы; причины сему были разные. Поединок, который он имел с Якубовичем в 1818 г., на коем я был свидетелем со стороны последнего, склонность сего человека к злословию и неуместным шуткам, иногда даже оскор-

---

[1] Грибоедов был в большой дружбе с П. Н. Ахвердовой; до наших дней сохранилось 9 писем Грибоедова к ней за период 1827—1828 г.г.

бительным, самонадеянность и известные мне прежние поступки его совершенно отклонили меня от него, и в сем случае, хотя доверенность, мною ему сделанная, сближала меня с ним некоторым образом, но не склонила меня к нему с лучшим душевным расположением, и я до сих пор остался об нем мыслей весьма невыгодных насчет его нравственности и нрава.

Между тем слух, не знаю на чем основанный (ибо я оному повода не давал), разнесся по городу, что я женюсь на Перфильевой. Так как я не был оному виною, то я и не заботился о прекращении оного, и оставил всех в заблуждении сем, более скрывавшем действия мои для достижения предполагаемой мною цели [1].

. . . . . .

Княжна Нина Чавчавадзе вышла в сем году замуж за Грибоедова [2]. Дело сие сделалось внезапно, пока мы находились под Ахалкалаками. Кажется, что сему способствовала Прасковья Николаевна, коей слишком короткое обхождение с Грибоедовым и даже дружба с ним весьма предосудительны и не могли мне нравиться, когда я весьма далек от того, чтобы иметь хорошее мнение о человеке сем. Мне даже не могло посему быть и приятно, что он был принят, в отсутствие мое, в доме, коего я хозяин, как самый ближайший родственник. Нет сомнения, что Сергей Николаевич Ермолов не мог быть супругом Чавчавадзевой; но, зная его добрый нрав и честные правила, я бы всегда предпочел его в сем случае Грибоедову, на правила коего не мог бы я положиться. В сем случае руководствовали родителями разные виды, кроме доверенности, которую имели к жениху. Он был назначен министром к Персидскому двору, получил непомерно большое содержание, получал от государя по представлениям (Паскевича,

[1] Грибоедов, несомненно, хорошо относился к Муравьеву. Это можно хотя бы видеть из того, что, когда Муравьев однажды — 29 июня 1827 года — попал со своим отрядом под Аббас-Абадом в перестрелку, то Грибоедов предлагал ему помочь: «Паскевич, увидя из окон своих перестрелку, засуетился и рассердился. Грибоедов, который в то время был при нем, и другие его окружающие, советовали ему послать ко мне подкрепление, говоря, что я могу погибнуть с горстью людей против такого сильного неприятеля». «Пускай он погибает!»—отвечал Паскевич. «Если он расторопный офицер, то сам отделается; если же он плох, то мне не нужен, и пускай погибает!»— «Русский Архив» 1889 г., № 11, стр. 308.

[2] Свадьба Грибоедова состоялась 22 августа 1828 г., предложение же было им сделано еще 16 июля.

коему он вдобавок был по жене двоюродный брат) большие денежные награждения. Все сие способствовало ему, и он получил весьма скоро согласие родителей. Князь Александр [Чавчавадзе] так поторопился в сем случае, что даже не уведомил меня о том предварительно, как мы о том уговорились при прекращении ходатайства моего о Сергее Николаевиче, коему следовало бы сперва отказать.

. . . . . .

Курганов не прекращал своих доносов [1], и я недавно слышал, что Эристов и Мухранский, до смены Алексея Петровича, ходили по ночам, переодетые в бурках и грузинских шапках, к Паскевичу, показывая через сие опасность, в которой находились, если бы были открыты. Обстоятельство сие истинное и дает понятие как о предосудительном расположении друг к другу начальников, так и о глупости доносчиков.

Не подвержено почти сомнению и то, что Грибоедов в сем случае принял на себя обязанности несогласные с тем, чего от него ожидали его знакомые [2]. Казалось бы, что и самые связи родства, в коих он находился с Паскевичем, не должны были его склонить к принятию постыдного звания доносчика [3].

. . . . . .

Нас обвенчали 22 апреля 1827 г. Мы выехали из церкви вместе и приехали в дом к Прасковье Николаевне, где она уже ожидала нас с Алексеем Петровичем, Мадатовою [4] и Чавча-

---

[1] Поручик И. О. Курганов — армянин, выдвинувшийся при Паскевиче. Ермолов называл его Ванькой-Каином (см. «Русский Архив» 1894 г. № 1, стр. 11 и 1906 г., № 9, стр. 65). В тифлисской уличной песне, сохранившейся еще к концу прошлого столетия, были такие строки: «Праздник наступил и год обновился. Паскевич приехал, Иван Курганов назначен ад'ютантом и прозвали его Каином. Жаль, что Ермолов сменился,— у народа сердце испортилось» (см. Е. Г. Вейденбаум. «Ермолов и Паскевич» в сборнике «Кавказские этюды», Тифлис, 1901 г., стр. 231). О нем см. также Кн. Щербатов. Кн. Паскевич-Эриванский, т. II, стр. 99.

[2] Сам Грибоедов называет Курганова подлецом (в письме к Паскевичу от 16 марта 1828 г. — «Дела и дни» 1921 г., № 2, стр. 63).— В первом томе «Архива Раевских» (стр. 356—358) опубликовано письмо Курганова к Н. Н. Раевскому от 7 ноября 1827 г. из Тавриза, где он говорит о Грибоедове.

[3] Далее в подлиннике четыре строки зачеркнуты и разобрать их невозможно. (Примечание П. Бартенева).

[4] Родственница Муравьева — посаженная мать на свадьбе.

вадзе [1]. За ужином присутствовали только вышеозначенные лица и приглашенные еще Мазарович с женою. Грибоедов приехал без приглашения. Вечер был скучный. Алексей Петрович засел играть в вист; жена моя была в большом замешательстве от столь быстрого переворота в жизни ее. В первом часу ночи раз'ехались, и я пошел с женою наверх в приготовленные для меня комнаты...

. . . . . .

Накануне выезда своего Алексей Петрович [2], прощаясь со мною в квартире младшего Вельяминова, отвел меня в сторону и предупредил меня, чтобы, невзирая на доверенность, которую ко мне оказывали, я никому из вновь прибывших не верил и, обращаясь со всеми по долгу службы, лично вел бы себя осторожно: ибо они показывали мне доверенность свою только по необходимости, которую во мне имели. Он предупредил меня, чтобы я не полагался на получение скоро места начальника штаба, которое мне обещали [3], потому что Паскевич для сего выписывал одного генерала из России, который должен приехать, и прибавил, чтобы я наблюдал за сим и вел бы себя согласно с сим и что я неминуемо сам замечу намерения их. Я благодарил его за совет, но не мог ничего заметить до самого приезда графа Сухтелена [4], о коем я узнал в Аббас-Абаде за несколько дней до приезда его в армию.

Я, помнится мне, тогда же сообщил слова Алексея Петровича Грибоедову, спрося его, справедливо ли сие; но он мне отвечал таким голосом, будто Паскевич не имеет сего в виду, что я более не мог бы усумниться в искренности намерений Паскевича относительно меня, если бы совершенно верил Грибоедову, который о сем, кажется, давно уже знал.

. . . . . .

[Май]. Часто повторявшееся состояние исступления, в которое приходил Паскевич без всякой причины, возродило в нем,

---

[1] Опекун Софии Ахвердовой — посаженный отец на свадьбе.

[2] Отрешение Ермолова от должности и назначение на его место Паскевича произошло 29 марта 1827 г.; см. «Записки А. П. Ермолова», часть 2-я. Приложение, стр. 247.

[3] 1 апреля 1827 г. начальником штаба кавказского корпуса был назначен генерал-лейтенант А. И. Красовский, но уже 17 июня он был освобожден от должности.

[4] Генерал-лейтенант граф Н. П. Сухтелен, назначенный после Красовского начальником штаба кавказского корпуса.

наконец, желчную болезнь, с коею он через несколько дней своего пребывания в Шулаверах и выехал в Джелал-Оглу.

По прибытии в лагерь за Бабьим Мостом болезнь его усилилась до такой степени, что к ночи, казалось, уже было мало надежды к его выздоровлению. Видя, сколько потеря его могла произвести беспорядка и помня обещание, данное мною Дибичу [1], не оставлять его и быть терпеливым, притом же руководимый человеколюбием, я принял личное участие в его болезни и вместе с Грибоедовым, который ему был родственником, не оставлял его и служил как ближнему, стараясь сколь возможно его успокоить и помочь ему, о чем он и отозвался однажды благодарностью.

. . . . . .

[И ю н ь]. Однажды, потребовав меня к себе, Паскевич вспомнил о давнишнем намерении правительства нашего завоевать Астрабад и приказал в ту же минуту написать о сем предположение, которое он хотел послать к Дибичу. Я отвечал ему, что сие должно было основать на подробных сведениях о морских и провиантских средствах наших в Астрахани и Баку, что мне было неизвестно, и потому я не мог взять на себя положения сего, особливо в столь короткое время, как он сего требовал. Он отнес ответ сей к недоброй воле моей и приказал непременно сделать, говоря, что я там был и должен все знать. Видя, что нечего делать, я занялся сим делом и через несколько часов представил ему записку, в которой были самые неосновательные предположения по сему предмету, что оговорено было и в самом рапорте, изготовленном мною от Паскевича к Дибичу. Записка сия, которая ровно не могла ни к чему служить, сначала ему понравилась, и он принял меня ласково; но, по прочтении рапорта, ему показалось что-то в ней несогласного с его образом мыслей, и потому он начал перемарывать оную и поправлять. Паскевич читал и перечитывал рапорт сей, но сам не постигал его; наконец, по обыкновению своему, рассердился и, сказав, что он неверно списан, приказал к себе принести черновой, нашел его во всем сходным с подлинником, наставил еще точек и запятых, так что смысл оного совершенно уже затмил, и отдавая мне оный для отправления: «Voilà, monsieur»,—сказал он,—«comme il

[1] Граф И. И. Дибич — генерал-ад'ютант, начальник главного штаба; в связи с несогласиями, возникшими в Грузии между А. П. Ермоловым и И. Ф. Паскевичем, Дибич был послан Николаем I в 1827 г. на Кавказ для производства следствия.

faut strictement observer la ponctuation; tout dépend de là». Я не мог смеяться; но вышел из комнаты, встретил Грибоедова, которому и об'яснил, сколько я затруднялся послать сию бумагу к Дибичу, прося его совета, как поступить в сем случае. Он мне сказал, что делать было нечего и что рапорт надобно было так отправить, что я и сделал; но, кажется, на оный и ответа не было, по крайней мере, ответ сей мне в руки не попадался. Я старался достать список впоследствии времени с сего донесения, дабы поместить оный, как редкость, в сии записки, которые я предполагал всегда продолжать; но не нашел к тому средств и оставил дело сие, которое могло подвергнуть меня большим неудовольствиям.

. . . . . .

[И ю л ь]. Я продолжал заниматься еще своею обязанностью и в ту же ночь пришел еще к нему [Паскевичу] с докладом. Он тогда был занят реляциею о победе над Аббас-Мирзою, которая никак не клеилась по его желанию. Писал ее Вальховский, писал Грибоедов [1], и все не выходило того, что ему хотелось. Просмотрев со мною принесенные бумаги, он обратился ко мне с дружеским видом: «Mon cher général», — сказал он, — «faites moi l'amitié d'écrire de ma part un mot au général Sipiaguine, pour le prévénir de la victoire, en lui disant que les détails ulterieurs viendront à la suite». Возвратясь в свою палатку часу во втором после полночи, я продиктовал Ахвердову [2], при мне находившемуся в должности ад'ютанта, письмо от Паскевича к Сипягину [3], в коем пояснено было вкратце все дело, не упустив ничего того, что могло служить к представлению дела сего в настоящем виде, т. е. победы, означив число пленных, знамен и проч. Но как я удивился, когда, по прочитании письма сего Паскевичу, я увидел, что он выходил из себя. «Кто это писал?» — закричал он. — «Я писал». — «Кто писал?» — возразил он снова. — «Писал Ахвердов по моей диктовке». — «Arrêtez moi cet homme, — закричал он, — c'est un petit coquin». Я, разумеется, не арестовал его, а спросил Паскевича, чем Ахвердов провинился. «Вы, сударь, — отвечал он мне в пылу, — не поместили всего в реляции». — «Это не реляция, — сказал я, — а краткое письмо в

[1] Эта «реляция» Грибедова до наших дней не сохранилась.

[2] Это, вероятно, Егор Ахвердов, — брат жены Муравьева.

[3] Генерал-лейтенант И. М. Сипягин, в то время тифлисский военный губернатор.

предупреждение генерала Сипягина до отправления настоящей реляции, которую вы мне не приказывали написать». — «Вы, сударь, скрыли число пленных ханов: их взято семь, а не три, как вы записали». — «Их взято только три». — «Неправда, сударь, семь взято; сочтите их в палатке». В палатке точно сидело семь человек пленных с ханами, но в том числе были и прислужники их, что я ему и об'яснил; но он не хотел принять сего. «Вы написали мало пленных, — продолжал он. — Алексею Петровичу Ермолову написали бы вы 30 ханов и 30.000 неприятельского урона, а мне вы не хотите написать семи ханов. Когда Суворов имел дело с войском сильнее 30.000, то у него менее 80.000 неприятеля в реляциях не значилось. Вы знаете, как он всегда увеличивал урон неприятеля, а мне вы сего сделать не хотите; но я знаю, что это все последствия интриг ваших с Ермоловым: вы хотите затмить мои подвиги и не щадите для достижения цели вашей славы российского оружия, которую вы также затемнить хотите, дабы мне вредить» [1]. Слова сии были столь обидны, что я не мог выдержать оных. «Ваше высокопревосходительство обвиняете меня, стало быть, в измене, — отвечал я. — Обвинение сие касается уже до чести моей, и после оного я не могу в войске более оставаться. Прошу вас отпустить меня теперь в Тифлис». — «Как вы смеете проситься?» — сказал он. — «Я доведен до крайности». — «Но вы знаете, что теперь ни отпусков, ни отставок нет». — «Знаю, а потому и уверяю вас, что моя главная цель состоит единственно в том, чтобы не служить под начальством вашим; каким же образом достигну до оной, до того мне дела нет. Вы меня до того довели, что я буду счастлив удалиться отсюда, под каким вам угодно будет предлогом. Угодно вам, отпустите меня; угодно, командируйте по службе; угодно, ушлите, удалите со взысканием, как человека неспособного, провинившегося, с пятном на всю мою службу. Я уверяю вас, что всем останусь довольным, лишь бы не при вас служить».—«Хорошо,— сказал он с видом гораздо спокойнее,—я ваше дело решу ужò, а теперь прошу вас до того времени продолжать занятия ваши

[1] Интересно отметить, что в дневнике своем Паскевич неоднократно выказывал свою недоверчивость к боеспособности кавказских войск: «Не знаю, как я пойду с этими первобытными»; «Не знаю, что я с ними в день сражения сделаю»; «Сохрани бог быть с такими войсками в первый раз в деле»; см. Кн. Щербатов. «Генерал-фельдмаршал князь Паскевич, его жизнь и деятельность», т. II, приложение.

попрежнему». Я пошел к Грибоедову, рассказал ему все происшествие и об'яснил, что более в войске не остаюсь. Сколь ни было прискорбно Грибоедову, по родству его с Паскевичем, видеть ссору сию, но он не мог не оправдать поведения моего в сем случае [1].

. . . . . .

1828 г.

25-го [июля] ввечеру я виделся на весьма короткое время с Грибоедовым, который, от'езжая в Персию в звании генерального консула, заехал повидаться с Паскевичем и принять от него приказания [2]. Но сему посещению была еще следующая причина. Грибоедов с'ездил курьером к государю с донесением о заключении мира с Персиею, получил вдруг чин статского советника, Анну с бриллиантами на шею и 4.000 червонцев. Человек сей, за несколько времени перед сим едва только выпутавшийся из неволи, в которую он был взят по делу заговорщиков 14 декабря и в чем он, кажется, имел участие (за что и был отвезен с фельд'егерем в Петербург к допросу) [3], достижением столь блистательных выгод показал редкое умение свое. Сего было мало: он получил еще в Петербурге место генерального консула в Персии с 7.000 червонцев жалованья, присвоенными к сему месту. Грибоедов, таким образом, вмиг сделался и знатен, и богат. Правда, что на сие место государь не мог сделать лучшего назначения; ибо Грибоедов, живши долгое время в Персии, знал и хорошо обучился персидскому языку, был боек, умен, ловок и смел, как должно, в обхождении с азиатцами. Притом же, по редким способностям и уму, он пользовался всеобщим уважением и лучше кого-либо умел поддерживать в настоящей славе звание сие как между персиянами, так и между англичанами, имевшими сильное влияние на политические дела Персии и пребывающими постоянно в Тавризе, под предлогом учителей или образователей регулярного войска.

Я, кажется, выше упоминал, в каких личных сношениях я находился с Грибоедовым. Я был весьма далек от того, чтобы к нему иметь дружбу и (как некоторые имели) уважение к его

[1] Об отношениях Муравьева с Паскевичем см. еще «Русский Архив» 1883 г., № 3, стр. 399.

[2] Грибоедов получил звание министра-резидента в Персии.

[3] Об этом подробности см. ниже в воспоминаниях Давыдова и Шимановского.

добродетелям, коих я в общем смысле совсем не признавал в нем, а потому и не буду повторять сего. Но как я сам удалялся от него, то и всякое сближение его с семейством моим было для меня неприятно. Мне всегда было досадно видеть, сколько Прасковья Николаевна [Ахвердова] имела к нему доверенности, и тем неприятнее было узнать о сильном участии, которое она приняла в помолвке Грибоедова на Нине Чавчавадзе, ибо он к нам под Ахалкалаки приехал, к удивлению всех, уже женихом ее [1].

Грибоедов имел много странностей, а часто и старался прослыть странным, для чего говорил вещи странные и удивлял других неожиданностью своих поступков. Нина прежде еще его несколько занимала, и как он извлекал изо всего пользу для своей забавы, то пользовался пущенным о том слухом, дабы выводить из себя ее страстного обожателя Сережу Ермолова. За это однажды у них дошло было почти до поединка, что и прекратило насмешки Грибоедова. Приехавши из Петербурга со всею пышностью посланника при Азиатском дворе, с почестями, деньгами и доверенностью главнокомандующего, коего он был родственник, Грибоедов расчел, что ему недоставало жены для полного наслаждения своим счастьем. Но, помышляя о жене, он, кажется, не имел в виду приобретение друга, в коем мог бы уважать и ум, и достоинства, и привязанность. Казалось мне, что он только желал иметь красивое и невинное создание подле себя для умножения своих наслаждений. Нина была отменно хороших правил, добра сердцем, прекрасна собой, веселого нрава, кроткая, послушная, но не имела того образования, которое могло бы занять Грибоедова, хотя и в обществе она умела себя вести. Не имея никого другого в виду, Грибоедов думал о Нине, и с сими думами отправился в Гумры, дабы оттуда приехать в Карс к Паскевичу, но дорогою вздумал жениться и внезапно возвратился в Тифлис, приехал ко мне в дом и открыл свое намерение Прасковье Николаевне, которая от сего была в восхищении. Кроме того, что она надеялась видеть их счастливыми, потому что заблуждалась насчет Грибоедова, ей льстил выбор Грибоедова, ибо Нина была ею воспитана. Она, может быть, вспомнила вскоре после первой радости своей, что сие супру-

[1] За два дня до приезда в Ахалкалаки — 22 июля — Грибоедов в Гумри получил письмо от А. Г. Чавчавадзе с согласием на брак («Русская Старина» 1874 г., № 10, стр. 296).

жество подает ей средства поправить свои дела по доверенности, которую Грибоедов имел у Паскевича. Она вмиг побежала к Чавчавадзевым и без затруднения нашла скорое согласие на сие матери и бабки Нины, двух грузинок, из коих последняя хотя и умная женщина, но прельщалась связью и сближением с великою, единою ведомою ими властью главнокомандующего в Грузии, коего участие было весьма нужно в расстроенном состоянии дел семейства их и тяжбах имели с казною.

Грибоедову сказано было испросить согласие Нины. Он к сему приступил весьма простым образом и получил оное. Нина после говаривала, что она давно уже имела душевную склонность к Грибоедову и желала его иметь супругом. Все сие было улажено у меня в доме. Послали курьера к отцу Нины, который начальствовал войсками и областью в Эривани, и ответ от него получен, без сомнения, утвердительный; он всех более радовался сему союзу [1].

---

[1] В записках В. Н. Григорьева, хранящихся в Ленинградской Публичной библиотеке, имеется несколько сведений о тесте Грибоедова, кн. А. Г. Чавчавадзе. По службе Григорьеву приходилось раз'езжать по Кавказу, и в одну из этих поездок ему пришлось побывать и в поместьи кн. Чавчавадзе — Цинондалях: «В поместьи кн. Чавчавадзе, Цинондалях, я не застал владельца; он был тогда в действующем отряде под Акалцихам. (Кстати сказать здесь, что кн. Александр Иванович (Герсеванович) Чавчавадзе был генерал-майор в русской службе, воспитывался в пажеском корпусе, человек весьма приятного обращения, что редкость между грузинами). Старшая дочь его вышла впоследствии замуж за посланника нашего в Персии — Грибоедова, а младшая—за владетельного князя Мингрелии — Дадиани. Лет через двадцать после того времени, о котором пишу теперь, сын его (я знал его еще пажем) сделался особенно известен пленом своим у чеченцев. Несмотря на отсутствие хозяина, в Цинондалях приняли меня также радушно. Я провел в этом имении несколько дней, и, когда кончал свои занятия по вечерам, любил сидеть в виноградной беседке, из которой открывался прекрасный вид на Кахетинскую долину и на стоящие за ней спиною снежные горы Кавказа. В этой беседке, не вставая с места, можно с'есть несколько фунтов самого превосходного винограда, который, можно сказать, со всех сторон охватывает вас своими гроздьями».—О кн. Чавчавадзе см. статью М. Я. Алавердянц «Тесть А. С. Грибоедова»—«Русская Старина» 1910 г., № 9, а также статью Н. П. Павлова-Сильванского в «Русском биографическом словаре» (1905 г.).—О пленении его сына см. в книжке Е. А. Вердеревского: «Кавказские пленницы, или плен у Шамиля семейств кн. Орбельяни и кн. Чавчавадзе», П. 1856 г.

Итак, Грибоедов из Тифлиса приехал к нам в Ахалкалакский лагерь женихом. Я его видел, так сказать, мельком в палатке у Паскевича, и он хотел уже со мною быть на родственной ноге, ибо Ахвердовы были через князей Челокаевых в родстве с Чавчавадзевыми; но я не отвечал ему тем же образом, и он мог видеть во мне прежнюю мою недоверчивость к нему. Мне весьма не нравилось, напротив того, сближение его с моим семейством, и я безошибочно был уверен в сильном участии, которое Прасковья Николаевна принимала в сем браке. И Сережа Ермолов был в досаде, но он старался скрыть сие и говорил, что более не думает о Нине и желает ей всякого счастья.

Грибоедов женился по возвращении в Тифлис со всею пышностью посланника [1], и с таковою же отправился вместе с женою в Персию, где он был убит в народном возмущении. Происшествие сие будет описано в своем месте. К удивлению многих прочитали в журнале Греча после смерти Грибоедова напечатанное письмо его к Гречу, в коем он описывает обстоятельства его женитьбы [2]. На Нину он взирал более как на забаву, чем на жену. Я дал сие заметить Прасковье Николаевне, коей выражения его также не нравились; но, будучи уже слишком ослеплена им, она не могла сознаться в своем ошибочном о сем человеке понятии.

. . . . . .

Описывая разные связи и интриги Тифлиса [3], нельзя умолчать о причинах, которые, как кажется, подали повод к сближению Грибоедова с З., каковое всем казалось безобразным по совершенному различию сих двух особ [4].

[1] Через день после венчания — 24 августа — у Грибоедова был обед на сто человек; см. А. П. Берже. «А. С. Грибоедов в Персии и на Кавказе» — «Русская Старина» 1874 г., № 10, стр. 291.

[2] Это, несомненно, письмо Грибоедова к Булгарину от 24 июля 1828 г., напечатанное в его «Воспоминаниях» в «Сыне Отечества» 1830 г. (см. выше). Соредактором этого журнала и был Греч.

[3] Эта часть писалась в первой половине 1832 года в Житомире.

[4] Это, несомненно, П. Д. Завилейский, начальник казенной экспедиции верховного правителя Грузии; 19 июля 1829 года он был назначен гражданским губернатором. В этой же главе Муравьев пишет о нем: «З(авилейский), губернатор тифлисский, человек скаредный, лживый, прямой шут, шарлатан, и, как говорят, еще плут, был ею (П. Н. Ахвердовор) также хорошо принят, потому что Грибоедов показывал ему дружбу . . . . . В числе сих (тифлисских чиновников) негодяев находился и З(авилейский), которого Паскевич возвел уже

Когда Грибоедов ездил в Петербург, увлеченный воображением и замыслами своими, он сделал проект о преобразовании всей Грузии, коей правление и все отрасли промышленности должны были принадлежать компании на подобие Восточной Индии. Сам главнокомандующий и войска должны были быть подчинены велениям комитета от сей компании, в коем Грибоедов сам себя назначал директором, а главнокомандующего членом; вместе с сим предоставил он себе право об'являть соседственным народам войну, строить крепости, двигать войска и все дипломатические сношения с соседними державами. Все сие было изложено красноречивым и пламенным пером и, как говорят, писцом под диктовку Грибоедова был З[авилейский], которого он мог легко завлечь и в коем он имел пылкого разгласителя и ходатая к склонению умов в его пользу [1]. Грибоедов посему старался и многих завлечь; он много искал сближения со мною, но я всегда удалялся от него. Когда он приезжал в Ахалкалаки на короткое время, обручившись с Ниною Чавчавадзевой (супружество, предпринятое им в тех же пламенных и пылких ожиданиях, по коим он сам хотел преобразоваться в жителя Грузии, супружество, которое никогда не могло быть впоследствии времени счастливым по непостоянству мужа, и коему покровительствовала ослепленная Грибоедовым Прасковья Николаевна), он замолвил о своем проекте Паскевичу (что было уже в отсутствие мое к Хыртысу) и, говорят, настаивал, чтобы приступлено было к завоеванию турецкой крепости Батума, что на Черном море, как пункта, необходимо нужного для склада в предполагаемом распространении торговой компании [2]. Говорят,

в степень губернатора. Самые неосновательные поступки и распоряжения знаменовали его правление, когда он касался оного; впрочем, он мало им и занимался, предпочитая проводить время свое без всякого дела у Паскевича, где он более вкрадывался в доверенность его»; см. «Русский Архив» 1894 г., № 1, стр. 34 и 37.

[1] 17 июля 1828 г. Грибоедов и Завилейский подписали Вступление или об'яснительную записку к проекту устава Российской Закавказской компании»; напечатана она в статье А. П. Мальчинского «Неизданная записка Грибоедова» — «Русский Вестник» 1891 г., № 9, стр. 3—17.

[2] «Завтрашний день пойдет от меня и Завилейского к в(ашему) с(иятельству) План компании и Записка на благосклонное ваше рассмотрение. Во время болезни, я имел довольно трезвости рассудка и досуга, чтобы осмыслить этот предмет со всех сторон» — писал Грибоедов к Паскевичу 6 сентября 1828 г.; см Е. Некрасова «Неизданные письма А. С. Грибоедова» — «Дела и дни» 1921 г., кн. 2, стр. 71.

что Паскевич несколько склонялся к сему, увлеченный надеждою на легкие сношения с царевною Софьею, правившею тогда Гуриею в соседстве с той стороны с Турциею, женщиною довольно молодою еще, собою видною и известною в том краю по бойкости своей и влиянию, которое она в народе имела. Не будучи расположена с усердием к русским, она впоследствии времени бежала в Требизонт с несовершеннолетним своим сыном и через то фамилия сия лишилась права на владение Гуриею, для управления коей, кажется, назначен был русский комендант. Не могу утвердительно сказать, но, кажется, что даже были тогда сделаны некоторые приготовления к сей экспедиции. После того генерал Гессе, предпринимавший несколько походов из Имеретии в ту сторону, имел постоянные неудачи. Проект сей, уничтожающий почти совершенно власть Паскевича, не мог ему нравиться, и он впоследствии времени не был взят во внимание никем. Когда же Грибоедов, женившись, уехал в Персию, то З[авилейский], полагая себя как бы поверенным Грибоедова, сильно вступался за оный и уверял даже, что он находится на рассмотрении у министра финансов в Петербурге. Таким образом, он мне однажды прочитал довольно длинное вступление к сему проекту. Оно было начертано Грибоедовым и было чрезвычайно завлекательно как по слогу, так и по многоразличию новых мыслей, в оном изложенных; но по внимательном рассмотрении вся несообразность огромного предположения сего становилась ясною, и никто не остановился бы на сем любопытном, но неудобосостоятельном предположении, от коего З[авилейский] приходил в восторг. Я же готов думать, что Грибоедов, получив назначение министра в Персии, значительные выгоды и почести, сделался равнодушнее к своему проекту и, обратясь к новому предмету, стал бы о прошедшем говорить с улыбкою, как о величественном сне, им виденном, причем, вероятно, не пощадил бы и З[авилейского], к коему невозможно было, чтобы он имел дружбу или уважение [1].

[1] Между прочим, у Завилейского хранились автографы Грибоедова. Так, Пустынник Горетубанский (Д. Е. Зубарев) в «Письме к издателю» в «Тифлисских Ведомостях» 1832 г., № 3, стр. 69—72 опубликовал варианты одной рукписи «Горя от ума», «сообщенные одним знакомым, получившим их от его превосходительства П. Д. Завилейского, пользовавшегося дружбой покойного автора». Автор статьи ссылается на то, что «поправки писаны рукою автора и найдены в его бумагах».

Проект сей, без сомнения, и остался без всякого внимания со стороны начальства, но З[авилейский] полагал себя образователем Грузии. Он вздумал заводить стеклянный завод, заведение весьма полезное в Грузии, ибо стекло туда привозят из России и оттого оно стоит дорого. Многие об исполнении такого предположения уже давно заботились, ибо оно доставило бы существенные выгоды заводчику, и притом же самый край представляет к тому все удобства. Несколько лет тому назад князь Эристов устроил было такой завод в Карталинии; выходило хорошее стекло, но завод сей был оставлен, потому что на увеличение оного, как говорят, князь Эристов не хотел предварительно употребить несколько денег и неисправно платил мастеру. Азиатцы неохотно жертвуют капиталами в надежде на будущие приобретения и вознаграждения; да к тому же и нельзя класть в Грузии денег на заведения промышленности, ибо там еще все слишком сближено с военным управлением, и участь каждого лица или всякого заведения зависит от доброго или дурного расположения какого-нибудь окружного начальника. Сами же чиновники по сей причине могут с большим успехом заниматься таковыми устройствами: ибо они сами суть члены утеснительной власти. З[авилейский] без замедления завел подписки на акции для устроения стеклянного завода, и предположение его вмиг поспело на листке с такою же неосновательностью, как и все им предпринимаемое. К акциям сим многие подписались, но никто денег не дал, а З[авилейский] вообразил себе, что уже все сделано, и носился с подписным листком ко ьсем, уговаривая новых членов. «Поспешите», говорил мне, «ибо уже только 10 акций осталось, все разобраны». Я внутренно смеялся сему; но видя многие подписи на большие суммы, дабы не оскорбить подписчиков изложением мнения своего, всегда ответствовал, что не имею денег. Можно даже было подозревать, что если бы кто-либо и деньги дал, то завод не завелся бы: он бы и денег своих обратно не выручил от З[авилейского]. В сих предположениях было изложено, что Бурцов, которого назначили командиром Херсонского гренадерского полка, должен был по случаю постоянного пребывания его со штаб-квартирою полка своего в городе Гори, что в Карталинии, быть попечителем сего завода, имевшего устроиться в Карталинии на землях, коих владение еще оспаривалось разными помещиками. Бурцов вероятно смекнул неосновательность предположения и, дабы отде-

латься, подписался, и как от него требовали планов, то он прислал фасад домика, начертанный без всяких соображений каким-то сараем с окошками, что им было сделано, вероятно, в полчаса, и З[авилейский], для придания более важности сему делу, приобщил рисунок сей к бумаге и показывал его всем в удостоверение участия, принятого Бурцовым, и успеха, последовавшего в устроении стеклянного завода. Но он меня не обманул своим шарлатанством, а денег ни с кого не стянул, и предположение сие предалось забвению без всякого даже начала. На следующий год он изобрел еще новое вроде сего, но в гораздо большем масштабе; подписки принимались на 8 тыс. и 10 тыс. рублей. Многие подписывались, потому что сам Паскевич подписался [1].

Однажды поутру З[авилейский] приехал ко мне и с большим смущением об'явил мне в тайне, что из Персии получено известие, что Грибоедов убит в народном возмущении. Он показывал заботу, как довести известие сие до сведения Прасковьи Николаевны и семейства Чавчавадзевых. Первой не было дома; по возвращении ей об'явили о смерти Грибоедова, и так как она к нему в особенности благоволила, то и огорчилась сим известием и несколько времени плакала. От Чавчавадзевых долго скрывали сие известие; но как оно уже сделалось гласным во всем городе, то Прасковья Николаевна рассудила за лучшее об'явить о сем матери и бабке Нины, дабы предупредить неосторожное и внезапное об'явление сего родственниками, грузинами, которые по нескромности своей могли сие сделать не во-время и не впору, и через сие испугать женщин и наделать новой тревоги: ибо они Нину любили без памяти и, не имея настоящих сведений о положении ее в Персии, стали бы весьма беспокоиться. Об'явление Прасковьи Николаевны произвело много хлопот; слезы, вопли, стоны не умолкали в соседстве нашем, их было слышно из нашего дома; но к сему случаю были припасены лекаря и все нужные средства, и последствий никаких не было.

[1] Интересный отзыв о Завилейском сохранился в «Воспоминаниях» Сафоновича: «Я познакомился, сблизился и подружился с Завилейским. Последнее время своей службы он был председателем Грузинской Казенной палаты, а потом тифлисским губернатором. В этой должности ему не повезло: у него оказалось много людей, ему не доброжелательствовавших, его сменили и даже затеяли ему неприятное дело, от которого он с трудом отделался. Он был женат на дочери красноярского золотопромышленника Попова, поэтому имел хорошее состояние». См. Русский Архив» 1903 г., т. II, стр. 503.

Мать Нины, княгиня Саломе, билась, кричала и с нетерпением переносила скорбь свою; но старуха княгиня Чавчавадзе проливала в тишине слезы, и горесть ее из'являлась молчанием и задумчивостью. Женщина сия была почтенная и всеми уважена [1].

За сим желали иметь подробнейшие известия о смерти Грибоедова, но никто их не мог дать. Говорили, что приехал курьер, передавший бумагу, в коей было написано, что он убит или умерщвлен злодейски в Тегеране, в народном смятении, со всем посольством своим, и что спасся только один чиновник Мальцов. Между тем Нина оставалась в Тавризе; она была беременная, молодая женщина, едва супругою, взятая из дома родительского и оставшаяся одна среди народа безнравственного, раз'яренного. Сие могло точно всех беспокоить, и положение ее было истинно-бедственное. Отец ее был окружным начальником в Эривани; он, кажется, просился ехать в Персию, дабы вывезти дочь свою, но ему было дозволено только ехать до границы. Кажется, при Нине оставался двоюродный ее брат Роман Чавчавадзе; или, по крайней мере, он скоро приехал к ней и, сколько было у него сил, он старался ей помочь, заступая в то время место покровителя ее, и дело об убиении ее мужа было от нее скрыто до самого возвращения ее в Тифлис [2].

Теперь должен я изложить, с известными мне подробностями, обстоятельства смерти Грибоедова, о коей столько говорят и имеются различные мнения. Иные утверждают, что он сам был виною своей смерти, что он не умел вести дел своих, что он через сие происшествие, причиненное совершенным отступлением

---

[1] Узнав о смерти Грибоедова, Саломе Чавчавадзе написала дочери, чтобы она приехала к ней. В письме тифлисского купца Егора Бежоева, к Давыду Тамамшеву от 13 февраля 1829 г., сохранившемся в копии в архиве Паскевича, читаем: «Когда я вручил министерше Грибоедовой письмо от княгини, она приняла его с радостью и начала читать, в коем написано было, чтобы Нина Александровна просила позволения от Александра Сергеевича на несколько время приехать в Тифлис; при чтении сих слов, она, Грибоедова, начала плакать, хотя она об смерти его точно неизвещена, но по всему догадывается»; см. «Дела и дни» 1921 г., кн. 2, стр. 76.

[2] В донесении гр. Паскевичу от 8 февраля Амбургер писал: «Супругу министра (Н. А. Грибоедову) я успел уговорить, не открывая ей о несчастной участи ее супруга, следовать в Тифлис, к чему не мало способствовало полученное ею письмо от своей родительницы, которая ее приглашает к себе»; см. «Русская Старина» 1872 г., № 8, стр. 17.

от правил, предписанных министерством, поставил нас снова в неприятные сношения с Персиею. Другие говорят, что он подал повод к возмущению через свое сластолюбие к женщинам. Наконец, иные ставят сему причиною слугу его Александра... Все же соглашаются с мнением, что Грибоедов, с редкими правилами и способностями, был не на своем месте, и сие последнее мнение самого Паскевича, который немного сожалел о несчастной погибели родственника своего (он был двоюродный графине), невзирая даже на важные услуги ему Грибоедовым оказанные, без коего он может быть не управился бы в 1826 и 1827 годах при всех кознях и ссорах, происходивших в Грузии во время смены главнокомандующих, и без помощи коего он бы не заключил столь выгодного с Персиею мира. Паскевич имел неудовольствия на Грибоедова, и причиною оных было то, что последний, будучи облечен званием министра двора нашего в Персии, должен был сообразоваться с данными ему из Петербурга наставлениями и не мог слепо следовать распоряжениям Паскевича. Прямые же сношения Грибоедова с министерством иностранных дел, минуя Паскевича, были неприятны последнему. Я же был совершенно противного мнения.

Не заблуждаясь насчет выхваленных многими добродетелей и правил Грибоедова, коих я никогда не находил увлекательными, я отдавал всегда полную справедливость его способностям и остаюсь уверенным, что Грибоедов в Персии был совершенно на своем месте, что он заменял нам там единым своим лицом двадцатитысячную армию, и что не найдется, может быть, в России человека, столь способного к занятию его места. Он был настойчив, знал обхождение, которое нужно было иметь с персиянами, дабы достичь своей цели, должен был вести себя и настойчиво относительно к англичанам, дабы обращать в нашу пользу персиян при доверенности, которую англичане имели в правлении персидском. Он был бескорыстен и умел порабощать умы, если не одними дарованиями и преимуществами своего ума, то твердостью. Едиными сими средствами Грибоедов мог поддержать то влияние, которое было произведено последними успехами оружия нашего между персиянами, которые на нас злобствовали и по легковерию своему готовы были сбросить с себя иго нашего влияния по случаю открытия Турецкой войны (а на нее были обращены почти все наши войска). Сими средствами мог он одолеть соревнование и зависть англичан. Он знал и чувствовал сие..

Поездка его в Тегеран для свидания с шахом вела его на ратоборство со всем царством Персидским. Если б он возвратился благополучно в Тавриз, то влияние наше в Персии надолго бы утвердилось; но в сем ратоборстве он погиб, и то перед от'ездом своим одержав полную победу. И никто не признал ни заслуг его, ни преданности своим обязанностям, ни полного и глубокого знания своего дела!

Грибоедов поехал из Тавриза в Тегеран, дабы видеться с шахом, а между тем и кончить некоторые дела по требованиям нашим на основании мирных договоров, которых персияне не хотели было исполнить. Он достиг цели своей, а между сими домогательствами ему удалось даже извлечь из гарема Аллаяр-хана (зятя шахского и первого министра его, первой особы в Персии, того самого, который был взят нами в плен при занятии Тавриза) двух армянок, взятых в плен в прошлую войну в наших границах, кои находились у него в заложницах и о возвращении коих, на основании мирных договоров, ходатайствовали, кажется, родители пленниц. Сие могло удасться только одному Грибоедову; ибо шах был вынужден отдать приказание зятю своему (нашему первому в Персии врагу) о возвращении их только по неотступной настойчивости и угрозам Грибоедова. Женщины сии были приведены к нему в дом, где и ожидали выезда посланника, дабы с ним следовать в Тавриз и оттуда на родину. Но озлобленный и ревнивый Аллаяр-хан не мог перенести ни оскорбления ему нанесенного, ни удаления своих наложниц. Он стал волновать народ и даже в мечетях приказал произносить на нас проклятья, дабы более остервенить против нас чернь. В народе было заметно волнение уже несколько дней. О сем предупреждали Грибоедова; но он пренебрегал слишком персиянами и, будучи убежден в преимуществе, которое он имел над ними, был уверен, что одного появления его, одного присутствия его будет достаточно, чтобы остановить толпу; притом же уклонение казалось ему мерою неприличною, и страх не мог им овладеть. Между тем волнение усиливалось, народ начинал толпиться на улицах и площадях и произносить оскорбительные для посланника нашего выражения и угрозы. Недоставало только искры, от коей бы пламя занялось, и искра сия вскоре показалась.

Слуга Грибоедова, Александр, молодой человек преизбалованный и коего он находил удовольствие возвышать против звания его, . . . человек сей стал приставать к армянкам, содер-

жащимся в доме. Женщины сии, может быть, и до сего уже недовольные тем, что их взяли из пышного гарема для возвращения в семейства, где бы они стали вести жизнь бедную и в нужде, оскорбленные ласками и приемами Александра[1], выскочили в двери и, показавшись на улицу, стали кричать, что их бесчестят, насильничают. Что̀ между ними было, того никто не знает; ибо свидетелей никого не осталось. Иные говорили, что будто сам Грибоедов хотел их прельстить; но сие невероятно, не потому, чтобы он не в состоянии был оказать неверность жене своей (я полагаю, что правила его не воспрепятствовали бы сему), но он бы не сделал сего никогда, дабы не навлечь порицания званию своему, особливо в тогдашних обстоятельствах и сношениях своих с Аллаяр-ханом.

Происшествия сии я рассказываю по тем сведениям, которые я мог изустно собрать; за точную же справедливость оных ручаться не могу.

В сие уже смутное время, армянин Рустам, молодец собою, тот самый, который первый схватил Аллаяр-хана (когда его в плен взяли при занятии Тавриза, что выше описано), шел по

---

[1] Почти подобную же версию о роли Александра слышал в 1829 г. А. Н. Вульф, находившийся тогда на войне с Турцией и записавший в свой дневник следующее: «Как жаль, что Грибоедов так несчастливо окончил свое только что открывшееся поприще гражданской службы. Как литератор, он останется всегда в числе отличнейших талантов нынешнего времени. Его «Горе от ума» всегда будет иметь цену верной и живой картины нравов своего времени.—Вот как я слышал подробности и причины возмущения народного в Тегеране, жертвою которого он сделался вместе со всею свитою нашего посольства.—Для решения какого-то процесса приведены были несколько женщин перс(идских) в дом нашей миссии и должны были там остаться под стражей. Гриб(оедова) человек, вероятно, ловелас петербургских камердинеров, желал воспользоваться этим случаем. Несогласие азиаток привело его к насилию. Народ, возбуждаемый каким-то недовольным Эмиром за то, что их жены будут судимы русскими, услышал их крик о помощи, бросился в дом, несмотря на сопротивление нашей почетной стражи, и, прежде нежели подоспели войска шаха, перерезал всех, кого там ни встретил. Из всех чиновников посольства нашего спасся один только Манзи (И. С. Мальцов), уехавший в этот день на охоту из города. Так сделался человек, одаренный отличным умом и способностями, жертвою беспорядочной жизни, которую он прежде вел. У другого господина, верно, слуга не осмелился бы сделать подобного своевольства». См. А. Н. Вульф. Дневники. Редакция П. Е. Щеголева. Примечания И. С. Зильберштейна. «Круг», 1929 г.

городу и по обыкновению своему расталкивал с дерзостью толпившийся на базаре народ. Кажется, возвращаясь в дом посольства, Рустам был окружен раз'яренною толпою. Он стал защищаться, но был вмиг растерзан; его умертвили, волочили по улицам труп его и, рассекши оный на части, разметали.

Народ собрался с шумом перед домом посланника (который тогда из осторожности заперли) и требовали выдачи одного армянина, служившего при посольстве, как и Рустам, в должности курьера. После некоторых переговоров, не знаю кем веденных, армянина выдали, и он был в то же мгновение повешен перед домом посольства.

Сими жертвами народ не удовольствовался и, поощренный успехом, стал требовать самого посланника. Разбивши караул, стоявший у дома и состоявший из 16 или 20 персидских джанбазов с офицером, из коих 2 или 4 солдата было убито или ранено, народ вломился во двор и напал на людей, чиновников и казаков посольства, которые долгое время защищались, удерживая с упорством всякую дверь. При посольстве сем было около пятнадцати линейных казаков, молодцов, которые отличились в сем случае мужеством своим, побили много персиян, но все погибли, защищая начальника своего.

Мне говорили, что ужасный приступ сей продолжался более двух часов, и я удивляюсь, что Грибоедов сам тут не присутствовал. Но сие невероятно: не в подобном случае упал бы дух в сем человеке, мне довольно известном. Может быть, что сведения по сему предмету недостаточны, ибо почти никого свидетелей не осталось: почти все чиновники, слуги посольства и казаки были растерзаны, и в числе их и слуга Грибоедова Александр. Когда народ осадил уже и самую комнату, в коей находился Грибоедов, рассказывают, что он тогда отпер двери и стал у порога, показываясь народу, и с бодрым духом спросил, чего они хотят. Внезапное появление его, смелая осанка, выражение слов его (он знал хорошо по-персидски) остановили раз'яренную толпу, и дело пошло на об'яснения, как Грибоедов был неожиданно ударен и повержен без чувств на землю большим камнем, упадшим ему на голову. Персияне, встречая сильные затруднения к достижению посланника, еще с самого начала приступа, обратились к плоским крышам, по коим, добежав до покоя Грибоедова, разрыли землю, покрывавшую оный, разобрали слабый потолок и во время разговора пустили роковой камень

на голову Грибоедова. Надобно впрочем полагать, что встреча его с народом несколько украшена. Народ можно было остановить до кровопролития; но после долгого и упорного боя вряд ли присутствие лица, на коем возлегало все мщение народа, сколь бы оно ни осанисто было, могло бы остановить чернь. Надобно также думать, что Грибоедов не был до того времени в совершенном спокойствии, ибо вмиг нельзя разгородить и разобрать крышу, дабы пустить сквозь оную камень; все сие происходило вероятно в шуме и в драке.

Но с роковым камнем кончилось и все. Вслед за сим ударом последовал удар сабли, нанесенный Грибоедову одним из присутствующих персиян, и после того толпа уже бросилась на него, поразила многими ударами, и обезображенный труп Грибоедова выброшен на улицу. Дом посольства был разграблен, и лучшие вещи, принадлежавшие чиновникам, очутились вскоре у шаха, который не упустил и сего случая для удовлетворения своему корыстолюбию [1].

Из хода сего дела заключают, что сам шах и все персидское правительство знало об умысле Аллаяр-хана и тайно допустило совершение злодеяния; полагали даже, что англичане, видя верх, который Грибоедов над ними начинал брать, из-под руки склоняли главных чиновников Персии к дерзкому поступку. Нельзя полагать, чтобы они хотели довести дело до такой степени; но весьма немудрено, что они желали какого-либо происшествия, последствием коего было уничижение нашего посланника и уменьшение его влияния.

Участие, принятое в сем смертоубийстве персидским правлением, ясно доказывается тем, что оно было заблаговременно предуведомлено о намерении народа, тогда еще, как Грибоедову советовали укрыться в смежной с квартирою его армянской церкви, из коей ему бы можно было уклониться и бежать из Тегерана, что он отверг с презрением. Люди, доведшие сие до сведения шаха и губернатора Тегерана (одного из сыновей его), будучи преданы нам, просили помощи и присылки войск для разогнания собравшегося народа; но шах и губернатор медлили,

[1] В письме М. П. Погодина из Москвы к С. П. Шевыреву от 11 сентября 1829 года читаем: «После несчастного Грибоедова должно остаться много сочинений, но не знают, где они».—См. «Письма М. П. Погодина к С. П. Шевыреву». С предисловием и об'яснениями Н. П. Барсукова—«Русский Архив», 1882 г., № 5, стр. 104.

2544?3
Пед. ин-т им. А.И. Герцена
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

вероятно с намерением, дабы допустить злодеяние, и отряды персидской пехоты пришли к квартире посланника, когда уже все было кончено. Иные полагают, что шах, знавши остервенение, в коем чернь находилась, опасался противуборствовать оной, дабы не обратить оную на себя. Впрочем, и войско равно ненавидело русских и вряд ли стало бы действовать против народа. После говорили мне, что и слухи об упорной защите посольского персидского караула были несправедливы, что караул сей, увидя решительность народа, тотчас разошелся, и что едва ли один из солдат оного был легко ранен; говорили даже, что и они приняли участие в разграблении посольского дома.

Из всего посольства спасся тогда только один чиновник Мальцов. Иные говорят, что он при начале волнения побежал в шахский дворец, дабы просить от персидского правительства помощи; но, кажется, что дело иначе было. Мальцов укрылся в нужное место, как говорят, и средство к уклонению его было дано ему одним армянином, коему он предложил тогда находившиеся при нем 50 червонцев (ибо всякий опасался в такое время показать какое-либо участие к жертвам, дабы не быть открытым и чрез сие не пострадать). Мальцову удалось пробраться до шахского дворца, где его, как говорят, сперва спрятали в сундук, ибо сам шах боялся возмущения. Когда все затихло, он остался во дворце под покровительством самого шаха и, наконец, выехал в Грузию. Кроме его, кажется, не было очевидного вестника сему ужасному происшествию. Мальцова многие обвиняли в том, что он не погиб вместе с Грибоедовым. Не знаю, справедливо ли сие обвинение. Мальцов был гражданский, а не военный чиновник и не вооруженный, секретарь посольства, а не конвойный; целью посольства были не военные действия, где бы его обязанность была умереть при начальнике. На них напали врасплох, резали безоружных, и я не вижу, почему Мальцов неправ в том, что он нашел средство спасти себя, и может быть еще с надеждою прислать помощи к осажденному посольскому дому. Впрочем, он, кажется, по домашним связям своим был близок к Грибоедову, и о поведении его подробнее вышеизложенного я не знаю. Может быть и есть обстоятельства мне неизвестные, которые в общем мнении обвиняют его поступок. Я его лично не знаю, едва видел его в Тифлисе; в пользу его не было ничего особенного слышно.

Нина Грибоедова была в Тавризе и беременная во время сего происшествия, которое от нее скрыли. Двоюродный брат ее Роман Чавчавадзе, по совету англичан, пребывающих в Тавризе, из коих поверенный в делах имел весьма умную и приятную жену, перевез ее к ним в дом. Мера сия была тем нужнее, что в Тавризе оказывалось беспокойство в народе, в коем воспрянула придавленная злоба к русским по получении известия о случившемся в Тегеране. Не менее того Аббас-Мирза старался показать большое огорчение и даже наложил на несколько дней траур.

Нину уверяли, что ее перевезли к англичанам по воле мужа ее, которого дела задерживают на некоторое время еще в Тегеране; наконец, когда списались с Тифлисом, ей сказали, что ее везут в Тифлис также по воле мужа ее, который ее в дороге нагонит. Верила ли сему несчастная вдова, того не знаю; но не полагаю, ибо она не получала от мужа писем. Ее привезли с большою опасностью до границ наших, где ее, кажется, встретил отец и привез в Тифлис. Ее остановили в карантине, куда к ней ездили для свидания родственники. Она была молчалива, мало упоминала в речах о муже и, казалось, догадывалась об участи своей.

Но Нина претерпела все сии бедствия в состоянии беременности, коей было уже 7 или 8 месяцев, когда Прасковья Николаевна, опасаясь, дабы до нее не дошло известие о погибели мужа стороннею дорогою и с неосторожностью, решилась об'явить ей о сем. Нина не металась в отчаянии; она плакала, но тихо и скрывала грусть свою. Печаль же на нее столько подействовала, что она чрез несколько дней после того выкинула еще живого ребенка, который через несколько часов умер. Тут стали обвинять в сем Прасковью Николаевну, коей участие и принятое на себя звание возвестительницы столь печального происшествия могли только честь делать; ибо подобные порученности бывают самые неприятные. В число обвинителей замешался и Мартиненго, человек, которого она всегда отличала; он находил, что ребенок мог жить и что он умер от нераспорядительности Прасковьи Николаевны. Сие произвело несколько разговора в городе, но тем и кончилось.

Правительство наше требовало выдачи тела Грибоедова, дабы похоронить оное с честью. То ли самое тело, или другое какое-либо, было привезено в Тифлис? Открывавшие гроб в Джелал-

Оглинском карантине говорили мне, что оно было очень обезображено, порублено во многих местах и, кажется, без одной руки; но сие уже было летом следующего 1829 года. Труп сей похоронили с надлежащею честью у монастыря Святого Давыда, построенного на горе за домом нашим. Вдова и все родственники ее, а также и наши, провожали гроб; многочисленная толпа тифлисских жителей, собравшаяся без приглашения, следовала за печальным шествием. Там построили арку, которая видна из всего города. Грибоедов любил картинное место сие и часто говаривал, что ему там бы хотелось быть похоронену.

Нина осталась печальна, скрывала грусть свою и тем более вселяла к себе участия. З[авилейский] искал руки ее; но он заблуждался, когда надеялся, что добродетельная Нина могла выйти за него замуж [1].

Однако, правительство наше не могло оставить нанесенное оному поругание в убиении посланника без внимания. Персидский двор уверял, что несчастное событие сие приключилось без ведома оного, и что виновные будут наказаны; а между тем, по получаемым сведениям известно было, что персидские войска собирались около Тавриза. Многие говорили, что мера сия была только предостерегательная на случай вторжения наших войск; но не менее того брожение умов в Персии было чрезвычайное: хотели возобновить войну с Россиею, полагаясь на то, что мы были заняты войною с Турцией. И в самом деле, обстоятельства наши в Грузии в таком разе были бы несколько затруднительны; но с обеих сторон остались в покое. Нас точно занимала Турецкая война, а персияне еще не забыли прошедших побед наших. Мы требовали выдачи виновников в смерти нашего посланника; нам обещались их выдать, но не выдавали и, наконец, не выдали. Требовали, чтобы, по крайней мере, сын Аббас-Мирзы, Хозрой-Мирза приехал для испрошения у государя прощения. И в том медлили, боялись его выслать в Россию; наконец, его прислали в Тифлис уже в мае месяце 1829 года, без всяких наставлений от персидского двора и даже без позволения далее ехать. Паскевич отправил его почти насильно в Россию, против воли отца, а особливо деда его, с коими все велись переговоры по предмету

[1] Н. А. Грибоедова осталась верна памяти своего мужа; много раз ей представлялись случаи вступить в новый брак, но она всем отказывала. Она скончалась в 1857 году и похоронена рядом с прахом Грибоедова.

сему, и, наконец, Хозрой-Мирза получил уже в Царском Селе наставления от шаха относительно порученности, на него возлагаемой.

Всем известен прием, оказанный ему в Петербурге, речь его, сочиненная, вероятно, в иностранной коллегии нашей и напечатанная в ведомостях, в коей он просил от имени родителей своих прощения за убиение нашего посланника. Ему удалось еще, кроме того, выпросить у государя прощения двух куруров из трех, наложенных в дань с Персии при заключении мира, что составляло 20.000.000 уступки с 80.000.000, о чем и прежде персидский двор настоятельно просил, но чего Грибоедов не хотел уступить, и это было также причиною злобы на него персиян, которые, как к концу дела оказалось, достигли своей цели убиением посланника нашего. Причиною сего была, без сомнения, Турецкая война, коею персияне искусно воспользовались тогда; но можно ли полагать, чтобы злодеяние их, коварство и нарушение всех прав народных остались впоследствии без наказания со стороны России?

Хозрой-Мирза возвратился из Петербурга в Тифлис уже в конце 1829 или в начале 1830 года: он не нашел у Паскевича приема, подобного тому, который ему оказывали в России: у нас лучше знали цену ему. Прихоти его не были всегда уважены, и он имел более одного раза случай вспомнить и о молодости своей и постичь ничтожность двора Персидского; но вряд ли он мог сие уразуметь. Когда он приехал на границу Персии, его встретили еще с меньшею пышностью; он сожалел о России, где на него потратили миллионы.

А. М. Каратыгина

ВОСПОМИНАНИЯ

Эти отрывки, принадлежащие перу известной в свое время драматической актрисы А. М. Каратыгиной (1802—1880), извлечены нами из двух ее мемуарных статей. Первый отрывок извлечен из статьи «Мое знакомство с А. С. Пушкиным», помеченной в рукописи 1879 годом и напечатанной в «Русской Старине» 1880 г., № 7 (со стр. 556—559). Второй отрывок — из ее «Воспоминаний» в «Русском Вестнике» 1881 г., № 4 (со стр. 587—588) и № 5 (со стр. 132); эта статья, по словам ее племянника П. П. Каратыгина, доставившего «Воспоминания» в редакцию «Русского Вестника», была закончена в 1877 году. Ныне подлинники этих статей хранятся в Дашковском собрании, находящемся в Пушкинском доме Академии Наук СССР; выдержки, приведенные здесь, проверены по подлинным рукописям.

Дочь М. П. Колосова, музыканта оркестра казенных театров, и Е. И. Нееловой, известной в свое время пантомимной танцовщицы, Александра Михайловна, получившая театральное образование под руководством кн. А. А. Шаховского, выдвинулась еще в ранние годы. Первая из русских актрис побывала за границей; в Париже брала уроки у Тальма. Умная и культурная женщина, она была в дружбе с рядом литературных деятелей пушкинской эпохи; до наших дней сохранилась ее переписка с П. А. Катениным, опубликованная в «Русской Старине» 1893 года, характеризующая культурное окружение и высокий умственный уровень корреспондентки. В 1827 году она вышла замуж за известного трагика В. А. Каратыгина, родного брата П. А. Каратыгина, автора нижепомещенных воспоминаний о Грибоедове.—В 1845 году вышла «Биография А. М. Каратыгиной», написанная В. В. В., т. е. В. Строевым.

... Готовясь к дебюту под руководством князя Шаховского (о котором так много любопытных рассказов в «Записках» моего покойного деверя П. А. Каратыгина, напечатанных в «Русской Старине»), я иногда встречала Пушкина у него в доме. Князь с похвалою отзывался о даровании этого юноши, не особенно красивого собою, резвого, вертлявого; почти мальчи-

ка... «Сашу Пушкина» он рекомендовал своим гостям, покуда только—как сына Сергея Львовича и Надежды Осиповны; лишь через пять лет для этого «Саши» наступила пора обратной рекомендации и о родителях его говорили: «они отец и мать Пушкина»; их озарил отблеск славы гениального сына. Знакомцы князя Шаховского: А. С. Грибоедов, П. А. Катенин, А. А. Жандр ласкали талантливого юношу, но покуда относились к нему, как старшие к младшему: он дорожил их мнением и как бы гордился их приязнью. Понятно, что в их кругу, Пушкин не занимал первого места и почти не имел голоса. Изредка, к слову о театре и литературе, будущий гений смешил их остроумной шуткой, экспромтом или справедливым замечанием, обличавшим его тонкий эстетический вкус и далеко не юношескую наблюдательность...

В 1818 году, после жестокой горячки, ему [Пушкину] обрили голову и он носил парик. Это придавало какую-то оригинальность его типичной физиономии и не особенно ее красило. Как-то, в Большом театре, он вошел к нам в ложу. Мы усадили его, в полной уверенности, что здесь наш проказник будет сидеть смирно... Ничуть не бывало! В самой патетической сцене Пушкин, жалуясь на жару, снял с себя парик и начал им обмахиваться, как веером... Это рассмешило сидевших в соседних ложах, обратило на нас внимание и находившихся в креслах. Мы стали унимать шалуна, он же со стула соскользнул на пол и сел у нас в ногах, прячась за барьер; наконец, кое-как надвинул парик на голову, как шапку: нельзя было без смеха глядеть на него! Так он и просидел на полу во все продолжение спектакля, отпуская шутки насчет пьесы и игры актеров. Можно ли было сердиться на этого забавника?

Но за что Пушкин мог рассердиться на меня, чтобы, после наших добрых отношений, бросить в меня пасквилем? Нет действия без причины, и в данном случае, как узнала впоследствии, причиною озлобления Пушкина была нелепая сплетня, выдуманная на мой счет каким-то «доброжелателем». Говоря о Пушкине у князя Шаховского, Грибоедов назвал поэта «мартышкой» (un sapajou)[1]. Пушкину перевели, будто бы это

[1] По словам Пушкина, он познакомился с Грибоедовым в 1817 г. Между прочим, сохранилось известие, что Грибоедов знал лицейские стихи Пушкина еще до появления их в печати. «Чаадаев познакомился с Пушкиным у Карамзина. Еще прежде он слышал о нем от своего

прозвище было дано ему — мною! Плохо же он знал меня, если мог поверить, чтобы я позволила себе так дерзко отозваться о нем, особенно о его наружности; но как быть! Раздраженный, раздосадованный, не взяв труда доискаться правды, поэт осмеял меня (в 1819 г.) в своем пасквиле[1]. Катенин и Грибоедов пеняли ему, настаивали на том, чтобы он извинился передо мной; укоряя его, они говорили, что выходка его тем стыднее, что ее могут приписать угодливости поэта «Клитемнестре» (так называли они К. С. Семенову). Пушкин сознался в своей опрометчивости, ругал себя и намеревался ехать ко мне с повинной[2]...

***

...Александр Сергеевич Грибоедов познакомился с моею матушкой в первый же год поступления моего на сцену, когда в бенефис ее (9 января 1819 г.) играла я в его комедии «Молодые супруги», в которой, по его указанию, я играла на фортепиано рондо, сочиненное знаменитым пианистом Фильдом, моим учителем[3]. Чрез год после того, когда дебютировал В. А. Каратыгин, Александр Сергеевич сделался ревностным его поклонником и

товарища по московскому университету А. С. Грибоедова, который хвалил ему стихи Пушкина на возвращение государя из чужих краев в 1815 году (этих стихов Пушкин никак не хотел печатать)»; см. (П. Бартенев), «Из рассказов кн. Петра Андреевича и княгини Веры Федоровны Вяземских» — «Русский Архив» 1888 г., № 7, стр. 305.

[1] Это — известная эпиграмма Пушкина «На А. М. Колосову»:

Все пленяет нас в Эсфири:
Упоительная речь,
Поступь важная в порфире,
Кудри черные до плеч,
Голос нежный, взор любови,
Набеленная рука,
Размалеванные брови
И огромная нога!

Существует предположение, что Пушкин, часто в юности бывавший у Колосовых, ухаживал за «Сашенькой», и очень может быть, что его резкая выходка была подсказана ревнивым чувством. На эту мысль, по мнению П. О. Морозова, наводит, между прочим, упрек, сделанный поэтом Колосовой в «Замечаниях об русском театре», что она более занимается флигель-ад'ютантами его величества, нежели своими ролями; см. Пушкин. Полное собрание сочинений. Под ред. С. А. Венгерова, 1907 г., т. I, стр. 504.

[2] В 1821 году поэт в послании к Катенину Кто мне пришлет ее портрет...» извинялся за эпиграмму.

обоих нас удостаивал своею приязнью до самой своей трагической кончины. Привезя в Петербург написанную им на Кавказе знаменитую свою комедию «Горе от ума», Грибоедов читал ее нам с мужем незадолго до от'езда своего полномочным министром в Тегеран. Мне не понравилась предназначенная им мне роль «Софьи Павловны»; но Грибоедов взял с меня честное слово, что в случае, если пьеса будет дозволена к представлению, в чем он крепко сомневался, то я сыграю хотя маленькую эпизодическую роль «Натальи Дмитриевны». Я исполнила желание (тогда уже умершего автора) с большим удовольствием и с неменьшим успехом в мой бенефис 5 февраля 1830 г., когда разрешено было цензурой представление третьего акта этой бессмертной комедии.

К слову о Грибоедове и его «Горе от ума» припоминаю я один характеристический эпизод из его жизни. Так как напечатать комедию было немыслимо, то весь город старался доставать копии с рукописи; у коротких же друзей и знакомых сам автор часто соглашался читать свою комедию вслух и читал, разумеется, превосходно. Однажды у Н. И. Хмельницкого, который с дозволения Грибоедова созвал нескольких знакомых послушать его чтение, когда автор приехал со своей рукописью и положил ее на стол, один из присутствовавших, некто Василий Михайлович Федоров, автор драмы «Бедная Лиза», заимствованной из известной повести Карамзина и имевшей на сцене некоторый успех (что давало Федорову очень высокое мнение о собственном авторском достоинстве), спросил у Грибоедова, указывая на рукопись:

— А что, признайтесь, много тут поправок князя Шаховского?

На это Грибоедов своим обычным, отрывистым тоном отвечал, что он не школьник и ни в чьих поправках не нуждается.

За обедом он был весел и любезен, что несколько удивило бывшего тут же мужа моего, коротко знавшего щекотливость и авторскую обидчивость Грибоедова. После обеда, когда хозяин дома попросил его приступить к чтению, Александр Сергеевич спокойно отвечал:

---

[1] Впервые «Молодые супруги» были представлены «на Санктпетербургском театре российскими придворными актерами в пользу актрисы г-жи Семеновой-меньшой, сентября 29-го дня 1815 года» и с того времени часто ставились на сцене и позже много раз; см. П. Арапов. «Летопись русского театра», П. 1861 г., стр. 242.

— С удовольствием; но только по уходе этого господина, — при чем указал на Федорова.

Переконфуженный Хмельницкий стал об'яснять непрошенному критику, что он сам виноват и на месте Грибоедова поступил точно так же, как и он. Федоров немедленно удалился, а Грибоедов принялся за чтение [1].

. . . . . .

...Встретясь в обществе с главным режиссером немецкого театра, доктором философии фон Кёниг-Голлертом, человеком по своему высшему образованию равно сведующим как в своей отечественной, так и в нашей литературе, и разговорясь с ним о прежних знаменитых артистах берлинской сцены, я спросила: жива ли еще Каролина Бауэр [2], которую в молодости я видела в «Ромео и Юлии», по совету А. С. Грибоедова в последний его приезд в Петербург. В этой роли Бауэр и ему, и мне чрезвычайно понравилась.

---

[1] Вероятно, этот эпизод, несколько иначе рассказанный П. А. Каратыгиным (см. ниже), Александра Михайловна слышала со слов своего мужа, также находившегося в числе гостей Хмельницкого.

[2] Знаменитая немецкая актриса, гастролировавшая в Петербурге в начале 30-х годов.

П. А. Каратыгин

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ

(из моих записок)

Эти воспоминания написаны П. А. Каратыгиным (1805—1879), известным комиком, плодовитым водевилистом (его перу принадлежат около семидесяти пьес) и искусным рисовальщиком (им была сделана, между прочим, прижизненная зарисовка Грибоедова). Впервые эти воспоминания были опубликованы в «Русской Старине» 1872 г., № 3, стр. 423—430, затем без изменений они были перепечатаны в год смерти Каратыгина в «Живописном Обозрении» (1879 г., № 4) и, наконец, они вошли в состав его «Записок», выпущенных в 1880 году его сыном—П. П. Каратыгиным; основная их часть составляет XIII главу, озаглавленную «Мое знакомство с Александром Сергеевичем Грибоедовым» (стр. 127—137). Нами дана редакция «Русской Старины», как обобщающая весь фактический материал воспоминаний Каратыгина о Грибоедове, в отдельном издании разбросанный по разным главам. И лишь перед последним абзацом этой публикации добавляем один отрывок из отдельного издания, заключающий в себе размышление Каратыгина о Грибоедове, как о декабристе, отсутствовавший в «Русской Старине». Кроме того, эти воспоминания сверены нами с рукописью, хранящейся ныне в Пушкинском доме Академии Наук СССР, куда она поступила вместе с архивом Каратыгина в составе Дашковского собрания; в этом же архиве сохранился автограф записки Грибоедова к Каратыгину, до сих пор в печати неизвестной.

В отдельном издании «Записок» имеется, между прочим, интересный материал по истории первых постановок «Горя от ума».

В театральном училище, где я воспитывался, в начале 1820-х годов, хотя и был уже устроен постоянный театр, но на нем играли мы только в великий пост, во время экзаменов и иногда в успенский пост. Учителем драматического искусства был у нас тогда князь Александр Александрович Шаховской, считавшийся в то время, и по справедливости, знатоком театрального дела.

Когда же, в 1822 г., любимые ученицы князя были выпущены из училища, он перестал ездить в школу, а продолжал свои уроки у себя на дому [1]. Таким образом, училище осталось без драматического учителя, а домашний наш театр без употребления. Мы тогда задумали устраивать, в свободное время, домашние спектакли собственными средствами. Инспектором театрального училища был в ту пору Иван Самойлович Б о к, он же занимал и докторскую должность при театре. Это был человек очень добрый, простой, но, вместе с тем, слабый и трусливый до-нельзя. Он ни за что не позволял воспитанницам участвовать в наших спектаклях: «Играйте, — говорит, — одни, а я об этом директора не смею просить». Нечего делать, надо было выбирать пьесы без женского персонала, но это было довольно затруднительно, потому что таковых в тогдашнем репертуаре не имелось. Мои товарищи-однокашники избрали меня своим режиссером и мы принуждены были играть тогда по большей части пародии, недозволенные цензурой, как например: «Митиху Валдайского» (пародия на «Дмитрия Донского»), «Трумфа» соч. Ивана Андреевича Крылова и некоторые другие... Чтобы помочь нашему бедному репертуару, я в то время написал тоже пародию в стихах, под названием «Нерон», а потом «Сентябрьскую Ночь», сюжет которой заимствовал из рассказа (Александра Бестужева), помещенного в «Литературных Прибавлениях» к журналу «Сын Отечества». Две эти пьески были без женских ролей и имели на нашей миниатюрной сцене большой успех. Само собой разумеется, что наша домашняя публика была не взыскательна и снисходительно относилась к доморощенному автору. Главные в них роли играли мои совоспитанники — Григорьев и Воротников. Петр Иванович Григорьев, впоследствии известный актер и сочинитель, готовился тогда быть музыкантом и уже начал играть на виолончели в театральном оркестре. Я уговорил его принять участие в наших спектаклях; он согласился попробовать свои средства и, сыграв

[1] «Князь Шаховской любил иногда похвастать своими учениками и заставлял их в присутствии всего общества разыгрывать некоторые сцены из приготовленных им пьес, или декламировать отдельные монологи. В числе его приятелей были тогда Катенин и Грибоедов, которые, однако, дерзали иногда с ним спорить и во многом были несогласны относительно театрального искусства. Иногда даже втихомолку и подсмеивались над ним, как над отсталым профессором, у которого, по их мнению, рутина и традиция играли главную роль».— См. П. А. К а р а т ы г и н. «Записки». П. 1880, стр. 54—55.

удачно несколько ролей, так пристрастился к сценическим занятиям, что вскоре выполз из оркестра на сцену, оставил свой инструмент и решился сделаться актером. Через год после того он начал учиться у кн. Шаховского и дебютировал на публичной сцене.

По выходе моем из училища (в 1823 г.), я продолжал занимать принятую на себя должность режиссера у прежних своих однокашников. Наши ребяческие спектакли посещал несколько раз Александр Сергеевич Грибоедов — и они ему очень нравились... Я помню, как он от души хохотал, смотря моего «Нерона». Водевиль же мой «Сентябрьская Ночь» он даже уговаривал меня поставить на публичном театре, но я в то время не смел и мечтать об этой чести! [1].

Вместе с Грибоедовым посещал наши спектакли Александр Бестужев. Однажды мне случилось играть на нашем театре роль офицера Хрустилина в водевиле «Пурсоньяк» (кн. Шаховского). В нашем театральном гардеробе мундиры были больно безобразные, и я выпросил у Бестужева его ад'ютантский мундир со всеми к нему принадлежностями... И как же я был тогда доволен, что мог на сцене пощеголять в настоящей гвардейской форме... что, разумеется, не дозволено было на публичном театре...

Думал ли я тогда, что, может быть, играю в том самом мундире, в котором через несколько времени Бестужев будет разыгрывать злополучную роль на Сенатской площади и за которую его вызовут в Петропавловскую крепость!!

В 1824 году появилась в рукописи бессмертная комедия Грибоедова. В печати были тогда только две или три сцены из нее, помещенные в альманахе, под названием «Русская Талия», изданном Булгариным; но вся комедия была в то время запрещенным плодом... Мы с Григорьевым предложили Александру Сергеевичу разыграть «Горе от ума» на нашем школьном театре, и он был в восхищении от нашего предложения [2]... Большого труда нам стоило упросить доброго инспектора Бока — дозволить и

---

[1] В 1830 году этот водевиль был игран на Большом театре, в бенефис актера Рязанцева. (Примечание П. Каратыгина).

[2] В те годы состоялось несколько любительских постановок комедии «Горе от ума». Об одной из таких постановок любопытные подробности см. в статье М. Г(а м а з о в а) «Первые представления комедии «Горе от ума». Из воспоминаний участника».—«Вестник Европы» 1875 г., № 7, стр. 319—332.

воспитанницам принять участие в этом спектакле... Наконец, он согласился, и мы живо принялись за дело; в несколько дней расписали роли, в неделю их выучили и дело пошло на лад[1]. Сам Грибоедов приезжал к нам на репетиции и очень усердно учил нас... Надо было видеть, с каким простодушным удовольствием он потирал себе руки, видя свое «Горе от ума» на нашем ребяческом театре... Хотя, конечно, мы откалывали его бессмертную комедию с горем пополам, но он был очень доволен нами, а мы были в восторге, что могли угодить ему. На одну из репетиций он привел с собой А. Бестужева и Вильгельма Кюхельбекера — и те также нас похваливали[2]... Наконец, комедия была уже совсем приготовлена, на следующий день назначен был спектакль[3]... но, увы! все наши хлопоты и надежды лопнули, как мыльный пузырь! Накануне самого представления, во время последней репетиции, является к нам инспектор Бок и об'являет нам грозный фирман графа Милорадовича (который имел тогда главное начальство над императорскими театрами и которому кто-то донес об наших затеях), чтоб мы не смели так либеральничать и что пьесу, неодобренную цензурой, нельзя позволить играть в театральном училище. Все мы повесили носы от этого неожиданного известия и пришлось нам горемычным повторить два стиха из запрещенной комедии:

«Ни беспокойства, ни сомненья,
А горе ждет из-за угла!»

Да, действительно, мы все были в страшном горе, а наш простодушный Бок перетрусился не на шутку; он, кажется, боялся, чтоб за свою слабость к нам не попасть ему в крепость!.. Но дело ограничилось одним выговором.

---

[1] Вот фамилии воспитанников и воспитанниц, которые должны были участвовать в комедии: Григорьев — Чацкого, Чайников — Фамусова, я — Репетилова, Экунин — Скалозуба, Софью — Прилуцкая, Лизу — Лебедева (впоследствии она вышла замуж за танцора Шелихова), Хлестову — Ковалева (теперь она классная дама в театральном училище), остальных не помню... Но чуть ли только мы вдвоем с Ковалевой из всего этого персонала и уцелели на нашей жизненной сцене. (Примечание П. Каратыгина).

[2] Этот визит нужно отнести к лету 1824 года, когда Кюхельбекер приезжал в Петербург.

[3] Это было 18 мая 1825 года, так как этим днем датировано письмо Грибоедова к Бегичеву, в котором он пишет из Петербурга: «Нынешний вечер играют в школе, приватно без дозволения ценсуры, мою Комедию».

Мы с Григорьевым отправились тотчас же к Грибоедову с этим роковым известием, что, конечно, его сильно огорчило.

Итак, поэту не суждено было видеть на сцене (даже и в таком горемычном исполнении, как наше) своей бессмертной комедии.

В этот период времени Грибоедов часто бывал у нас в доме, а мы с братом, Васильем Андреевичем [1], еще чаще посещали его... Кроме его остроумной беседы, любил я слушать его великолепную игру на фортепьяно... сядет он, бывало, к нему и начнет фантазировать... сколько было тут вкуса, силы, дивной мелодии! Он был отличный пианист и большой знаток музыки: Моцарт, Бетховен, Гайдн и Вебер были его любимые композиторы. Однажды я сказал ему: «Ах, Александр Сергеевич, сколько бог дал вам талантов: вы поэт, музыкант, были лихой кавалерист и, наконец, отличный лингвист!» (он, кроме пяти европейских языков, основательно знал персидский и арабский языки). Он улыбнулся, взглянул на меня умными своими глазами из-под очков и отвечал мне: «Поверь мне, Петруша, у кого много талантов, у того нет ни одного настоящего». Он был скромен и снисходителен в кругу друзей, но сильно вспыльчив, заносчив и раздражителен, когда встречал людей не по душе... Тут он готов был придраться к ним из пустяков и горе тому, кто попадался к нему на зубок... тогда соперник бывал разбит в пух и прах, потому что сарказмы его были неотразимы! Вот один из таких эпизодов: когда Грибоедов привез в Петербург свою комедию, Николай Иванович Хмельницкий просил его прочесть ее у него на дому; Грибоедов согласился. По этому случаю Хмельницкий сделал обед, на который, кроме Грибоедова, пригласил нескольких литераторов и артистов, в числе последних были: Сосницкий, мой брат и я. Хмельницкий жил тогда барином, в собственном доме—на Фонтанке, у Симеоновского моста. В назначенный час собралось у него небольшое общество. Обед был роскошен, весел и шумен... После обеда все вышли в гостиную, подали кофе и закурили сигары... Грибоедов положил рукопись своей комедии на стол; гости в нетерпеливом ожидании начали придвигать стулья; каждый старался поместиться поближе, чтоб не проронить ни одного слова... В числе гостей был тут некто Василий Михайлович Федоров, сочинитель

[1] В. А. Каратыгин, знаменитый трагик, ученик Катенина; в «Библиографических Записках» 1861 г., столб. 599, и в «Русском Архиве» 1871 г., кн. 1, стр. 241—244, было опубликовано несколько писем В. А. Каратыгина к Катенину, где имеются упоминания о Грибоедове.

драмы «Лиза, или торжество благодарности» и других давно уже забытых пьес... Он был человек очень добрый, простой, но имел претензию на остроумие... Физиономия ли его не понравилась Грибоедову, или может быть старый шутник пересолил за обедом, рассказывая неостроумные анекдоты, только хозяину и его гостям пришлось быть свидетелями довольно неприятной сцены... Покуда Грибоедов закуривал свою сигару, Федоров, подойдя к столу, взял комедию (которая была переписана довольно разгонисто), покачал ее на руке и с простодушной улыбкой сказал: «Ого! какая полновесная!.. Это стóит моей Лизы». Грибоедов посмотрел на него из-под очков и отвечал ему сквозь зубы: «Я пошлостей не пишу». Такой неожиданный ответ, разумеется, огорошил Федорова и он, стараясь показать, что принимает этот резкий ответ за шутку, улыбнулся и тут же поторопился прибавить: «Никто в этом не сомневается, Александр Сергеевич; я не только не хотел обидеть вас сравнением со мной, но, право, готов первый смеяться над своими произведениями». — «Да, над собой-то вы можете смеяться, сколько вам угодно, а я над собой — никому не позволю...» — «Помилуйте, я говорил не о достоинствах наших пьес, а только о числе листов». — «Достоинств моей комедии вы еще не можете знать, а достоинства ваших пьес всем давно известны». — «Право, вы напрасно это говорите, я повторяю, что вовсе не думал вас обидеть».—«О, я уверен, что вы сказали, не подумавши, а обидеть меня вы никогда не можете».

Хозяин от этих шпилек был как на иголках и, желая шуткой как-нибудь замять размолвку, которая принимала нешуточный характер, взял за плечи Федорова и, смеясь, сказал ему: «Мы за наказание посадим вас в задний ряд кресел...»

Грибоедов, между тем, ходя по гостиной с сигарой, отвечал Хмельницкому: «Вы можете его посадить, куда вам угодно, только я, при нем, своей комедии читать не стану...» Федоров покраснел до ушей и походил в эту минуту на школьника, который силится схватить ежа — и где его не тронет, везде уколется. Очевидно, что хозяин был поставлен в самое щекотливое положение между своими гостями, не знал чью сторону принять и всеми силами старался как-нибудь потушить эту вздорную ссору, но Грибоедов был непреклонен и ни за что не соглашался при Федорове начать чтение... Нечего было делать... бедный автор добродетельной Лизы взял шляпу и, подойдя к Грибоедову, сказал: «Очень жаль, Александр Сергеевич, что невинная моя

шутка была причиной такой неприятной сцены... и я, чтоб не лишать хозяина и его почтенных гостей удовольствия слышать вашу комедию, ухожу отсюда...» Грибоедов с жестоким хладнокровием отвечал ему на это: «Счастливого пути!» Федоров скрылся... Итак, драматургу, из-за своей несчастной драмы, пришлось сыграть комическую роль, а комик чуть не разыграл драмы из-за своей комедии [1].

По уходе Федорова чтение началось — и нужно ли говорить, какой эффект произвела эта комедия на слушателей!

Здесь, для контраста, приведу другой случай из домашней жизни покойного Александра Сергеевича. Был у него камердинер, крепостной его человек [2], который с малолетства находился при нем для прислуги; он вместе с ним вырос и был при нем безотлучно во всех его путешествиях. Грибоедов его очень любил и даже баловал, вследствие чего слуга зачастую фамильярничал со своим господином. По какому-то странному случаю, этот слуга назывался Александром Грибовым, и Грибоедов часто называл его тёзкой. Однажды Александр Сергеевич ушел в гости на целый день. Грибов, по уходе его, запер квартиру на ключ и сам тоже куда-то отправился... Часу во втором ночи Грибоедов воротился домой; звонит, стучит — дверей не отворяют... он еще сильней — нет ответа. Помучившись напрасно с четверть часа, он отправился ночевать к своему приятелю Андрею Андреевичу Жандру, который жил тогда недалеко от него.

На другой день Грибоедов приходит домой; Грибов встречает его, как ни в чем не бывало. «Сашка! куда ты вчера уходил?» — спрашивает Грибоедов.

— В гости ходил... — отвечает Сашка.

— Но я во втором часу воротился, и тебя здесь не было.

— А почем же я знал, что вы так рано вернетесь? — возражает он таким тоном, как будто вся вина была на стороне барина, а не слуги.

— А ты в котором часу пришел домой?

— Ровно в три часа.

— Да, — сказал Грибоедов, — ты прав, ты точно, в таком случае, не мог мне отворить дверей...

---

[1] Ср. этот отрывок с воспоминаниями об этом эпизоде И. И. Соспицкого, находившегося на этом же вечере, в записях Д. А. Смирнова.

[2] В отдельном издании «Записок» добавлено: «и молочный брат»

Несколько дней спустя, Грибоедов сидел вечером в своем кабинете и что-то писал... Александр пришел к нему и спрашивает его:

— А что, Александр Сергеевич, вы не уйдете сегодня со двора?

— А тебе зачем?

— Да мне бы нужно было сходить часа на два или на три в гости.

— Ну, ступай, я останусь дома.

Грибов расфрантился, надел новый фрак и отправился... Только-что он за ворота, Грибоедов снимает халат, оделся, запер квартиру, взял ключ с собою и ушел опять ночевать к Жандру. Время было летнее; Грибов воротился часу в первом... звонит, стучит, двери не отворяются... Грибов видит, что дело плохо, стало-быть барин надул его... Уйти ночевать куда-нибудь нельзя, неравно барин вернется ночью. Нечего было делать, ложится он на полу, около самых дверей и засыпает богатырским сном. Рано поутру Грибоедов вернулся домой и видит, что его тёзка, как верный пес, растянулся у дверей своего господина. Он разбудил его и, потирая руки, самодовольно говорит ему: «А? что?.. франт-собака, каково я тебя пришколил... славно отомстил тебе! Вот, если б у меня не было по близости знакомого, и мне бы пришлось на прошлой неделе так же ночевать, по твоей милости!»... Грибов вскочил, как встрепанный и, потягиваясь, сказал ему: «Куда как остроумно придумали!.. есть чем хвастать».

Другой раз, при мне, Грибоедов садится за фортепьяно, у которого одна ножка была без колеса и для подпорки под него обыкновенно подставляли какой-то брусок... на этот раз бруска не оказалось и фортепьяно шаталось во все стороны... Грибоедов зовет Грибова и говорит ему:

— Ты верно опять сегодня играл без меня на фортепьяно?

— Играл немножко... — отвечает он фамильярно.

— Ну так и есть! — А куда девался брусок?

— Не знаю.

— А что ты играл?

— «Барыню».

— Ну-ка сыграй!

Слуга, без церемонии, садится за фортепьяно и одним пальцем наигрывает известную песню: «Барыня-сударыня, протяните ножку».

Грибоедов прослушал его с полминуты, покачал головою и сказал ему:

— Ах, ты дрянь этакая, понятия не имеешь, как надо играть, а портишь мне фортепьяно!.. Пош-ш-шел! играй лучше в свайку или в бабки!

Эти два анекдота ясно обрисовывают простодушный характер Грибоедова. Впоследствии этот самый Грибов был вместе со своим господином в Тегеране в 1829 году, во время кровавой катастрофы, как мне рассказывали, был изрублен вместе с ним.

Известно, что Грибоедов, в 1826 году, был вытребован из Тифлиса следственною комиссией по делу 14 декабря; его подозревали также прикосновенным к заговору; он был с фельд'егерем привезен в Петербург и содержался несколько дней под арестом в главном штабе. Вскоре, однако, он был освобожден потому, что никаких улик против него не оказалось. Я помню его экспромт, сказанный им по поводу этого ареста... вот он:

«По духу времени и вкусу,
Он ненавидел слово: раб...
Зато посажен в главный штаб
И сам притянут к Иисусу»[1].

[1] Сохранилось несколько вариантов этой эпиграммы. Так, например, в одном из рукописных сборников начала XIX века, находившихся у П. А. Ефремова, это четверостишие так читалось:

По духу времени и вкусу
Я ненавижу слово раб,—
Меня и взяли в главный штаб
И потянули ко Инсусу.

Ср. также в предисловии И. Д. Гарусова в издании «Горя от ума» 1875 г. Интересно отметить то, что в отдельном издании «Записок» Каратыгина это четверостишие переделано:

По духу времени и вкусу
Я ненавижу слово: раб!
За то посажен в главный штаб
И там притянут к Инсусу!

И, наконец, третья редакция записана Д. А. Смирновым, со слов С. Н. Бегичева, очевидно, по памяти (см. ниже). В этой редакции экспромт приведен в первом томе академического издания в отделе приписываемых Грибоедову стихотворений.

В «Русском Архиве»[1] и некоторых других изданиях было сказано, что при арестовании Грибоедова в Тифлисе, в конце 1825 г., А. П. Ермолов дал ему возможность сжечь некоторые бумаги, которые могли послужить уликами его сообщества с декабристами. Что он со многими из них (с Кюхельбекером, Бестужевыми, Рылеевым) был в переписке, в этом нет сомнения; но едва ли участвовал в заговоре... Если бы оно было так, то возможное ли дело, чтобы он заставил пошляка «Репетилова» говорить подобные фразы:

«У нас есть общества и тайные собранья
По четвергам; секретнейший союз...»

потом:

«...Но, государственное дело,
Оно, вот видишь, не созрело» и т. д.

Это было написано за два года до события 14 декабря... Мог ли бы Грибоедов так глумиться над заговорщиками, если бы он сам был членом тайного общества? А его письма к Булгарину из-под ареста, эта добродушная шутливость и детская веселость при неприятном положении не свидетельствуют ли о полном незнании Грибоедова об умыслах декабристов? Знакомство с ними не могло подать повода к серьезным обвинениям, при всей строгости следственной комиссии. Мы с братом были знакомы со многими из участников в печальном событии 14 декабря, однако же ни его, ни меня не потревожили не только арестом, даже и простым допросом[2]...

---

[1] В воспоминаниях Н. В. Шимановского, опубликованных в «Русском Архиве» 1875 г., № 7 (см. ниже).

[2] О Грибоедове, как о декабристе, см. обстоятельную работу П. Е. Щеголева: «А. С. Грибоедов и декабристы (по архивным материалам)», впервые напечатанную в «Литературном Вестнике» 1903 г.; последнюю перепечатку ее см. в сборнике П. Е. Щеголева «Декабристы», Л., Гиз, 1925 г., стр. 85—127. Анализ дошедших до наших дней архивных материалов склонял Щеголева сделать вывод, что «Грибоедов не только идейно был близок к декабристам, но и был избран ими в члены тайного общества. За краткостью времени он не мог проявить деятельного участия, но, соображая склад его миросозерцания, свойства его характера, мжно допускать, что участие его в обществе было бы не заурядным.

В начале весны[1], в 1828 году, незадолго до своего от'езда в Тегеран, Александр Сергеевич зашел ко мне... Тогда я уже был женат; он поздравил меня и жену мою с законным браком... (его не было в Петербурге, когда мы сыграли нашу свадьбу[2]. Мы с женою поздравляли его и с царскою милостью и с блестящей карьерой (он тогда только-что был назначен посланником и полномочным министром при персидском дворе). На наше радушное приветствие он отвечал как-то грустно, точно предчувствие щемило его вещее сердце: «Бог с ними, с этими почестями! — говорил он — мне бы только устроить и обеспечить мою старушку-матушку, а там я бы опять вернулся сюда... дайте мне мое свободное время, мое перо и чернильницу, больше мне ничего не надо». Когда же я заговорил об его высоком назначении, он отвечал мне: «Не люблю я персиян, это самое коварное и предательское племя». Потом, когда он собирался уходить, жена моя сказала ему: «Неужели, Александр Сергеевич, бог не приведет вам увидеть свою чудную комедию на нашей сцене?»—Он грустно улыбнулся, взглянул на нее из-под очков, и сказал ей: «А какая бы вы была славная С о ф ь я!» Грустно было на этот раз наше прощанье с ним... Не прошло и году после нашей разлуки, как его не стало: он погиб в Тегеране 30 января 1829 года.

---

[1] В отдельном издании; «14 марта».

[2] Первая моя жена была Любовь Осиповна Дюрова (ученица кн. Шаховского), родная сестра известного артиста Николая Осиповича Дюрова. Она так же, как и брат ее, была в свое время любимицей публики. Она скончалась в том же 1828 году. (Примечание Каратыгина).

П. А. Вяземский

ДЕЛА ИЛЬ ПУСТЯКИ ДАВНО МИНУВШИХ ЛЕТ

(письмо к м. н. лонгинову)

Статья эта впервые была напечатана в «Русском Архиве» 1874 г., № 2, стр. 535—549, а затем без изменений вошла в седьмой том собрания сочинений П. А. Вяземского (стр. 333—344).—Воспоминания эти были написаны в ответ на письмо М. Н. Лонгинова, известного библиографа и крупного чиновника эпохи Александра II (в 1867 г. он был назначен орловским губернатором, а в 1871 — начальником главного управления по делам печати); письмо это, присланное Вяземскому с сентябрьской книжкой «Русского Вестника 1873 г., где была напечатана статья В. И. Родиславского: «Неизданные пьесы Грибоедова» (стр. 233—268), в печати неизвестно, но, вероятно, оно сохранилось в Остафьевском архиве кн. Вяземских. — Лонгинов давно интересовался Грибоедовым: первой литературно-библиографической статьей об А. С. именно является глава из «Библиографических записок» М. Н. Лонгинова—«Первые печатные опыты Грибоедова»—в «Современнике» 1857 г., № 3, стр. 89—92; здесь были пересказаны уже забытые тогда статьи Грибоедова в «Вестнике Европы» 1814 г.—«Письмо из Брест-Литовска» и «О кавалерийских резервах», а также отмечены некоторые из забытых произведений его. Затем под редакцией М. Н. Лонгинова в 1860 году вышел в свет в издании Общества любителей российской словесности при Московском университете сборник: «Письма Карамзина к Алексею Федоровичу Малиновскому и письма Грибоедова к Степану Никитичу Бегичеву», где было опубликовано 19 писем Грибоедова. И, наконец, в 1863 году в «Русском Архиве» Лонгинов опубликовал анекдот о Грибоедове, записанный им, вероятно, со слов Алябьева (см. ниже, в статье И. С. Зильберштейна).

Премного благодарю вас, любезнейший Михаил Николаевич, за присылку мне сентябрьской книжки «Русского Вестника». В ней напечатана статья о «неизданных пьесах Грибоедова». А как в одной из помянутых пьес есть и мое участие, то вы, по любознательности своей, желаете иметь от меня справки и об'яснения

по этому делу. Не могу не повиноваться требованиям вашим: вы отец и командир всей пишущей, грамотной и полуграмотной братии нашей, как строевой и наличной, так и бессрочно-отпускной и инвалидной. Вы не только начальник главного управления по делам печати живой и нынешней, но и мертвой, вчерашней, третьегодняшней, и едва ли не допотопной. Трудолюбивый, неутомимый изыскатель по русской части биографической и библиографической вы все прочуяли, переведали, пересмотрели, до всего добрались и продолжаете добираться. От ваших истинно цензорских, т. е. сотенных Аргусовых глаз ничто печатное доныне, и чуть ли не все писанное, не ускользнуло. Всеведение и память ваша изумительны. На ловца и зверь бежит. Вот нечаянно попалось вам на глаза давным-давно забытое, да и в свое время мало известное и, можно сказать, случайное произведение Грибоедова: «Кто брат? Кто сестра?», и вы сейчас производите, хотя и по остывшим от времени следам, дознание, чтобы определить как, когда и при каких обстоятельствах оно возникло и совершилось. Из всех ответчиков и свидетелей по этому делу, чуть ли не я один налицо из числа всех живущих на земле. Присягнув пред вами, что я буду говорить правду и одну правду, начинаю показание свое. Но извольте принять в соображение, что с того времени прошло несколько законных и крупных давностей; следовательно, могу передать только то, что помню и что уцелело в памяти моей под спудом, ныне неожиданно пробужденной вашим вопросом и пред'явленными уликами. Теперь к делу, но с маленьким предисловием.

Литература наша в настоящее время переродилась в Чичикова. Вероятно за неимением живых, наличных душ, она принялась промышлять мертвыми. Везде, где бы то ни было, у кого бы то ни было, скупает она мертвые души, выгребает их из могил и закладывает в разные журнальные банки. Иные из этих операций хорошо и блистательно удаются, но далеко не все. Другие проваливаются, за недостатком достоверных и законных свидетельств, за неблагонадежностью лиц, представляющих эти залоги. Впрочем это дело банков — быть осмотрительными и строго контролировать свои кредитные распоряжения. Жаль только, что частые несостоятельности и ложные документы могут подрывать доверие публики к подобным сделкам. Впрочем и то сказать, публика наша такая благонравная, такая целомудренно-доверчивая, что за нее печалиться нам не для чего. Один тесть говорил

про зятя своего: «мой зять прекрасный человек; что ни поставь перед ним — все с'ест». Наша публика сродни этому зятю.

Как бы то ни было, я никогда не думал и не гадал, что по истечении полустолетия вынырнуло из театральных подвалов дитя почти мертворожденное и вскоре погребенное. Мне казалось, что, не удержавшись на сцене, оно вовсе и безвозвратно погибло. Не тут-то было. Выходит, что французская поговорка: «discret comme la tombe» не всегда верна. В наше время и могилы сделались очень нескромными и болтливыми.

Во время оно и я был присяжным московским театралом. Привычка к театру есть род запоя. В известный час после обеда заноет какой-то червь в груди; дома не сидится; покидаешь чтение самой занимательной книги, отрываешься от приятного и увлекательного разговора и отправляешься в театр, чтобы в креслах своих смотреть на посредственных актеров и слушать скучную драму. Московская труппа была так себе. Больших талантов, и в особенности образованных актеров, тогда не было. Репертуар и вообще весь русский репертуар был слаб и скуден. Нас, между прочим, забавляло смотреть, как некоторые из актеров, на сцене, в самом пылу действия или любовного об'яснения, одним глазом ни на минуту не смигнут с директорской ложи, чтобы видеть, довольны ли игрою их Апол. Александ. Майков, тогдашний директор театров. Но нас, на ту пору б л е с т я щ у ю московскую молодежь, привлекал в особенности балет, пламенно воспетый Денисом Давыдовым, в лице красавицы Ивановой, и удостоенный похвальным отзывом в «Евгении Онегине». Когда говорю балет, то должно под ним скорее разуметь р а з н о х а р а к т е р н ы й д и в е р т и с м е н т. Тут подлинно в разнообразных плясках являлись красивые грациозные талантливые танцовщицы. Это была своего рода поэзия. Кроме помянутой царствующей Ивановой было несколько блестящих личностей: в числе их назову Новикову, живую, увлекательную, черноглазую и густо-черноволосую цыганочку. Особенно памятен мне один дивертисмент, под названием, кажется, «Семик». Тут на выбор подобрано было все что ни есть лучшего в московском театре по ведомству пляски и пения. Молодой Лобанов в роли цыгана, с черной бородой и в ярко красном архалуке, приводил в восторг всю публику от кресел до райка своими эксцентричными и неистовыми к о л е н ц а м и. Тогда к а н к а н не был еще изобретен, и мы беспорочно довольствовались некоторою отвагою в движениях. Со славою

Лобанова соперничал, помнится, какой-то Лебедев, не принадлежавший московскому театру, но «со стороны» участвовавший в «Семике», как песельник. Голосом своим он звонко заливался; руки его, вооруженные ложками, фейерверочно вертели ими; ноги его так прытко изворачивались в присядку, и все тело его так изгибалось и трепетало, что он был живой и превосходный образец беснующегося. В один из проездов через Москву государя Александра Павловича, театральная дирекция вздумала угостить его «Семиком». Но он вообще не охотник был до эксцентричных из'явлений и выказал мало сочувствия разгулу и дикой поэзии «Семика». Напротив, узнав, что беснующийся ложечник — служащий писарь в каком-то военном ведомстве, он остался очень недоволен: приказал, чтобы сей артист-дилетант вперед не осмеливался показываться на сцене, а военному начальству его сделан строжайший выговор за допущение подобного безобразия.

Извините меня: старые воспоминания бывшего театрала увлекли меня далеко в сторону. Но судя уже по вашей любопытной статье о русском театре, видно, что и вы старый театрал [1]. А потому оправдываюсь перед вами переделкою стиха латынского поэта: «Вы театрал, и ничто театральное чуждым быть вам не может».

Теперь уже решительно выступаю на прямой путь.

В первой половине двадцатых годов, в 1822 или 1823, директор московского театра Ф. Ф. Кокошкин, с которым находился я в приятельских отношениях, просил меня написать что-нибудь для бенефиса Львовой-Синецкой (кажется, так), актрисы, состоявшей под особенным покровительством его [2]. Я ему отвечал, что не признаю в себе никаких драматических способностей, но готов ссудить начинкою куплетов пьесу, которую другой возьмется состряпать [3].

[1] О театре в пушкинскую эпоху см.: Леонид Гроссман: «Пушкин в театральных креслах». Изд. Брокгауз-Ефрон, Л. 1926 г., и П. Арапов: «Летопись русского театра», П. 1871 г.

[2] Это было в 1823 году, так как бенефис М. Д. Львовой-Синецкой состоялся в Москве 24 января 1824 года, когда эта пьеса и была поставлена впервые; цензурное разрешение на рукописи, сохранившейся в Центральной библиотеке государственных театров в Ленинграде — 10 января 1824 г.

[3] «Я по уши в водевилях. Ко мне, как к Шаховскому, приходят с челобитием все бенефищики»,—писал Вяземский 18 ноября 1823 года А. И. Тургеневу; см. «Остафьевский архив кн. Вяземских». П. 1899 г., т. II, стр. 367.

Перед самым тем временем познакомился я в Москве с Грибоедовым, уже автором знаменитой комедии. Я сообщил ему желание Кокошкина и предложил взяться вдвоем за это дело. Он охотно согласился. Мы условились в некоторых основных началах. Он брал на себя всю прозу, расположение сцен, разговоры и проч. Я брал — всю стихотворную часть, т. е. все, что̀ должно быть пропето. Грибоедову принадлежит только один куплет:

Любит обновы
Мальчик Эрот и проч.

(«Русский Вестник», сентябрь 1873 г., стр. 257).

Не помню и не полагаю, чтобы романс Грибоедова:

Ах, точно ль никогда ей в персях безмятежных...

(там же, стр. 257) был пропет на сцене водевиля: «Кто брат? Кто сестра?» Все мои куплеты из этого водевиля были, помнится мне, впоследствии времени напечатаны в «Дамском журнале», издававшемся князем Шаликовым [1].

Незадолго перед тем возвратился я из Варшавы. В память пребывания моего в Польше, предложил я Грибоедову перенести место действия в Польшу и дать вообще лицам и содержанию польский колорит. Каюсь, — двум девицам, участвующим в пьесе, дал я имена Антося и Лудвися, в честь двух варшавских сестер красавиц, которых можно было встретить на всех гуляниях, на всех спектаклях, одним словом — везде, где можно было на людей посмотреть, а особенно себя показать. Водевильную стряпню свою изготовили мы скоро. Кокошкину и бенефицианткe пришлась она по вкусу. Казалось, все шло хорошо. Но первый день представления все изменил. Пьеса, сама по себе не очень оживленная с занимательным и веселым действием, еще более задерживалась и, так сказать, застывала под вялой игрой актеров, из которых иные неохотно играли. Затем, разумеется, публика неохотно слушала. Одним словом, если пьеса не совершенно пала, то разве оттого, что на официальной сцене пьесы падать не могут. Известная французская поговорка: «il est un dieu pour ivrognes» может быть применена у нас к театру. Для пошатнувшихся и споткнувшихся драматургов есть театральная дирекция. Она

[1] В «Дамском журнале» 1824 г., № 3, стр. 109—111 были напечатаны куплеты из этой пьесы: «Молодость, как струйка!» и «Пускай сердечным суеверам»; а в № 5, стр. 201, куплеты: «Бар и барынь все бранят».

может сбить с ног лучший успех и вынести на руках своих комедию, рожденную калекою. Как бы то ни было, пьеса наша была не хуже многих, которые с успехом разыгрывались на московской сцене.

Худо ныне помню содержание и ход водевиля; но имя Грибоедова ручается, что произведение его не было же лишено всякого дарования и вообще драматической сноровки. То же скажу, без уничижения и гордости, о куплетах своих, которые только-что теперь прочел в «Русском Вестнике», как будто заново или чужие. Право, не хуже они того, что распевалось на русской сцене прежде и после. Причина неуспеха нашего скрывалась в закулисных тайнах. В тогдашней московской театральной дирекции числился молодой Писарев. Он был ловкий переводчик французских водевилей и неутомимый поставщик их на московскую сцену, которая ими только и жила. Вообще был он не без дарования, но, вероятно, вследствие болезненного организма, был раздражителен и желчен. Он меня, не знаю за что, не взлюбил. Не любил он и Грибоедова, который уже пользовался рукописною славою своего «Горя от ума»[1]. Влиятельным лицом в дирекции был Загоскин, также ко мне тогда недоброжелательный. С Грибоедовым же имел он старые счеты по Петербургу. Одним словом, хотя приглашенные и почетные гости у хозяина дома, Кокошкина, — мы были вовсе не в чести у домашних его. С Загоскиным мы впоследствии времени хорошо сблизились. Вы знавали его и согласитесь, что никакое злопамятство не могло устоять против его цветущего и румяного добродушия. С Писаревым примирения у нас не было, но не было и случая к примирению.

Теперь, по желанию вашему, приступим к заметкам моим о статье, напечатанной в «Русском Вестнике».

Грибоедов, вовсе не с горя, что не удалось ему видеть на сцене «Горе от ума» (стр. 251), принялся за помянутый водевиль,

[1] А. И. Писарев, талантливый водевилист и сатирик, принадлежавший к кружку московских писателей старой школы, куда входили И. М. Долгоруков, М. Н. Загоскин, М. А. Дмитриев, А. А. Шаховской, Ф. Ф. Кокошкин. Писарев оказался в числе резких критиков «Горя от ума»; на страницах «Вестника Европы» 1825 г. (в № 9) под псевдонимом Пилада Белугина (что пародировало Ореста Сомова, хвалившего «Горе от ума» в «Сыне Отечества»), он напечатал резкую статью: «Несколько слов о мыслях одного критика» и о комедии «Горе от ума».

а как сказано мною выше, совершенно случайно и по моей просьбе [1].

Стр. 252. Ошибочно сказано, что я с Грибоедовым познакомился «в то время, когда мы оба служили в военной службе и стояли с полками в Царстве Польском». В военной службе состоял я только в 1812 году и не далее Бородина; с Грибоедовым познакомился лет десять позднее в Москве [2].

Стр. 258. Также ошибочно показание, что куплеты: «Жизнь наша сон! все песнь одна!» писаны именно Грибоедовым. Напротив, написаны они именно мною, в подражание французской пьесе, которую певал в то время заезжий француз.

Выше упомянул я о недоброжелательстве ко мне Писарева. Вот, между прочим, и доказательство тому. Однажды сидим мы одни с Грибоедовым в директорской ложе. Сознаюсь, я тогда более смотрел на ложи, нежели на сцену. Вдруг Грибоедов говорит мне: «eh bien, vous voilà chansonné sur la scène». — Как это? — спросил я. Между тем слышу громкие рукоплескания и крики «bis». К ним присоединил я и свои, чтобы узнать в чем дело. Актер повторил требуемый куплет, и я догадался, куда автор хотел метить. Это было во время полемики моей с М. А. Дмитриевым по поводу «Бахчисарайского фонтана». Помню куплет доныне. Не подумайте, что он занозою в'елся в память мою. Сейчас покажу вам, что куплет вовсе не занозливый. Но он был одним из поличных обстоятельств в литературной тяжбе, которая в свое время не мало наделала шума. А потому и почитаю, что он подлежит вашему цензурно-генерал-прокурорскому надзору:

---

[1] «Лишенный надежды увидать на сцене «Горе от ума», Грибоедов хотел, по крайней мере, что-нибудь поставить на сцене, и, убежденный, что серьезное произведение не могло показаться в то время на подмостках русского театра, снова обратился к легкому роду драматической словесности, к водевилю, над которым он сам подшучивал в своей знаменитой комедии».

[2] С Грибоедовым П. А. Вяземский познакомился по приезде его из Грузии в Москву в апреле 1823 года. Любопытное свидетельство об их первой встрече сохранилось в письме Вяземского к А. И. Тургеневу от 30 апреля 1823 года из Москвы: «Здесь Грибоедов-Персидский. Молодой человек с большою живостию, памятью и, кажется, дарованием. Я с ним провел еще только один вечер»; см. «Архив Тургеневых». «Переписка кн. Вяземского с А. И. Тургеневым». Изд. Академии Наук, под ред. Н. К. Кульмана, стр. 16.

Известный журналист Графов
Мишурского задел разбором;
Мишурский, не теряя слов,
На критику ответил вздором.
Пошли писатели шуметь,
Кричать, сердиться от безделья.
Пришлось же публике терпеть
В чужом пиру похмелье[1].

Позвольте мне теперь на досуге исследовать археографически и археологически этот допотопный памятник. Известный журналист Графов. В то время под этим прозвищем «Графов» осмеивали бедного графа Хвостова; придать это прозвище и Каченовскому не было очень лестно для журналиста, которого Писарев считался приверженцем.

Мишурский, не теряя слов,
На критику ответил вздором.

Мишурский, очевидно я, и потому, что я урожденный сиятельство, и потому, вероятно, еще более, что я люблю играть словами и часто выражениями своими пускаю в глаза блеск, или, пожалуй, мишуру. Прекрасно. Но на беду автора куплета, рифма попутала его. Он должен был и хотел сказать: «не теряя времени». А теперь мудрено согласовать, что я и «не терял слов» и «ответил вздором».

Пошли писатели шуметь,
Кричать, сердиться от безделья.

Под словом писатели должен быть подразумеваем и М. А. Дмитриев, с которым мы вели пререкания. А между тем Писарев и он были приятелями и литературными единомышленниками. Таким образом, швыряя в меня камнем, задевает он при сей верной оказии и приятеля своего. Один путный стих во всем куплете есть последний, да и то потому, что он весь заключается в известной пословице.

Прозвище Мишурского напоминает мне другого остряка, который где-то пожаловал меня: «князем Коврижкиным». Что же

---

[1] Эти строки из водевиля А. И. Писарева «Учитель и ученик, или в чужом пиру похмелье»; Грибоедов с Вяземским, вероятно, были на премьере этой пьесы, состоявшейся 24 апреля 1824 года.—О Писареве см. статью С. И. Пономарева в «Еженедельном Новом Времени» 1879 г., т. I, стр. 342—357.

прикажете делать? Не убережешься от нарезного огнестрельного остроумия наших литературных знаменитостей.

Автор статьи о «неизданных пьесах Грибоедова» читал (стр. 257) большое письмо его к Верстовскому по поводу водевиля нашего, выражающее «б о л ь ш у ю з а б о т у о п о с т а н о в к е э т о й п ь е с ы»[1]. Я этого никак не ожидал и вот по какой причине.

Следующий рассказ может во всяком случае служить характеристическою чертою в изображении Грибоедова и показать, как умел он владеть собою и не выдавать себя другим врасплох. Вообще, не был он вовсе, как полагают многие, человеком увлечения: он был более человеком обдумывания и расчета[2].

В день представления водевиля Грибоедов обедал у меня с некоторыми приятелями моими. В числе их был и Денис Давыдов[3]. «А что, — спросил он Грибоедова, — «признайся: сердце

[1] Это письмо от конца декабря 1823 года, сохранившееся в альбоме А. Н. Верстовского, ныне находящемся в Государственном театральном музее им. А. А. Бахрушина в Москве и впервые напечатанном в третьем томе академического издания сочинений Грибоедова (стр. 151—152).—В этом письме имеются такие строки: «К Вяземскому я еще давече писал, чтобы ускорил посылкою куплетов и вообще всего манускрипта».—Музыка Верстовского к куплетам этой пьесы «Когда в вас сердце признает» и «Любил бы, может быть, и я» была напечатана в «Мнемозине» 1824 г., часть I (в приложении).—Между прочим, рецензент премьеры «Кто брат, кто сестра», какой-то Н. Д. писал в «Вестнике Европы» 1824 г. (№ 1, стр. 150): «Mésalliance! Брак неравный! Г. Верстовский сочетал блестящую талантом, прекрасную, богатую и знатную музыку свою с водевилем, не имеющим ни качеств ее, ни преимуществ».

[2] «Познакомьтесь с Грибоедовым: он с большими дарованиями и пылом»,—писал Вяземский 22 июня 1824 года А. И. Тургеневу; см. «Остафьевский архив кн. Вяземских». П., 1899 г., т. III, стр. 56.

[3] Следующая записка Грибоедова к Вяземскому, найденная в Остафьевском архиве, несомненно, была написана за два дня до этого обеда, т. е. в понедельник 22 января 1824 г. (так как 24 января был бенефис): «Я сам слишком привязан к свободе, чтобы осмелиться стеснять ее в ком-то ни было, почтеннейший князь. Располагайте собою на завтра, а в середу я у вас обедаю, и тогда условимся, когда привлечь вас ко мне, покудова Давыдов еще не уехал в деревню, а я в Петербург»; см. «Остафьевский архив», П. 1913 г., т. V, вып. второй, стр. 152 и сочинения Грибоедова, под ред. Н. К. П и к с а н о в а, где записка предположительно датирована «маем».—Там же напечатано еще одно, дошедшее до наших дней, письмо Грибоедова к Вяземскому, от 11 июля 1824 года.

у тебя немножко ёкает в ожидании представления?» — «Так мало ёкает», — отвечал отрывисто Грибоедов, — «что даже я и не поеду в театр». — Так он и сделал. Мы отправились без него и заняли литерную ложу во втором ярусе. Оттуда мог я следовать за постепенным падением пьесы. Со всем тем, по окончании, раздалось в партере несколько голосов, вызывавших автора. Я, разумеется, не вышел. Актер явился на сцену и донес публике, что авторов два, но что ни одного из них нет в театре. Давали ли водевиль после первого представления, — сказать не могу, и до нынешнего случая ничего не слыхал о нем [1].

В разбираемой статье (стр. 252) говорится, что пьеса никогда не была напечатана «хотя издание ее было бы в высшей степени любопытно», но нельзя приступить к тому без согласия моего [2]. Не полагаю, чтобы это произведение Грибоедова могло послужить приращением к славе его и к пользе нашего репертуара. Но во всяком случае, что до меня относится, предоставляю этот водевиль в полное распоряжение желающих потребителей [3].

Еще одно замечание, хотя по предмету постороннему. На странице 235 приводится известная эпиграмма на Карамзина:

Послушайте, я вам скажу про старину,
Про Игоря и про его жену... и проч.

и приписывается она Грибоедову. В заграничных изданиях печатается она под именем Пушкина — и, кажется, правильно. В ней выдается почерк Пушкина, а не Грибоедова, которого стихи, за исключением многих удачных и блестящих стихов в «Горе от ума», вообще грубоваты и тяжеловаты. При всем своем уважении и нежной преданности к Карамзину, Пушкин мог легко написать эту шалость; она, вероятно, заставило бы усмехнуться самого Карамзина. В лета бурной молодости Пушкин не раз бывал увлекаем то в одну, то в другую сторону разнородными потоками обстоятельств, соблазнов и влияний, литературных и других.

[1] 1 сентября 1824 года пьеса «Кто брат, кто сестра» была поставлена и на петербургской сцене.

[2] «Было бы весьма желательно, чтобы наш заслуженный ветеран литератор князь П. А. Вяземский напечатал или позволил напечатать эту пьесу, об'яснив при этом, что именно в ней принадлежит ему и что Грибоедову»,—писал Родиславский в «Русском Вестнике».

[3] Впервые целиком эта пьеса была напечатана в «Полном собрании сочинений А. С. Грибоедова» под ред. И. А. Шляпкина. П. 1889, т. II, стр. 345—393.

В той же статье приводятся слова Грибоедова, сказанные приятелю его уже после написания «Горя от ума». Они меня очень поразили, между прочим и тем, что служат новым свидетельством тому, как часто авторы ошибаются в оценке свойств таланта своего. Он говорит: «я не напишу более комедии; веселость моя исчезла, а без веселости нет хорошей комедии». Последние слова совершенно справедливы. Но дело в том, что в комедии «Горе от ума» именно нет нисколько веселости. Есть ум, есть острота, насмешливость, едкость, даже желчь; есть, здесь и там, бойкие черты карандаша, схватывающего с удивительной верностью и живостью карикатурные сколки; все это есть в изобилии. Но веселости, без чего нет хорошей комедии, по словам Грибоедова, не найдешь в «Горе от ума». Это сатира, а не драма; импровизация, а не действие. О комических положениях, столкновениях, нечаянностях (естественно, а не натянуто и непроизвольно вытекающих из самой сущности драматической басни) нет тут и помина. Один Чацкий, и то, разумеется, против умысла и желания автора, оказывается лицом комическим и смешным. Так, например, в сцене, когда он, после долгой проповеди, оглядывается и видит, что все слушатели его один за другим ушли; или когда Софья Павловна под носом его запирает дверь комнаты своей на ключ, чтобы от него отделаться. Эта исповедь моя, по поводу «Горя от ума», покажется многим дикою и страшною ересью. Но я ни в чем не терплю преувеличения. Один из первых приветствовал я «Горе от ума» с живым сочувствием [1]. Не только у нас, на сценическом безлюдии, но и на другой гуще населенной сцене, например, французской, комедия Грибоедова была бы блестящим явлением. У нас, после «Недоросля» и до «Ревизора», была она не только блестящей, но прямо из жизни выхваченной картиной; картина может быть слишком раскрашена, немного натянута; в ней, может быть, выдается сам живописец, нежели изображенные им лица; но все же, повторяю, картина замечательная по бойкости кисти, по краскам и живости своей. Кажется, довольно и

[1] Не совсем так; в 1825 году Вяземский принял участие в журнальной полемике по поводу «Горя от ума», при чем его оценка принадлежит к наиболее сдержанным и сухим, и не раз он отмечал, что Москва Грибоедовская — не вся Москва: «Пора бы, наконец, перестать искать Москву в комедии Грибоедова. Это разве часть, закоулок Москвы. Рядом или над этой Москвой была другая светлая, образованная Москва»; см. Полное собрание сочинений П. А. Вяземского, т. VII, стр. 378.

сказанного для беспристрастной оценки этого творения. Вероятно и сам автор, несмотря на самолюбие свое и чадолюбие, которое присуще каждому автору, не пошел бы многим далее меня в определении достоинства комедии своей [1]. Он был очень умен, образован, хорошо знал иностранные литературы, следовательно, не мог запрашивать у общественного мнения цену, слишком не подходящую к делу. Но наши присяжные ценители и судьи не связаны ни этими и никакими другими условиями. Они рубят с плеча того, кто им не по вкусу и не по нраву; зато уже любимцев своих торжественно и празднично закачивают на усердных руках своих до беспамятства и тошноты. Признаюсь, мне оскомину набили эти стереотипные прилагательные: бессмертная, гениальная, которые, по заведенному единожды порядку, привешивают к комедии «Горе от ума». Хотелось бы спросить этих господ: из каких доходов раздают они эти дипломы на бессмертие и гениальность? Какие личные права имеют они на подобные производства? Вообще критика наша необстоятельна: ей следовало бы воздерживать себя от неблагоразумной расточительности. Но широкой русской натуре тесно в условных и законных пределах. Она перескакивает их. Ей, например, Мольер не более известен, чем китайцам; но она не усомнится принести его и многих других в жертву Грибоедову. И так далее, везде и во всем. У нас встречаются писатели с дарованием, но писателей образованных очень мало. Оттого и критика наша или поверхностна, или сбивчива, когда ей захочется поумствовать и поли-беральничать. Общественное мнение, по крайней мере, в большинстве, подчинясь этой критике, с каждым днем все более и более заблуждается и падает. Что ни говори, а все это признаки болезненности и отсутствия образованности.

А вы, которые изведали, исследовали, проверили, промерили на Руси все чернильные потоки, протоки, притоки, знаете ли вы, что в комедии «Горе от ума» есть и моя капля, если не меда

[1] Сохранилось интересное письмо А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 8 мая 1825 года об одном из чтений Грибоедовым «Горя от ума»: «Вчера слушал у княгини А. И. Голицыной (Измайловой) комедию Грибоедова. Всем вам досталось. Много остроты в некоторых стихах, особливо в негодовании Чацкого, но пьеса нехороша и интрига подлая. Есть сатирические черты и верные портреты московских оригиналов, но нет комедии. Княгиня бесила меня вздорными замечаниями своими на пьесу и на стихи, коих не понимала»; см. «Остафьевский архив кн. Вяземских». П. 1899 г., т. III, стр. 123.

и желчи, то по крайней мере капля чернил, то есть: точка. Угадайте, поищите. Нет, не находите! Так и быть: укажу я вам.

Скоро после приезда в Москву, Грибоедов читал у меня и про одного меня комедию свою. После падения Молчалина с лошади, испуга и обморока Софьи Павловны (действие 2-е, явление 8-е) Чацкий говорил:

Желал бы с ним убиться для компаньи.

Тут заметил я, что влюбленному Чацкому, особенно после слов:

Смятенье, обморок...
Так можно только ощущать,
Когда лишаешься единственного друга.

неловко употребить пошлое выражение «для компаньи», а лучше передать его служанке Лизе. Так Грибоедов и сделал: точка разделила стих на два; и эта точка моя неот'емлемая собственность в бессмертной и гениальной комедии Грибоедова [1]. Следовательно и на мою долю падает чуть заметная гомеопатическая крупинка, о чем имею честь заявить нашим маклерам по части бессмертных и гениальных дел [2].

«Ух!» — скажете вы. «Ух!» — говорю и я. Меня самого пугает непомерная долгота письма моего. Каково же будет вам? Впрочем, виноваты вы сами. Вы задрали родным вопросом старого приятеля, который в немецком закоулке своем сидит, как заключенник в тюрьме, на одиночном и безмолвном положении. Вот меня и прорвало! Вперед будьте осторожнее. А пока примите уверение в моей совершенной и неизменной преданности.

Гамбург. 17 (29) декабря 1873.

---

[1] Это исправление Вяземского сохранилось и в окончательной редакции и в раннем автографе, так называемом «музейном».

[2] Для характеристики отношений Вяземского к Грибоедову могут служить следующие строки его в письме к И. И. Дмитриеву: «Я был сильно поражен ужасным жребием несчастного Грибоедова. Давно ли видел я его в Петербурге блестящим счастливцем, на возвышении государственных удач, давно ли завидовал ему, что он едет посланником в Персию, в край, который для моего воображения имел всегда приманку чудесности восточных сказок, обещал ему навестить его в Тегеране и еще на-днях, до получения рокового известия, говорил жене, что не будь войны на Востоке, я нынешним летом с'ездил бы к нему! Как судьба играет нами, и как люто иногда! Я так себе живо представляю пылкого Грибоедова, защищающегося от исступленных убийц».—«Русский Архив» 1868 г., стр. 606.

А. А. Бестужев

ЗНАКОМСТВО С А. С. ГРИБОЕДОВЫМ

А. А. Бестужев (1797—1837), один из крупнейших писателей и критиков пушкинской эпохи. Блестящий поручик лейб-гвардии драгунского полка и ад'ютант главного управляющего путями сообщения Бетанкура (с 5 мая 1822 года) и принца Александра Виртембергского (с 7 июля 1823 года), Бестужев, вместе со своим другом К. Ф. Рылеевым, издал в 1823—1825 гг. три книжки альманаха «Полярная Звезда» В печати Бестужев выступил еще в 1816 году, но громкую свою известность он приобрел позже—преимущественно своими повестями из кавказской жизни, которые он писал (под псевдонимом Марлинский) после своей ссылки по делу декабристов в Сибирь и на Кавказ; на Кавказе же он и был убит в стычке с горцами.

Бестужев, несомненно, был одним из самых откровенных политических собеседников Грибоедова. Но в своих воспоминаниях, написанных в 1829 г., на Кавказе, он опасался откровенно запечатлеть свои интереснейшие беседы с автором «Горя от ума». Этим и об'ясняется сжатость его воспоминаний.—Опубликованы впервые они были М. И. Семевским в 1860 году в «Отечественных Записках» (№ 10, стр. 633—640) со следующим примечанием редакции: «Предлагаемый рассказ А. А. Бестужева, сохранился между прочими его бумагами у сестры покойного, Елены Александровны». Этот же текст воспроизведен в издании «Воспоминания братьев Бестужевых», редакция П. Е. Щеголева, «Огни» 1917 г., стр. 345—353.

Среди бумаг А. А. Бестужева, в большом количестве сохранившихся в архиве М. И. Семевского (ныне в Пушкинском Доме Академии Наук СССР), рукопись его воспоминаний о Грибоедове не найдена; поэтому воспроизводим текст «Отечественных Записок». В архиве же Семеновского, между прочим, нашелся автограф единственного, дошедшего до наших дней, письма Грибоедова к Бестужеву от 22 ноября 1825 года, который оставался в свое время недоступным редактору академического издания сочинений Грибоедова.

Я был предубежден против Александра Сергеевича. Рассказы об известной дуэли, в которой он был секундантом, мне переданы были его противниками в черном виде. Он уже несколько месяцев

был в Петербурге, а я не думал с ним сойтись, хотя имел к тому не мало предлогов и много случаев. Уважая Грибоедова, как автора [1], я еще не уважал его, как человека [2]. «Это необыкновенное существо, это гений!» говорили мне некоторые из его приятелей. Я не верил. Всякий энтузиазм в других порождал во мне холодность, по весьма естественному рассуждению: чем более человек находится вне себя, тем менее он способен ценить, измерять вещи глазами рассудка; следовательно, те, которые внемлю ему, должны дополнять своим разумом пустоту и, не увлекаясь чувствами, более не доверять, чем верить. Впрочем, это правило применял я только к заглавным похвалам. Электрическая искра восторга потрясала нередко меня, но не иначе, как от прикосновения. Притом частые восторги юных друзей моих нередко вспыхивали от таких предметов, которые вовсе того не стоили. Как Макбет привидениями, я был пресыщен их чудесами и феноменами. Знаки восклицания в преувеличенных письмах о нем не более убеждали меня, как двоеточия и многоточия, словом, я хотел иметь свое мнение и без достаточной причины не менять старого на новое. Между тем, однако ж, как я упирался с ним встретиться, случай свел нас невзначай. Я сидел у больного приятеля моего, гвардейского офицера Н. А. М—ва, страшного любителя всего изящного. Это было утром, в августе 1824 года. Вдруг дверь распахнулась; вошел человек благородной наружности, среднего роста, в черном фраке, с очками на глазах.

---

[1] Еще в 1823 году А. А. Бестужев, обозревая русскую драматическую литературу в «Полярной Звезде», отозвался с похвалой о литературных опытах Грибоедова: «Грибоедов весьма удачно переделал с французского комедию «Молодые супруги» (Le secret du ménage); стихи его живы; хороший их тон ручается за вкус его, и вообще в нем видно большое дарование для театра». См. А. А. Бестужев. «Взгляд на старую и новую словесность в России» — «Полярная Звезда» на 1823 г., стр. 301.

[2] Автор имеет в виду не весьма почтенную роль Грибоедова в истории связи гр. А. П. Завадовского с Истоминой, вызвавшую дуэль Завадовского с Шереметевым, на которой последний был убит. Поясняя нежелание Бестужева знакомиться с Грибоедовым, И. А. Шляпкин пишет: «Рассказывали, что А. П. Завадовский предлагал Шереметеву помириться, и тот колебался, но А. С. Грибоедов, настаивая на дуэли в виду честного слова, будто и был таким образом виною смерти Шереметева»; см. Полное собрание сочинений А. С. Грибоедова. Под ред. И. А. Шляпкина. П. 1889 г., т. I, стр. XX.

— Я зашел навестить вас, — сказал незнакомец, обращаясь к моему приятелю: — поправляетесь ли вы?

И в лице его видно было столько же искреннего участия, как в его приемах умения жить в хорошем обществе, но без всякого жеманства, без всякой формальности; можно сказать даже, что движения его были как-то странны и отрывисты, и со всем тем приличны, как нельзя более. Оригинальность кладет свою печать даже и на привычки подражания. Это был Грибоедов.

Обрадованный хозяин поспешил познакомить нас. Оба имени прозвучали весьма внятно, но мы приветствовали друг друга очень холодно, даже не подали друг другу руки. Разговор завязался по-французски о чем-то весьма обыкновенном; наконец, он склонился на словесность. Передо мною лежал том Байрона, и я сказал, что утешительно жить в нашем веке, по крайней мере потому, что он умеет ценить гениальные произведения (Байрона).

— Даже оценять много свыше достоинства, — сказал Грибоедов.

— Я думаю, это обвинение не может касаться авторов, каковы Гете или Байрон, — сказал я.

— Почему же нет? Может быть и обоих. Разве поклонники первого не превозносят до небес его каждую поэтическую шалость? Разве не придают каждому его слову, на удачу брошенному, тысячу противоположных значений? С Байроном поступают еще забавнее, потому что его читает весь модный свет. Гете толкуют, как будто он был непонятен; а Байроном восхищаются, не понимая его. В самом деле, никто не смеет сказать, что он проник великого мыслителя, и никто не хочет признаться, что он не понял благородного лорда [1].

— Этому виной, я думаю, различные способы их выражения. Гете облек мысли чувствами, между тем, как Байрон расцветил чувства мыслью. Не всякий дерзнет хвалиться своим умом; но всякий рад сказать, что у него есть сердце, и, замечая, что Гете терзает более его ум, а Байрон чувство, полагают, что легче разгадать последнее, чем первое, хотя то и другое равно трудно.

---

[1] Грибоедов, несомненно, разделял увлечение Бестужева Байроном. О симпатии Грибоедова к литературному романтизму есть несколько свидетельств. См. «Беседы общества любителей российской словесности» 1868 год, № 2, стр. 14; Р. Зотов «Театральные воспоминания» 1859 г., стр. 83; И. Розанов «Грибоедов и Пушкин»—«Пушкинский сборник», 1900 г., стр. 100—135.

— Для того, чтоб заглянуть в лицо этим гигантам, — равно заметил я, — для доступа к высотам их не помогут ни ползки, ни прыжки: тут надобны крылья...

— И крылья орла, — прибавил Грибоедов. — Солнечные лучи играют и в блестке, и в капле; но только масса воды может отразить целое солнце, только высокая душа может обнять полную мысль гения. Что касается, однако ж, характеристики выражений в Гете и Байроне, она, мне кажется, слишком произвольна. Вы назвали их обоих великими и, в отношении к ним, это справедливо; но между ними все превосходство в величии должно отдать Гете [1]: он об'ясняет своею идеею все человечество; Байрон со всем разнообразием мыслей, — только человека.

— Надеюсь, вы не сделаете этого укора Шексперу [2]. Каждая пьеса его сохраняет единство какой-нибудь великой мысли, важной для истории страстей человеческих, несмотря на грязную пену многих подробностей, свойственных более веку, нежели человеку. Я не знаю ни одного писателя в мире, который бы обладал сильнейшим языком и большим разнообразием мыслей. Вспомните, что он проложил дорогу самому Гете. Вспомните, когда писал он...

— Все обстоятельства времени и просвещения, — отвечал Грибоедов, — благоприятствовали, конечно, развитию крыльев Гете. Но я сужу не творца, а творения, и едва ли творения Шекспира выдержат сравнение с гетевскими. Признаюсь вам, что я не могу понять суда, где красоты ставятся в рекрутскую меру. Две вещи могут быть обе прекрасны, хотя вовсе не подобны.

Это правда, это осязаемая правда; мы спорили на ветер...

— Я готов пройти тридцать миль пешком, — промолвил он, улыбаясь, по-английски цитируя Стерна, — чтоб поглядеть на человека, который вполне наслаждается тем, что ему нравится, не расспрашивая, как и почему? Вы англоман и поймете меня.

Мы скоро расстались, с меньшей холодностью, правда, но без всяких приветов и приглашений.

— Каков? — спросил меня с торжествующим видом приятель мой.

---

[1] Как раз в это время Грибоедов работал над переводом отрывка из «Фауста» (Vorspiel auf dem Theater), который в следующем 1825 году он напечатал в альманахе Бестужева и К. Ф. Рылеева «Полярная Звезда».

[2] Около этого времени Грибоедов задумал переводить «Ромео и Джульетту».

— Умный человек; только я не вижу в нем ничего чрезвычайного. Конечно, он держался более в оборонительном положении, и ему смешно было бы расстегнуться на первый случай и выставить на показ все свои достоинства; по крайней мере, я не нахожу причины переменять своего мнения. Ум и сердце, человек и автор — не все равно!

Я думал так и ошибался. Дальнейшие опыты и думы, более глубокие, убедили меня, что истинно умный человек — наверно человек добрый и что произведения автора есть отпечаток его души. Маска, приемлемая на себя сочинителем, обманывает только сначала; век нельзя притворяться. Одна мысль, одно слово изменяет самому хитрому лицемеру, умей только схватить его.

Вскоре после страшного наводнения в Петербурге, Ф. В. Булгарин[1], у которого сидел я, дал мне прочесть несколько отрывков из грибоедовской комедии «Горе от ума». Я уже не раз слышал о ней; но изувеченные изустными преданиями стихи не подали мне о ней никакого ясного понятия.

Я проглотил эти отрывки; я трижды перечитал их. Вольность русского разговорного языка, пронзительное остроумие, оригинальность характеров и это благородное негодование ко всему низкому, эта гордая смелость в лице Чацкого проникла в меня до глубины души. «Нет, — сказал я сам себе, — тот, кто написал эти строки, не может и не мог быть иначе, как благородное существо». Взял шляпу и поскакал к Грибоедову.

— Дома ли?

— У себя-с.

Вхожу в кабинет его. Он был одет не по-домашнему, кажется, куда-то собирался.

— Александр Сергеич, я приехал просить вашего знакомства. Я бы давно это сделал, если б не был предупрежден против вас... Все наветы, однако ж, упали пред немногими стихами вашей комедии. Сердце, которое диктовало их, не могло быть тускло и холодно.

---

[1] Брат А. А. Бестужева — Мих. Ал. — пишет в «Записках» о Булгарине: «Это был в глазах наших балаганный фигляр, приманивающий люд в свою комедь кривляниями и площадными прибаутками. Брат Александр его посещает довольно часто, но уже вовсе не ради его милых глазок»; см. Воспоминания братьев Бестужевых. Редакция П. Е. Щеголева. «Огни», 1917 г., стр. 312.

Я подал руку, и он, дружески сжимая ее, сказал:

— Очень рад вам, очень рад! Так должны знакомиться люди, которые поняли друг друга.

— В ответ на искренность вашу заплачу тоже признанием: не все мои друзья были вашими; притом и холодность ваша при первой встрече, какая-то осторожность в речах, отбили у меня охоту быть с вами покороче. После меня разуверили в этом, и теперь об'яснилось остальное. Очень рад, что я ошибся.

После нескольких слов о потопе, который проник и в его квартиру, я встал.

— Вы сбираетесь куда-то ехать, Александр Сергеич, не задерживаю вас.

— Признаться, хотел было ехать на обед; но, пожалуйста, останьтесь и будьте уверены, что для меня приятнее потолковать о словесности, чем скучать за столом. Вы, верно, уже обедали (было около пяти часов), а мне нередко случается позабывать за книгою обед и ужин.

— По несчастью, я не книга, Александр Сергеич, — сказал я, шутя.

— И слава богу! Человек-книга никуда не годится.

Не желая, однако ж, воспользоваться его снисходительностью, я, раскланиваясь или прощаясь, просил его «Горе от ума» для прочтения.

— Она у меня ходит по рукам; но лучше всего приезжайте завтра ко мне на новоселье обедать к М. К. Ч. Он на вас сердит за критику одного из друзей своих, а друзья у него безошибочны, как папа; но он благороднейший человек, и я помирю вас. Вы хотите читать мою комедию—вы ее услышите. Будет кое-кто из литераторов; все в угоду слушателей-знатоков: добрый обед, мягкие кресла и уютные места в тени, чтоб вздремнуть при случае.

Я дал слово, и мы расстались.

Разумеется, я не замедлил на другой день явиться по приглашению. Обед был без чинов и весьма весел.

С полдюжины любителей, человека четыре литераторов составляли общество. Часов в шесть началось чтение. Грибоедов был отличный чтец; без фарсов, без подделок он умел дать разнообразие каждому лицу и оттенять каждое счастливое выражение.

Я был в восхищении. Некоторые из любителей кричали «прелесть, неподражаемо!» и между тем не раз выходили в другую комнату, чтоб «затянуться». Один поэт повторял «великолепно» при всяком явлении, но потом в антракте, встретив меня одного, сказал:

— Великолепно! но многое, многое надо переделать, et fais quel jargont! Что за комедия в четыре действия!

— Неужели вы находите, что мало четырех колес для дрожек, на которых вы ездите?—отвечал я и оставил его проповедывать, как надобно писать театральные пьесы.

Чтение кончилось. Все обступили автора с поздравлениями и комплиментами, которые принимал он очень сухо. Видно было, что он взялся читать не для жатвы похвал, а только, чтоб отделаться от неотступных просьб любопытных. Я только сжал ему руку и он отвечал мне тем же[1]. С этих пор мы были уже нечужды друг другу[2]. . . . . ,[3].

Обладая всеми светскими выгодами, Грибоедов не любил света, не любил пустых визитов или чинных обедов, ни блестя-

---

[1] И. А. Шляпкин сомневался в искренности сближения Бестужева с Грибоедовым. Ему казалось, что «отношения Бестужева к А. С. Грибоедову, несмотря на состоявшееся примирение, были лицемерны. Так, по крайней мере, выходит из письма некоего А. П. Бочкова к Бестужеву, намеревающемуся (в 1826 году), «не в шутку переведаться с А. С. Грибоедовым» («Русская Старина», 1889 г., № 7, стр. 117). — Но, как раз'яснено Н. К. Пиксановым, здесь у Шляпкина просто недоразумение: во-первых, указанное письмо А. П. Бочков писал не к Бестужеву, а к А. А. Ивановскому; во-вторых, переведаться с Грибоедовым собирался не Бестужев (который в 1826 году сидел уже в форте Слава, в Финляндии), а сам Бочков; в третьих, из самого текста письма Бочкова еще нельзя заключить о враждебных отношениях его к Грибоедову. — Об отношениях Грибоедова и Бестужева см. статью Н. К. Пиксанова «Грибоедов и А. А. Бестужев». — «Известия отделения русского языка и словесности Академии Наук». 1906 г., книга 4, стр. 49—78.

[2] Пропуск в подлиннике. (Примечание М. И. Семеновского).

[3] Под этой строкой многоточий автор, несомненно, схоронил многие подробности их дальнейшего сближения и задушевных бесед, которые, вероятно, не были столь невинны, как вышеприведенная и которые были бы весьма неуместны в 1829 году на Кавказе, в бумагах разжалованного в солдаты государственного преступника, всегда опасавшегося непрошенных ночных визитов. См. А. П. Берже «А. А. Бестужев в Пятигорске» — «Русская Старина», 1880 г., № 10, стр. 317—322.

щих праздников так называемого лучшего общества [1]. Узы ничтожных приличий были ему несносны потому даже, что они узы. Он не мог и не хотел скрывать насмешки над подслащенною и самодовольною глупостью, ни презрения к низкой искательности, ни негодования при виде счастливого порока. Кровь сердца всегда играла у него на лице. Никто не похвалится его лестью; никто не дерзнет сказать, будто слышал от него неправду. Он мог сам обманываться, но обманывать—никогда. Твердость, с которою он обличал порочные привычки, несмотря на знатность особы, показалась бы иным катоновскою суровостью, даже дерзостью; но так как видно было при этом, что он хотел только извинить, а не уколоть, то нравоучение его, если не производило исправления, по крайней мере, не возбуждало и гнева [2].

---

[1] Эта черта характера Грибоедова, сложившаяся уже в зрелые его годы, верно подмечена Бестужевым и подтверждается другими материалами. В то время, когда в свой первый приезд в Петербург в 1815—1818 гг., Грибоедов очень увлекался светским обществом и его развлечениями, в 1824 году он приехал в Петербург с другими интересами. В письме к Бегичеву от 10 июня 1824 года, Грибоедов пишет: «Третьего дня... графини Бобринской было рождение; я у них пировал на даче, музыка, дамы, шампанское, и в старые годы меня бы оттуда не скоро вытащили, теперь другая пора, видаюсь по необходимости». См. Академическое издание сочинений Грибоедова, т. III, стр. 154.— В Петербурге в самый разгар своей литературной популярности Грибоедов изучал восточные языки под руководством пр. Казембека и Мирзы-Джафара, а также правоведение, философию, историю и политическую экономию; см. «Русская Старина», 1874 г., № 6, стр. 276.

[2] Грибоедов, несомненно, бывал на дому у Бестужева. который одно время жил у Сомова (см. ниже, стр. 155), а затем переехал к жившему в том же доме Рылееву, с которым редактировал «Полярную Звезду». В своих записках М. А. Бестужев пишет об одном таком посещении Грибоедова: «Брат Александр по обязанности ад'ютанта герцога Виртембергского каждое утро должен был являться к нему, а через день оставаться там до вечера по обязанности дежурного ад'ютанта.— Жил он с Рылеевым в доме, занимаемом директором американской компании Прокофьевым, на Мойке, недалеко от Синего моста. Иногда герцог увольнял его от своих обедов и тогда он спешил на свои любимые «русские завтраки».— Я тоже очень любил эти завтраки и как только была возможность от убийственной шагистики, поглощавшей все мое утро до вечера, я спешил отдохнуть там душою и сердцем в дружной семье литераторов и поэтов. Особенно врезался у меня в памяти один из этих завтраков, на котором, в числе многих писателей, были барон Дельвиг, Ф. Глинка, Гнедич, Грибоедов и другие. Тут же присутствовал брат А. Пушкина, Лев, которого брат Александр в насмешку называл «Блёв», намекая на его неумеренное употребление

Он не любил женщин, так, по крайней мере, уверял он, хотя я имел причины в этом сомневаться. «Женщина есть мужчина-ребенок» было его мнение. Слова Байрона: «дайте им пряник, да зеркало и они будут совершенно довольны» ему казались весьма справедливыми [1]. «Чему от них можно научиться?» — говаривал он. «Они не могут быть ни просвещены без педантизма, ни чувствительны без жеманства. Рассудительность их сходит в недостойную расчетливость и самая чистота нравов в нетерпимость и ханжество. Они чувствуют живо, но не глубоко. Судят остроумно, только без основания, и, быстро схватывая подробности, едва ли могут постичь, обнять целое. Есть исключения, зато они редки; и какой дорогой ценой, какой потерею времени должно покупать приближение к этим феноменам! словом, женщины сносны и занимательны только для влюбленных» [2].

Вся жизнь его деятельности, проведенная или на бивуаках, или в азиатских городах Грузии и Персии, имела много прелестей, или, по крайней мере, занимательности и без общества женщин, и это самое породило в нем убеждение, что в политическом быту мы должны осудить женщин на азиатское или, по крайней мере, на афонское заключение. «Они предназначены самой природой для мелочной домашней жизни (говаривал он),

---

бахусовой влаги. Помню, что он говорил наизусть много стихов своего брата, еще не напечатанных: прочитал превосходный разговор Тани с нянею, приведший в восторг слушателей. Помню, как тут же брат Александр и Рылеев просили Льва Пушкина передать брату, не согласится ли он продать им каждый стих этого эпизода по пяти рублей для предполагаемой «Полярной Звездочки», что впоследствии было утверждено с согласия Пушкина». См. «Воспоминания братьев Бестужевых». Редакция П. Е. Щеголева. «Огни», 1917 г., стр. 85.

[1] Несомненно, что в эту характеристику Бестужев внес личные элементы. Это можно заключить, например, из следующей фразы в письме Бестужева из Дерпта от 24 февраля 1832 года к Н. А. Полевому, где он говорит о своих отношениях к женщинам: «Мало есть людей, которые бы так любили женщин, так близко узнали их (как он) и так мало в них нашли. «Give them a sagarplum and a locking-glass, and they wurd be perfeccty glad», — сказал Байрон. Я не совсем с этим согласен, но убежден опытом, что в их душе недостает нескольких октав, равно для понятия, как для чувства». — «Русское Обозрение» 1894 г., № 10, стр. 820—821.

[2] В переписке Грибоедова имеются отзвуки такого невысокого мнения о женщинах. Так, в письме к Бегичеву от июля 1824 г. Грибоедов пишет: «Я враг крикливого пола, но две женщины не выходят у меня из головы; твоя жена и моя сестра».

равно по силам телесным, как и умственным. Надобно, чтоб они жили больше для детей и мужей своих, чем невестились и ребячились для света. Если б мельница дел общественных меньше вертелась от вееров, дела шли прямее и единообразнее; места не доставались бы по прихотям и связям родственным, или меценатов в чепчиках, всегда готовых увлекаться наружностью лиц и вещей, — покой браков был бы прочнее, а дети умнее и здоровее. Сохрани меня бог, чтоб я желал лишить девиц воспитания, напротив, заключив их в кругу теснейшем, я бы желал дать им познания о вещах, гораздо основательнее нынешних».

Кавказ. 1829 г.

Н. В. Шимановский

АРЕСТ ГРИБОЕДОВА

Воспоминания Н. В. Шимановского, офицера кавказской армии в середине 1820-х годов, друга Дениса Давыдова, посвящены крупнейшему событию в жизни Грибоедова — его аресту в 1826 году по подозрению в принадлежности к декабристам. Воспоминания эти ценны, несмотря на отрицательное отношение автора их к Грибоедову, как, несомненно, в целом правдивый рассказ очевидца. В воспоминаниях Шимановского имеются крупные фактические неточности в хронологии событий, но они легко устраняются при сопоставлении их с опубликованными официальными документами, свидетельствующими о тех же событиях. Впервые опубликованы были эти воспоминания в «Русском Архиве» 1875 г., № 7, стр. 339—344; эта публикация и воспроизведена нами.

В 1825 году, в ноябре, мы возвратились из похода в горы. Отряд был расквартирован по казачьим станицам, как для отдыха, так и для того, чтобы исправить амуницию, слишком пострадавшую от довольно продолжительного движения в горах. Главная квартира учреждена была Гребенского полка в станице Червленной.

Вскоре отправились мы в станицу Екатериноградскую. Ермолов, Алексей Петрович, назначил тут свидание с начальником своего штаба генерал-майором Алексеем Александровичем Вельяминовым, начальником в Имеретии князем Петром Дмитриевичем Горчаковым [1] и нашим посланником в Персии статским советником Семеном Ивановичем Мазаровичем [2], жившим тогда уже в Тифлисе, по натянутым отношениям с персиянами. Тут нашли

---

[1] «Горчаков — картонный генерал» — писал о нем Грибоедов.

[2] Ермолов приехал в Екатериноградскую станицу для свидания с Вельяминовым, Мазаровичем и Горчаковым 22 ноября.

мы Грибоедова [1], возвращавшегося из продолжительного отпуска и по пути из Петербурга обратно на Кавказ побывавшего в Крыму.

Через несколько дней прибыл из Таганрога фельд'егерь Якунин с горестным известием о кончине императора Александра, и за сим получен указ о присяге императору Константину Павловичу. В тот же день, в станичной церкви, мы принесли присягу: на площади были приведены к присяге казаки станицы и рота кабардинского полка, расположенная в станице. В тот же день отправлены были два курьера: один в Тифлис, другой в станицу Червленную для приведения войск к присяге.

Мы собирались всякий день к обеду у Алексея Александровича Вельяминова (прекраснейшего из смертных) [2]. После гастрономического обеда Грибоедов читал нам по нескольку явлений из только что конченного «Горя от ума», которое и послужило ему впоследствии к оправданию по делу декабристов. Конец вечера проводили мы за вистом.

Накануне от'езда нашего из Екатериноградской станицы, когда были кончены все дела с начальствующими лицами, вызванными туда Алексеем Петровичем, Грибоедов должен был ехать в Тифлис, но убедительно просил Алексея Петровича взять его в назначенный тогда поход. Алексей Петрович отговаривал его, но, наконец, как-то неохотно согласился [3].

На другой день мы уехали в Червленную, где Грибоедов за неимением квартиры, поместился у меня. При нем был молодой мальчик за камердинера, Алексаша. Этому Алексаше пришлось через несколько дней играть важную роль, вместе с моим человеком Матвеем Алексеевым, в крепости Грозной.

Утром 25 декабря все чиновники и офицеры, находившиеся при главной квартире, собрались, чтобы поздравить Алексея Петровича с праздником. Домик офицерский, занимаемый Алек-

---

[1] Грибоедов находился здесь еще с 27 октября.

[2] «Вельяминов, его (Ермолова) начальник штаба, чрезвычайно неглупый человек, твердых правил, прекраснейших сведений... С этим я в нынешний приезд в короткое время сблизился более, чем прежде. Глаз на глаз, судьба завела меня с ним на Малку, и оттудова к разным укреплениям новой линии; все вместе, и все одни, я этому случаю благодарен за прекраснейшее открытие достойного человека», — писал Грибоедов 7 декабря 1825 года из Екатериноград.

[3] Ермолов в сопровождении Грибоедова выступил из Екатериноград в станицу Червленную на Терек 22 декабря.

сеем Петровичем, был на площади, на углу улицы, ведущей к станице Наур, то есть к дороге из России. Утро было прекрасное, довольно теплое. Кто сидел на завалинке домика, кто прохаживался поблизости. Толкуя о предстоящем походе в Чечню, мы увидали, что шибко скачет кто-то на тройке прямо к квартире генерала. Это был фельд'егерь Дамиш. Тотчас позвали его к генералу; он подал ему довольно толстый конверт, в котором были: манифест о восшествии на престол императора Николая и все приложения, которые хранились в Москве, в Успенском соборе. Алексей Петрович поздравил нас с новым государем и тут же приказал дежурному по отряду сделать нужные распоряжения относительно присяги. Немедля нимало, был отправлен курьер в Тифлис к начальнику штаба, и как мы расположены были по раскольничьим станицам, то пришлось посылать за священником в г. Кизляр (слишком 200 верст от станицы Червленной), которого и привезли только на третий день; тогда мы все, и 1-й батальон ширванского полка, и казаки станицы, присягнули. Эта медленность была поставлена потом в вину Алексею Петровичу, между тем, как вины тут никакой не было.

Когда Алексей Петрович окончил распоряжения, фельд'егерь Дамиш стал рассказывать о событии 14 декабря. В это время Грибоедов, то сжимая кулаки, то разводя руками, сказал с улыбкою: «Вот теперь в Петербурге идет кутерьма! Чем-то кончится!» [1].

Еще было поставлено в вину Алексею Петровичу, отчего он донес о присяге с тем же фельд'егерем, а не послал кого-нибудь из ад'ютантов или из офицеров. Это, конечно, было бы приличнее. Не знаю, почему это случилось. Говорили, что будет послан поручик гвардейского генерального штаба Сергей Ермолов, двоюродный брат генерала; но вышло не так.

На 28 декабря велено было отряду собираться в станицу Червленную. Алексей Петрович назначил свой от'езд этого же числа и приказал за собой следовать генерального штаба подполковнику Жихареву. Тут Грибоедов стал просить убедительно, чтобы и ему следовать за генералом. Алексей Петрович согласился, и на другое утро Грибоедов выступил с первым баталионом ширванского полка, с двумя сотнями казаков, при двух конных

[1] Ср. ниже в воспоминаниях Д. В. Давыдова фразу Грибоедова, сказанную им шелководу Реброву: «В настоящую минуту идет в Петербурге страшная поножовщина».

казачьих орудиях. Тогда время было опасное: хотя до крепости Грозной только 40 верст, но иначе итти было нельзя, так как вся Чечня находилась в волнении. Бей-Булат, первый имам, проповедывал казават, т. е. войну против неверных.

Штаб отряда и тяжести должны были выступить на другой день. Так и исполнили, согласно приказанию. Хотя перевозочные средства могли быть усилены, но Алексей Петрович жалел наших нагайцев, поставляющих провиант, отчего и вышло, что нам дали с Грибоедовым одну арбу, на которую сложили наши вещи. Люди наши следовали на вьючных лошадях.

Станица Червленная расположена близ Терека, но переправа устроена выше станицы, в четырех или пяти верстах, где мы и переправились на правый берег. В 10 верстах от переправы, за небольшим перевалом, находился чеченский аул, при горячем серном источнике, и против аула построено укрепление, названное Горячеводским. В укреплении этом расположена была рота 43 егерьского полка под командою капитана графа Бельфорта [1], который, хотя родом француз, но кроме русского языка не знал никакого, получив воспитание во втором кадетском корпусе.

Все, что мне удалось читать печатного об аресте Грибоедова, все совершенно не так. Видно, что это пересказанные речи. Я буду говорить, как очевидный свидетель и ручаюсь за сказанное.

Рано утром мы выступили из Червленной и часу в одиннадцатом подошли к Горячеводскому укреплению, где назначен был привал с тем, чтобы стянуть обоз с тяжестями, который по случаю переправы очень растянулся [2].

Гостеприимный хозяин граф Бельфорт, ожидая нас, приготовил целого барана, жарившегося на шашлыке. Мы выпили водки или по-кавказски спирту (когда его разводить!) и принялись за гомерический завтрак на открытом воздухе. День был солнечный и довольно теплый. Исправляющий должность дежурного штаб-офицера гвардии, капитан Талызин, первый увидал, на перевале от Терека, тройку в санях, окруженную 20 или 30 казаками и

---

[1] Был комендантом в Моздоке и умер в чине полковника.

[2] Приведение войск к присяге и другие неотложные дела замедлили продвижение войск в Чечню и только 21 января 1826 года отряд, расположенный около станицы Червленной выступил в Горячеводск. Шимановский запамятовал это промедление и по его рассказу выходит, что из Червленной они выступили 29 декабря.

первый сказал: «Господа, ведь это должен быть фельд'егерь!». Так и вышло. Через полчаса подскакали сани, из которых выскочил фельд'егерь, с одной сумкой на груди. Он назвал себя Уклонским. Мы познакомились и предложили ему водки. Он выпил нашего спирту и принялся с нами за шашлык. Талызин, как ловкий человек, предложил другую чарочку. Тот отказался. Успели принести от маркитанта шампанского; фельд'егерь тоже отказался, сказав, что не пьет виноградных вин. Хотели угостить чем бы нибудь еще, но он от всего отказывался. Лошадь верховая ему была готова.

Ударили под'ем, и мы пошли в крепость Грозную. Погода сделалась сумрачная, да и на душе было невесело; давило какое-то предчувствие.

Подойдя к Шульцову кургану (а теперь называется Ермоловским; это, кажется, в 4-х или в 3-х верстах от крепости), мы согласились поехать вперед отряда. Талызин, Сергей Ермолов и я, пригласивши с собой фельд'егеря, пустились на рысях и прямо к дому коменданта крепости Грозной[1]. Алексей Петрович сидел за большим столом и, как теперь помню, раскладывал пасьянс. Сбоку возле него сидел с трубкою Грибоедов. Когда мы доложили, что прибыли и привезли фельд'егеря, генерал немедленно приказал позвать его к себе. Уклонский вынул из сумки один тонкий конверт от начальника главного штаба Дибича. Генерал разорвал конверт; бумага заключала в себе несколько строк, но когда он читал, Талызин прошел сзади кресел и поймал на глаз фамилию Грибоедова[2]. Алексей Петрович, пробежавши быстро

---

[1] В крепость Грозную они прибыли только к вечеру 22 января. См. Е. Г. Вейденбаум. «Арест Грибоедова» в газете «Кавказ» 1898 г., № 2, перепечатано в его книжке «Кавказские этюды». Тифлис, 1901 г., стр. 264.

[2] Это было отношение на имя Ермолова, подписанное военным министром от 2 января 1826 года за № 52: «По воле государя императора покорнейше прошу ваше высокопревосходительство приказать немедленно взять под арест служащего при вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами, употребив осторожность, чтобы он не имел времени к истреблению их, и прислать как оные, так и его самого под благонадежным присмотром в Петербург прямо к его императорскому величеству»; цитируем по черновому отпуску отношения, сохранившемуся в деле Государственного архива (I В, № 31, лист 3) и опубликованному в статье П. Е. Щеголева «А. С. Грибоедов и декабристы», — в его сборнике «Декабристы», Гиз, Л., 1926 г., стр. 104.

бумагу, положил в боковой карман сюртука и застегнулся. Потом он начал расспрашивать Уклонского о событиях в Петербурге. Очень толково и последовательно рассказывал Уклонский. Я не обратил внимания на Грибоедова; но Талызин мне после сказывал, что он сделался бледен, как полотно. Так как это было зимой, то мы были в черкесках и полушубках. Я вышел, чтобы узнать, где наша квартира, которая была отведена на нас четверых почти что рядом, в офицерском флигеле: мне, подполковнику Жихареву, Сергею Ермолову и Грибоедову. Это была квартира капитана Козловского (после дослужившегося до чина полного генерала, Викентия Михайловича, бывшего председателем кавказских вечеров в Петербурге) [1].

В сенях встретил я Талызина, который отдавал приказание одному из ординарцев генерала, уряднику кавказского казачьего полка Рассветаеву, чтобы он скакал в обоз, отыскал арбу Грибоедова и Шимановского и чтобы гнал в крепость. Я спросил его по-французски: на что это? Талызин отвечал: «После скажу!».

Когда я возвратился к А. П. Ермолову, снявши свой полушубок, то Грибоедова не было в комнате. Он выходил куда-то, но скоро возвратился, был повидимому покоен и слушал рассказы Уклонского, который назвал много арестованных. Приказано было подавать ужин, к которому генерал велел пригласить прибывшего перед тем дежурного по отряду артиллерии полковника Мищенка, приехавшего с донесением, что голова колонны прибыла и расположена бивуаком около крепости, а равно и фельд'егеря Уклонского. Походный ужин незатейлив: два блюда; стало быть он недолго продолжался, но россказни Уклонского заставили просидеть за столом лишнее время, а может быть и нужно было продлить ужин и для других целей. Генерал после ужина сиживал за столом всегда подолгу; тут бывали разные шутки, россказни и анекдоты; но на сей раз ничего подобного не было, и когда мы встали и люди убрали посуду, то генерал, обратившись ко всем, сказал: «Господа, вы с походу, вероятно, спать хотите, то покойной ночи!» Все стали расходиться.

Под квартиру нам отведена была одна большая комната, но без всякой мебели; нам постлано было на полу и чтобы удержать подушки, наши переметные чемоданы были приставлены к головам. Так было и у постели Грибоедова.

[1] О всех этих офицерах кавказской армии см. в воспоминаниях Н. Н. Муравьева-Карского.

Мы с Жихаревым разделись и легли. Сергей Ермолов раздевался, но по обыкновению спорил с Грибоедовым и защищал Москву, которую Грибоедов, как и всегда, клеймил своими сарказмами. Грибоедов не раздевался. Вдруг отворяются двери и является дежурный по отряду полковник Мищенко, но уже в сюртуке и шарфе, точно так и дежурный штаб-офицер Талызин; а за ними фельд'егерь Уклонский. Мищенко подошел к Грибоедову и сказал ему: «Александр Сергеевич, воля государя императора, чтобы вас арестовать. Где ваши вещи и бумаги?» [1]. Грибоедов весьма покойно показал ему на переметные чемоданы, стоявшие в голове нашей постели. Потащили чемоданы на середину комнаты. Начали перебирать белье и платье и, наконец, в одном чемодане на дне нашли довольно толстую тетрадь. Это было «Горе от ума». Мищенко спросил, нет ли еще каких бумаг. Грибоедов отвечал, что больше у него бумаг нет, и что все его имущество заключается в этих чемоданах. Переметные чемоданы перевязали веревками и наложили печати Мищенко, Талызин и Уклонский, у которого оказалась при часах сердоликовая печать [2]. Потом полковник Мищенко сказал Грибоедову, чтобы он пожаловал за ним. Его перевели в другой офицерский домик, где уже были поставлены часовые у каждого окна и двери.

Как мы не устали, но провели эту ночь почти что без сна.

---

[1] В архиве гражданского управления Кавказа сохранилось дело «Об отправлении коллежского асессора Грибоедова в С.-Петербург арестованным и об описании у него бумаг», которое дает возможность установить точно и документально место и время ареста Грибоедова. Отсюда видно, что осмотр чемоданов его был произведен в день прибытия в крепость Грозную Уклонского, т. е. 22 января 1826 года, артиллерии полковником Мищенко и гвардии поручиком Талызиным, в присутствии Уклонского.

[2] По документам «Дела» видно, что чемоданы были вскрыты и все найденные в них бумаги были зашиты в холст, опечатаны печатями присутствовавших и сданы под расписку Уклонскому, а вещи и книги возвращены Грибоедову. Опись бумагам, к сожалению, не была составлена, так что содержание их остается до сих пор неизвестным. Но сохранился список найденных у Грибоедова книг. Здесь были: словарь российской академии, сочинения Державина, географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа, описание Киево-Печерской лавры, краткое описание Киева, народные сербские песни, сербский словарь, старинные малороссийские песни, киевские святцы, «Путешествие по Тавриде» и одна греческая книга.

На утро мы проводили Грибоедова до кургана [1]. Прощаясь, он повторял нам: «Пожалуйста не сокрушайтесь, я скоро с вами увижусь». Так и было: он приехал назад в Тифлис из Петербурга в начале сентября этого же года.

Тут нужно возвратиться к арбе с нашими вещами. Урядник Рассветаев ловко исполнил возложенное на него поручение. Он отыскал арбу, вывел ее из колонны и заставил быков скакать, так что очень скоро прибыли наши люди к назначенному нам флигелю. Тут встретило наших людей приказание елико возможно скорее сжечь все бумаги Грибоедова, оставив лишь толстую тетрадь—«Горе от ума». Камердинер его Алексаша хорошо знал бумаги своего господина; он этим и руководствовал, и не более как в полчаса времени все сожгли на кухне Козловского, а чемоданы поставили на прежнее место в арбу [2].

---

[1] Уклонский с Грибоедовым выехали 23 января в Екатериноград и остановились здесь в ожидании двух запечатанных чемоданов Грибоедова, которые он оставил на хранение во Владикавказе у майора Огарева. Они прибыли только 30 января и тогда же были осмотрены, бумаги из них вынуты, опечатаны и вручены Уклонскому. Здесь также оказалось несколько книг: родословная история о татарах Абульгази, история Бургундии, правила славянского языка Домбровского и Зендавеста в немецком переводе, а также топографическая карта Крыма. См. Е. Г. Вейденбаум, «Кавказские этюды», стр. 265.

[2] Шимановский предполагал, о чем Давыдов в своих воспоминаниях говорил открыто (см. ниже), что «Ермолов, желая спасти Грибоедова, дал ему время и возможность уничтожить многое, что могло более или менее подвергнуть его беде»; см. также рассказ Бегичева об этом, записанный Д. Смирновым. По мнению исследователя, действительно «можно считать установленным, что Грибоедов был предупрежден об аресте». Недавно же опубликованные материалы представляют этот эпизод в таком свете: Ермолов, спасая Грибоедова, делал это, спасая себя. В дневнике А. И. Тургенева, в печати целиком еще неизвестном и хранящемся в рукописном отделении Библиотеки Академии Наук СССР, под 15 декабря 1837 года имеется запись: «Вечер у Пушкиных до полуночи... О М. Орл(ове), о Кисел(еве), Ермол(ове) и к(нязе) Менш(икове). Знали и ожидали, «без нас не обойдутся»; а под 9 января записано: «Я зашел к Пушкину: он читал мне свои postiche на Вольтера и на потомка Jeanne d'Arc. Потом он был у меня и мы рассматривали франц(узские) бумаги и заболтались до 4 час(ов). Ермол(ов), Орл(ов), Киселев все знали и ожидали «без нас дело не обойдется». Ермол(ов), желая спасти себя — спас Грибоедова. Узнав, предварил его за два часа». См. «Из дневника А. И. Тургенева» в исследовании П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». Изд. третье, просмотренное и дополненное. Л. 1928 г., стр. 274, 278 и 285.

Так совершилось это важное для Грибоедова событие, и потому-то он нам на прощании с такой уверенностью говорил: «Я к вам возвращусь». Сего, конечно, не случилось бы, если бы бумаги его уцелели [1]. Да это дело прошлое; но нужно бы Грибоедову это помнить и быть благодарным. Но не так вышло, а совершенно противное.

В сентябре 1826 года я был командирован по службе на Кавказскую линию. В'езжая на казачий мост в Коди, я встретил Грибоедова, на его обратном пути. Из Москвы он ехал вместе с Денисом Васильевичем Давыдовым. Долго я просидел с ними; но этот случай подробно рассказан Денисом Васильевичем в его Записках, изданных в Лейпциге [2]. Говорено было не мало, да ума-разума не стало! [3]. Старинная поговорка.

Последнее слово о Грибоедове. Его товарищи не любили; у него был характер непостоянный и самолюбие неограниченное. Вот для образца один случай. Когда, по приезде в станицу Червленную, он еще жил у меня в хате, раз приходит к нам Сергей Ермолов и, разумеется, разговор перешел на Москву. Ермолов хорошо знал по Москве Степана Никитича Б[егиче]ва и спросил Грибоедова, как он мог с этим увальнем и тюфяком так подружиться? Грибоедов с живостию отвечал: «Это потому, что Б[егиче]в первый стал меня уважать». А потом он же вывел

---

[1] Уклонский вместе с Грибоедовым и его бумагами вез в Петербург к начальнику штаба Дибичу следующее секретное письмо Ермолова, датированное 23 января: «Господин военный министр сообщил мне высочайшую государя императора волю взять под арест служащего при мне коллежского ассесора Грибоедова и под присмотром прислать в Петербург прямо к его императорскому величеству. Исполнив сие, я имею честь препроводить господина Грибоедова к вашему превосходительству. — Он взят таким образом, что не мог истребить находившихся у него бумаг, но таковых при нем не найдено, кроме весьма немногих, кои при сем препровождаются. Если же бы впоследствии могли быть отысканы оные, я все таковые доставлю. В заключение имею честь сообщить вашему превосходительству, что господин Грибоедов во время служения его в миссии нашей при Персидском дворе и потом при мне, как в нравственности своей, так и в правилах не был замечен развратным и имеет многие хорошие весьма качества». — П. Е. Щеголев. «Грибоедов и декабристы»... стр. 105

[2] Ошибка — в Лондоне.

[3] См. ниже в воспоминаниях Дениса Давыдова.

этого своего друга на сцену в «Горе от ума» в лице Платона Михайловича [1].

Изо всех действовавших лиц в настоящем событии я один остался в живых, и что написал, то написал верно.

---

[1] Весьма мало вероятное утверждение. О прототипе Платона Михайловича ср. в примечаниях к воспоминаниям Е. П. Соковниной.

Д. И. Завалишин

ВОСПОМИНАНИЯ О ГРИБОЕДОВЕ

Д. И. Завалишин (1804—1892), член Северного тайного общества, один из культурнейших деятелей декабризма. Уже 17-ти лет состоял в Морском корпусе преподавателем астрономии, высшей математики, морской тактики. Как лейтенант флота он быстро выдвинулся благодаря кругосветному путешествию в 1822 году с Лазаревым. Был дружен с братом А. А. Бестужева-Марлинского, моряком Николаем Бестужевым, благодаря чему вращался в петербургских литературных кругах. По делу декабристов был осужден по первому разряду на смертную казнь, замененную ему бессрочной каторгой. По выходе на поселение жил в Чите, впоследствии сделался литератором, написал известную книгу «Записки декабриста». По возвращении в Россию в 1863 году, Завалишин поселился в Москве, где продолжал свою литературную деятельность, начатую еще в Сибири, состоял сотрудником нескольких газет и журналов.

«Воспоминания о Грибоедове» были напечатаны самим Завалишиным в журнале «Древняя и Новая Россия» 1879 г., № 4, стр. 311—321. В свои «Записки декабриста» он не ввел этих воспоминаний, а сделал только некоторые мелкие дополнения, которые приведены нами в подстрочных примечаниях.

Я никогда не воображал, что мне придется говорить в настоящее время о Грибоедове, хотя и мог сообщить многое о нем. Я полагал, что обнародование того, что мне известно, совершится только в таком случае, когда явятся в свет мои записки, что предполагалось не в близком еще будущем, вероятно не скоро даже и после моей смерти. Но вот, когда по поводу совершившегося пятидесятилетия со времени преждевременной кончины Грибоедова все стали говорить и писать о нем, и я увидел, что и в рассказах, и в напечатанных даже статьях многое совершенно несогласно с тем, что мне достоверно известно, я пожелал прочесть и сверить с моими воспоминаниями все, по возможности, что до сих пор было известно об этом писателе, не желая напол-

нять свои записки излишними повторениями того, что было уже известным и без меня. Но не имея возможности все отыскивать самому, я естественно пожелал прочитать такое из последневышедших жизнеописаний Грибоедова, которое составляло как бы свод всего, что сохранилось о нем не только в печати, но и в предании, и мне указано было для этого на собрание сочинений Грибоедова, с предисловием, написанным профессором Веселовским [1].

Прочитавши предисловие, я увидел, что по недостаточности и ненадежности источников, по сбивчивости и противоречиям в преданиях, многое представлено в ошибочном виде. Это, конечно, вина не профессора. Он мог извлекать сведения только из того материала, который был известен: но с моей стороны, коль скоро я увидел, что вещи вполне мне известные представлены не так, как происходили они в действительности, я счел уже своей обязанностью безотлагательно сделать замечания на все найденное мною ошибочным и указать на явные противоречия и несообразности в некоторых преданиях, затемненных и искаженных временем, присоединив такие дополнения, которые оказались необходимыми для связи и большей ясности.

Я был знаком с Грибоедовым в продолжение, правда, только очень короткого времени, но зато это время было самое критическое для него, самое важное и самое опасное; время,—в которое он подвергался наиболее и искушениям, и испытаниям. Это было именно в исходе 1824 и в начале 1825 года; и затем я сидел вместе с ним в здании Главного штаба. Таким образом, я был и свидетелем его сношений с членами тайного общества (мне не раз случалось и обедать и проводить вечер с ним и с главными членами у Одоевского), и, конечно, единственным лицом, с которым Грибоедов мог, в здании Главного штаба, говорить вполне откровенно и о последних событиях, и о своих отношениях к лицам, принимавшим в них участие, зная, что эти отношения мне и без того коротко известны.

Могу сверх того сказать, что Грибоедов сам искал знакомства со мною, так как и приезд мой из Калифорнии в Петербург,

[1] Это пятый выпуск «Русской Библиотеки», издаваемой редакцией «Вестника Европы», посвященный А. С. Грибоедову и редактированный Алексеем Веселовским. В это издание вошли: биография Грибоедова, написанная редактором, «Горе от ума», поэтические произведения, статьи и письма Грибоедова. Некоторые произведения здесь были впервые опубликованы.

и таинственность, которая его окружала, наделали тогда не мало шуму в Петербурге и возбуждали общее любопытство [1]. В особенности же он желал познакомиться со мною еще и потому, что слышал, будто я не похож на тех либералов, которых он преследовал своими сарказмами, которые, повторяя только заученные либеральные фразы, порицали других, а сами относились вполне небрежно и к служебным и к общественным своим обязанностям. О мне же Грибоедов слышал, как и сам сказал это мне, рекомендуясь, что по свидетельству и начальников, и сослуживцев, и товарищей, я всегда был строго исполнителен во всех моих обязанностях, делая даже более того, что имели право и могли от меня требовать, несмотря на то, что почти всегда я занимал не одну должность. Исполняя желание Грибоедова, его познакомил со мною один из его почитателей, Орест Михайлович Сомов, у которого он часто бывал между прочим и потому, что у Сомова жил тогда Александр Бестужев, писавший в то время литературные обозрения, с которым поэтому и Грибоедов был в частых литературных сношениях [2]. Сомов же чрезвычайно уважал также и меня, и выразил это при одном случае даже письменно, и притом в таких выражениях, что это подало впоследствии повод к запросу ему из следственного комитета, так как в захваченных у меня книгах и картинах найден был перевод Сомова «Записок Вутье» (о борьбе греков против турок), с надписью переводчика на адресованном мне экземпляре: «Другу людей и истинно человеку», а между висевшими на стене картинами взят был и подаренный Сомовым же большой гравированный портрет Лафайета. Знакомство же мое с Сомовым произошло вследствие того, что я, принимая тогда большое участие в преобразовании, по моему проекту, управления колониями Российско-Американской компании, почти ежедневно

[1] Завалишин в 1823 году, вернувшись из Америки, представил Александру I проект для преобразования русско-американских колоний, к которым, по его мысли, должна была быть присоединена и часть Калифорнии. Для рассмотрения этого проекта был образован особый комитет, под председательством Аракчеева, из гр. Нессельроде, гр. Мордвинова и Шишкова.

[2] О. М. Сомов — один из первых русских литераторов, занимавшихся журналистикой, как ремеслом. В те годы был ближайшим помощником Булгарина по «Северной Пчеле»; этим и об'ясняется его близкое знакомство с Грибоедовым. В конце 1820-х годов Сомов порвал с Булгариным и поступил на службу к Дельвигу, который поручил ему техническую сторону своих изданий.

заседал в собрании директоров компании и часто заходил по делам к жившему в доме компании Сомову, который, хотя и считался только помощником секретаря, но на деле был главным делопроизводителем, так как Рылеев, исправлявший должность секретаря, мало занимался делами, на что, как и сообщает это Греч, частенько жаловались директоры; но сменить Рылеева не могли, потому что он пользовался покровительством Мордвинова, состоявшего в числе официальных покровителей компании, и потому имевшего влияние на выбор и самих директоров.

Еще чаще виделся я с Грибоедовым у Александра Ивановича Одоевского, у которого Грибоедов даже жил (оба они, и Грибоедов и Одоевский, были в родстве с супругою И. Ф. Паскевича, урожденною Грибоедовой, и потому отчасти в родстве и между собою), или, по крайней мере, часто просиживал подолгу, потому что мне нередко случалось, заходя по делам к Одоевскому, рано утром, и иногда притом и по два дня сряду заставать за утренним чаем и Грибоедова вовсе еще не одетого, а в утреннем костюме.

На указанные в жизнеописании Грибоедова отношения его к Одоевскому я и начну именно свои замечания. Мнение, что Одоевский мог «охранять страстного и порывистого Грибоедова от всяких уклонений в сторону», положительно ошибочно.

Такого влияния Одоевский никак не мог иметь, по двум весьма важным и очевидным причинам. Во-первых, не много можно найти людей способных так увлекаться, как увлекался Одоевский. Редко встречаются люди, так легко переходящие от восторженного удивления к самому язвительному порицанию, от дружбы к вражде и обратно, как это случалось с Одоевским и очень часто без достаточного для того основания. Я полагаю, что не ошибусь, если скажу, что в целом казематском обществе едва можно насчитать три, четыре человека (могу говорить беспристрастно, потому что был именно в числе их), которых Одоевский не задел бы своими эпиграммами, нередко весьма язвительными, как, например, известная эпиграмма на А. З. М[уравьева] [1].

[1] Завалишин предполагает здесь эпиграмму:

«Сначала он полком командовал гусарским!
Потом убийцею быть вызвался он царским!
Теперь он зубы рвет
И врет».

Направлена она против А. З. Муравьева, полковника ахтырского гусарского полка; в «Росписи государственным преступникам», по делу

Даже и те из наших дам, казематского общества, которых он же превозносил в восторженных стихотворениях, не избегли его эпиграмм при малейшем на них неудовольствии. Впрочем, слишком известная неустойчивость Одоевского в идеях и в отношениях к людям засвидетельствована им самим в резком противоречии ответа на послание Пушкина и дифирамба на наводнение 1824 года в Петербурге, с одной стороны, с известным стихотворением «К отцу», с другой.

Понятно, думаю, поэтому, что человек до такой степени способный сам к увлечению, не мог охранять от увлечений других. Сверх того существовала и другая, самая естественная причина, почему Одоевский никак не мог быть ментором Грибоедова. В первую эпоху пребывания Грибоедова в Петербурге, Одоевский был еще дитя: в последний же приезд Грибоедова в северную столицу, в 1824 году, Грибоедов был уже вполне возмужалый человек, лет тридцати, достаточно уже опытный в жизни, тогда как Одоевский был все еще почти юношей, и притом едва только произведенным в корнеты из юнкеров, следовательно ни в каком отношении не мог иметь опытности, необходимой для руководства других [1].

---

14 декабря он находится во втором разряде: «Умышлял на цареубийство собственным троекратным вызовом на совершение оного». Будучи в Сибири он увлекался медициной, изучил зубоврачебное искусство и по свидетельству доктора Н. А. Белоголового мастерски рвал зубы. — Об этой эпиграмме С. В. Максимов в своем письме А. Е. Розену, не приводя ее, писал: «Характерный экспромт в четырех стихах, обрисовавший прошедшее и настоящее А. З. Муравьева»; см. Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского, 1883 г., стр. 209. — Впервые экспромт был опубликован в статье П. Е. Щеголева «Неизданные стихотворения кн. А. И. Одоевского» в «Литературном Вестнике», 1904 г., т. VIII, стр. 203—205. Ср. И. А. Кубасов «Декабрист А. И. Одоевский и новонайденные его стихотворения». П. 1922 г., стр. 21 и 79.

[1] Об отношениях Грибоедова к Александру Одоевскому красноречиво свидетельствует его письмо к Паскевичу от 3 декабря 1828 года, в котором он ходатайствовал о «несчастном Александре Одоевском», т. е. о переводе его из Сибири на Кавказ. О другом своем друге — декабристе А. А. Бестужеве он также ходатайствовал: «Грибоедов взял слово с Паскевича мне благодетельствовать, даже выпросить меня из Сибири у государя. Я видел на сей счет сделанную покойником записку... Благороднейшая душа. Свет не стоил тебя... По крайней мере я стоил этой дружбы и горжусь этим», — писал А. А. Бестужев из Дербента в 1832 году Н. А. Полевому — «Русский Вестник» 1861 г., № 3,

Но Одоевский, действительно, сослужил добрую службу Грибоедову, хотя и по совету других, охранив его в одном, весьма важном для последствий отношении. Дело в том, что в продолжение долгого, восьмилетнего отсутствия Грибоедова из Петербурга, именно сильнее, чем когда-либо до того, развилось в этой столице тайное общество, и в нем получили значение люди мало известные и даже вовсе неизвестные Грибоедову. Вследствие этого понятно, что Грибоедов, человек увлекающийся и крайне неосторожный в выражениях, легко мог вдаваться в излишнюю откровенность даже с такими людьми, которые, при случае, могли выдать и Грибоедова, как выдали других. Вот от слишком интимных сношений и политических разговоров с такими людьми, указанными Одоевскому, он и предостерегал Грибоедова, верившего ему, зная его к себе привязанность и не оскорблявшегося поэтому его советами, как легко мог по самолюбию оскорбиться, если бы советы подавал кто другой. Особенно важно было предостеречь Грибоедова от слишком откровенных политических рассуждений с теми из членов тайного общества, которые не славились ни скромностью, ни твердостью характера, но с которыми Грибоедову приходилось часто видеться по литературным отношениям, как, например, с А. Б[естужевым] [1]. Это действительно и спасло впоследствии Грибоедова, потому что его близкие сношения были с такими только членами, которые ни одним словом

стр. 321. — Ср. Н. Пиксанов. «К характеристике Грибоедова. Поэт и ссыльные декабристы» — «Русские Ведомости» 1911 г., № 263 и Е. Г. Вейденбаум. «Декабристы на Кавказе» — «Русская Старина» 1903 г., № 6.

[1] «А. Б(естужев), при первом же спросе ген. Левашовым, написал целый список имен, включив в число членов тайного общества даже и таких лиц, которых считал членами только по догадке, хотя они и не были ими. По такому валовому списку и были именно арестованы, и я, как сказал мне сам ген. Левашов (при первом арестовании меня), и Грибоедов; но относительно его, А. Б(естужев) не мог ничего представить, кроме догадок». (Примечание Д. И. Завалишина).

Все эти замечания являются ошибочными; по словам П. Е. Щеголева, видевшего в бумагах следственной комиссии по делам декабристов список Бестужева, ряд названных в нем лиц вовсе не велик, «всего несколько человек, которые и без того были бы взяты. В этом списке нет Грибоедова, а показания Бестужева исключают всякую возможность предположения Завалишина. Сам же Завалишин был взят вторично по доносу собственного брата (см. П. Е. Щеголев. «Грибоедов и декабристы», стр. 102).

не компрометировали ни его, ни других, даже таких, на кого иные члены делали уже показания, хотя и бездоказательные [1].

Странно мне также показалось в приложенном к собранию сочинений Грибоедова мнении Белинского, что рукопись «Горя от ума» начала будто бы ходить по рукам только с 1832 года (если это не опечатка — вместо 1823 г.). Отправляясь в отпуск в приволжские губернии с поручением от общества в начале ноября 1825 года, я сам привез в Москву полный экземпляр, списанный мною еще весной того года, в числе других, на квартире Одоевского, под общую диктовку, с подлинной рукописи Грибоедова, даже с теми изменениями, которые он делал лично сам, когда ему сообщали, по его же собственной просьбе, некоторые замечания, особенно на те выражения, которые все еще отзывались как бы книжным языком. Я имею основание думать, что если и другой кто привозил в Москву рукописи «Горя от ума», то мой экземпляр был из всех привезенных туда и самый полный, и самый исправный [2].

---

[1] Интересно отметить то, что в своих показаниях Бестужев не только выгораживал своего друга, но и дал высокую оценку ума и таланта Грибоедова: «С Грибоедовым, как с человеком свободомыслящим, я нередко мечтал о желании преобразования России. Говорил даже, что есть люди, которые стремятся к этому, — но прямо об обществе и его средствах никак не припомню, чтобы упоминал. Да и он как поэт желал этого для свободы книгопечатания и русского платья. В члены же его не принимал я, во-первых, потому, что он меня и старее и умнее, а во-вторых, потому, что жалел подвергнуть опасности такой талант; в чем и Рылеев был согласен. Притом же прошедшего 1825 г. зимою, в которое время я был знаком с ним, ничего положительного и у нас не было. Уехал он в мою бытность в Москве, в начале мая, и Рылеев, говоря о нем, ни о каких поручениях не упоминал. Что же касается до распространения членов в корпусе генерала Ермолова, я весьма в том сомневаюсь, ибо оный, находясь вне круга действия, ни к чему бы нам служить не мог».

[2] Это было осенью 1825 года, когда в среде Северного Общества возникла мысль разослать эмиссаров в провинцию, чтобы изучить на местах политические взгляды и настроения общества. «Литературные деятели (Северного тайного общества) захотели воспользоваться предстоящими отпусками офицеров для распространения в рукописи комедии Грибоедова «Горе от ума», не надеясь никаким образом на дозволение напечатать ее. Несколько дней сряду собирались у Одоевского, у которого жил Грибоедов, чтобы в несколько рук списывать комедию под диктовку», — пишет Д. И. Завалишин в своих «Записках декабриста» (Мюнхен, 1904 г., стр. 173—174). — Когда декабристу барону В. И. Штейнгелю пришлось отвечать Следственной Комиссии, «какие

В Москве остановился я в доме Ивана Николаевича Тютчева, супруга которого была родная сестра моей мачехи. Привезенным мною экземпляром «Горя от ума» немедленно овладели сыновья Ивана Николаевича, Федор Иванович (известный поэт, с которым мы жили вместе в Петербурге у графа Остермана-Толстого) и Николай Иванович [1] — офицер гвардейского генерального штаба, а также и племянник Ивана Николаевича, Алексей Васильевич Шереметев, живший у него же в доме (в Армянском переулке, где ныне заведение Горихвостова). Как скоро убедились, что списанный мною экземпляр есть самый лучший из известных тогда в Москве, из которых многие были наполнены самыми грубыми ошибками и представляли сверх того значительные пропуски, то его стали читать публично в разных местах, и прочли между прочим у кн. Зинаиды Волконской, за что и чтецам и мне порядочно-таки намылила голову та самая особа, которая в пьесе означена под именем кн. Марьи Алексеевны. Упомянувши же о ней, скажу здесь кстати, что тогда под именем князя Григория все разумели кн. П. А. В[яземского], слывшего за англомана. Это знал и он сам и смеялся над этим, когда мы бывало собирались у Оржицкого [2], у которого он обедал иногда, и где в его присутствии был также прочитан привезенный мною экземпляр «Горя от ума». Что же касается до Татьяны Юрьевны, то тут автор действительно разумел Прасковью Юрьевну К[ологривову], прославившуюся особенно тем, что муж ее, однажды спрошенный на бале одним высоким лицом, кто он такой, до того растерялся,

---

сочинения наиболее способствовали развитию в нем либеральных взглядов», он указал «из ненапечатанных» на Грибоедова.

[1] «С Николаем Ивановичем мы жили также вместе в доме кн. Александры Николаевны Волконской, пока гр. Остерман не заставил меня перейти к нему. Николай Иванович был очень дружен с Чевкиным, также офицером гвардейского штаба, почему Чевкин не только бывал у него почти ежедневно, но нередко и дежурил за него. Николай Иванович был довольно ленив по службе, и часто просыпал по утру, когда ему следовало в дежурство. В таком случае камердинер его обыкновенно посылался бегом к Чевкину, просить его отдежурить за Тютчева. Ответ был всегда один: «согласен с тем, чтобы прислать за мной дрожки, и был бы готов кофе». (Примечание Д. И. Завалишина).

[2] Декабрист Н. Н. Оржицкий, с которым лично был знаком и Грибоедов. См. его письмо к А. Бестужеву от 22 ноября 1825 г.

что сказал, что он муж Прасковьи Юрьевны, полагая, вероятно, что это звание важнее всех его титулов [1].

Перехожу теперь к описанию нахождения Грибоедова в здании Главного штаба и к следствию над ним по поводу предполагаемого участия его в действиях тайного общества. Во всем этом описании почти все неверно, и одно предание явно несогласимо с другим. Полагаю, что всякому должно броситься в глаза резкое противоречие того, что будто бы он «прямо написал в ответе, что знал и о том, что делается; знаком был с тем или другим лицом», с далее сообщаемым рассказом, что он же, по совету, в комитете, какого-то важного лица, во всем заперся, и написал: «Знать ничего не знаю и ведать не ведаю». Правда, в двух этих рассказах, очевидно, подчерпнутых из двух разных преданий, лежит в основании кое-что и действительно происходившее, и только все отнесено не к тому месту, где происходило, и не к тому лицу, которое старалось подействовать на Грибоедова, чтобы заставить его изменить предполагавшееся было первоначальное показание.

В действительности же вот как происходило все дело: все арестованные позже, как Грибоедов и я (при втором арестовании меня), когда крепость была уже битком набита, помещались предварительно в здании Главного штаба, в котором во время нашего там пребывания с Грибоедовым перебывали таким образом: генерал Кальм, граф Мошинский, Сенявин (гвардейский полковник, сын адмирала), братья Раевские, князь Баратаев (симбирский губернский предводитель дворянства), полковник Любимов (командир тарутинского полка), князь Шаховской (сосланный потом на поселение в Сибирь и там помешавшийся) и др. Затем, смотря по тому, что окажется по исследованию, подтверждались или нет показания, по которым были арестованы привозимые в Главный штаб, их или переводили в крепость, или выпускали на свободу, а в случае наложения дисциплинарного наказания (перевода из гвардии в армию, посылки на Кавказ, временного заключения в какой-либо крепости и т. п.) отправляли туда, куда было назначено.

Для содержавшихся в Главном штабе отведено было помещение в комнатах, предназначенных для тогдашнего начальника

[1] О ней см. С. Ш(е р е м е т е в). «Из семейной хроники. По бумагам Остафьевского архива князей Вяземских» — «Старина и Новизна» 1903 г., т. VI, стр. 314—339.

штаба первой действующей армии Толя, на случай приезда его в Петербург, что бывало часто. Сначала наше помещение состояло из одной только длинной комнаты, в роде залы (служившей, конечно, Толю приемной) и небольшой прихожей (в которой стоял часовой); но когда число арестованных умножилось, то к зале прибавили еще очень небольшую комнатку, служившую, судя по мебели, и кабинетом, и спальнею Толя, и в ней-то поместили и меня, и Грибоедова, а иным (как напр., Кальму, Мошинскому и др.) дали потом совсем отдельное помещение [1].

Надзор за нами был, действительно, поручен тому лицу, как показано в разбираемом жизнеописании Грибоедова, т. е. армейскому офицеру Ж[уковском]у, но совершенно ошибочно мнение, будто бы источником деланных им послаблений Грибоедову (при-

[1] Интересное описание комнаты с арестованными в Главном штабе сохранилось в воспоминаниях И. П. Липранди, который был привезен в штаб вскоре за Грибоедовым. «Невозможно описать впечатления той неожиданности, которою я был поражен: открывается дверь, в передней два молодые солдата учебного карабинерного полка, без боевой аммуниции; из прихожей стеклянная деврь, чрез нее я вижу несколько человек около стола за самоваром; все это во втором часу пополуночи меня поражало. «Вот, господа, еще вам товарищ!» — сказал Жуковский; все глаза обратились на меня. Здесь сидели за чайным столом: бригадный генерал 18-й дивизии, Кальм; известный Грибоедов; ад'ютант Ермолова, Воейков (оба привезенные с Кавказа), отставной подпоручик генерального штаба А. А. Тучков (старший брат бывшего в Москве генерал-губернатора) и предводитель дворянства Екатеринославской губернии Алексеев, человек около шестидесяти лет и, как оказалось, привезенный по ошибке вместо своего сына, гусара. Из всех их я знал только Кальма. Поздний чай произошел оттого, что Воейков и Грибоедов были на допросе в комиссии, находящейся в крепости. Через час мы все были как старые знакомые. Предмет разговора понимается: вопросам, расспросам и взаимно сообщавшимся сведениям не было конца. Содержались мы на свой счет, обед брали из ресторации; позволено было выходить вечером с унтер-офицером для прогулки. Немногие, однако же, желали пользоваться сим; книг, набранных Грибоедовым от Булгарина, было много... Из бывших со мной я освобожден был первый, за мной Алексеев. Видевши, что некоторые получали дозволение посещать прежних соузников моих, я испросил чрез Яковлева позволение делать то же и, получив оное, почти ежедневно бывал у них. Общество таких людей, и особенно в тогдашние минуты, было для меня большим наслаждением от службы. Вообще частности этого замечательного периода не безынтересны, но здесь вовсе неуместны». См. И. П. Липранди. «Замечания на воспоминания Ф. Ф. Вигеля» — «Чтения в обществе истории и древностей Российских» 1873 г., № 2, стр. 234—235.

бавим: и всем другим в той же мере) было уважение к произведению Грибоедова. Напротив, вначале наш надзиратель очень стеснял всех без различия, и Грибоедова в том числе, и вероятно к этому-то времени и относится показание, что Грибоедов ссорился с надсмотрщиком. Перемене же отношений надзирателя к нам мы обязаны исключительно полковнику Любимову. Произошло это, таким образом, по рассказу мне самого Любимова: почти одновременно привезены были и Любимов и кн. Баратаев; но между тем как Баратаев, рассчитывая вероятно на то, что уж о каждом его действии непременно будут доносить, требовал себе постной пищи (это было великим постом) и твердил надзирателю, что привык соблюдать все посты, полагая, что это будет иметь влияние и на Ж[уковско]го и на следователей, Любимов, как опытный служака, взялся за дело более «практическим» способом [1]. Сообразив, что Ж[уковский] должен быть не богат и не имеет ходатаев, если, живя в Петербурге, служит не в гвардии, и пораспросив кое о чем, Любимов вдруг озадачил его следующим предложением: «Ты брат (надо сказать, что Любимов, как и многие другие старые полковые командиры, напр., Аврамов, Тизенгаузен и др., находившиеся даже в крепости, чрезвычайно импонировали тем, что ко всем обер-офицерам обращались так, как привыкли обращаться к ним в своем полку, и такова сила общей привычки и влияния названия «полковой командир», что и Ж[уковский] в штабе, и плац-ад'ютанты в крепости находили это вполне естественным и не думали обижаться), ты брат, как я вижу, не богат ни средствами, ни протекцией, а можешь иметь и то и другое, если сумеешь воспользоваться случаем, оказывая услуги тем значительным лицам, которых привела судьба под надзор к тебе. Для начала сделай вот, что я тебе скажу: вот тебе записка к графине А. И. К. (зять ее служил у Любимова в полку, в который переведен был из старого семеновского полка, при раскассировании сего последнего), по этой записке ты получишь десять тысяч рублей. Сколько из этого ты дашь другим, сколько

[1] «Подобный способ употребляли с успехом и другие. Так, одна дама, сын которой находился уже в крепости, убедила таким образом одного плац-ад'ютанта, чтобы он уговорил всех сделавших на ее сына немаловажные показания отказаться от них на очных ставках. Так и было сделано; и вследствие этого сын ее, вместо того, чтобы попасть в один из высших разрядов, в который попали его товарищи, одинаково с ним замешанные по делу, отделался одним дисциплинарным штрафом». (Примечание Д. И. Завалишина).

останется у тебя — мне до этого нет дела! Ты, конечно, знаешь, у кого в следственной комиссии хранятся заарестованные у нас вещи и бумаги, и должен из моего портфеля вынуть такой-то запечатанный пакет и привезти его мне. Рассмотреть мои бумаги в комитете никоим образом не могли еще успеть: это я вижу из вопросных пунктов, а потому вы мне и не говорите, что будто бы вы не нашли пакета, или что истребили его там, он должен быть передан мне в руки». Как было сказано, так было и сделано. Любимов истребил компрометировавшие его бумаги и отделался, кажется, шестимесячным арестом.

Понятно, что после этого наши отношения к Ж[уковском]у должны были перемениться, так как не Любимов уже был от него в зависимости, а наоборот. Но послабление относительно одного лица неизбежно влекло послабления и для других, а отступление от инструкции в одном вело к отступлению и в другом, так что Ж[уковски]й попал, наконец, в полную зависимость от нас во всем. Впрочем, он благодушно подчинился этому новому своему положению, и тем охотнее, что ему дали честное слово, что заключенные не позволят себе ничего, что в политическом отношении могло бы его компрометировать (как например, побег, опасные сношения, или переписка, и т. п.). Мало-по-малу Ж[уковски]й сам так втянулся в новое направление, что скорее мы уже должны были напоминать ему о необходимой осторожности, чем он нам. Благо никто его не ревизовал, да никто из комитета к нам и не входил, потому что все бумаги к нам из комитета и от нас туда шли чрез Ж[уковского], а если кого требовали в комитет, то и об этом извещали его же накануне, то и дошло до того, что даже часовые превратились в нашу прислугу. Мы обыкновенно запирались изнутри на ключ, а часовой ставил ружье в угол, снимал кивер, суму и мундир, надевал шинель и фуражку и отправлялся за покупками, за обедом, за книгами и проч. Наконец, Ж[уковски]й этим не ограничился. Смелость его росла не по дням, а по часам. Не видя никаких дурных для себя последствий от установившегося порядка, он пошел далее, но не для нашего уже облегчения, а чисто для своего удовольствия. Узнавши, что Грибоедов хорошо играет на фортепиано, Ж[уковский], как любитель музыки, стал водить его и меня в кондитерскую Лоредо, находившуюся на углу Адмиралтейской

площади и Невского проспекта. Водил он, впрочем, не в самую кондитерскую, а в небольшую комнатку, примыкавшую к ней и, вероятно, принадлежавшую к помещению самого хозяина, с которым Ж[уковский] был, повидимому, коротким приятелем, потому что, заказывая угощение (разумеется за наш счет), он не пускал к нам никого из прислуги кондитерской, а, что было заказано, приносил или сам, или хозяин. В этой комнате стояло фортепиано; мы приходили обыкновенно часов в 7 вечера и проводили там часа полтора; Грибоедов играл, Ж[уковский] слушал его, а я читал газеты.

Об этих наших путешествиях не знал, однако же, никто даже из наших товарищей по заключению, потому что Ж[уковский] боялся, чтоб не стали проситься в кондитерскую и другие; все думали, что он уводит нас играть в шахматы в свою комнату, которая была смежною с нашей и дверь которой он всегда запирал на ключ, даже когда входил к нам. Раз, однако же, случилось, что такое наше путешествие могло кончиться очень неблагополучно, если бы нечаянный свидетель его был менее доброжелателен и скромен. Мы обыкновенно ходили к Лореду не по Адмиралтейской площади, что было бы ближе, а проходили под арку Главного штаба, затем шли по Невскому проспекту и входили в упомянутую выше комнатку чрез внутренний двор, а не с парадного входа в кондитерскую. И вот, однажды, проходя именно под аркой, по одной стороне, мы встретились с идущим по другой одним самым близким мне знакомым гвардейским офицером. Увидев меня, он остолбенел, но я сделал вид, что не замечаю его, и только выходя уже из-под арки, я оглянулся и увидел, что он поворотил назад и, сделавши несколько шагов за нами, остановился, развел руками и затем, постояв немного, снова поворотил и пошел прежней своей дорогой. Впоследствии я узнал, что этот знакомый, занявший потом одно из самых высших мест в государстве, рассказал было близким мне людям, что должно быть меня освободили, потому что он меня встретил, но так как мое освобождение не подтвердилось, то говорил, что он, вероятно, опознался, и что, действительно, встретил человека, как две капли воды похожего на меня [1].

---

[1] В архиве Булгарина сохранилось десять записочек, которые тайно присылал к нему Грибоедов из своего заточения. В одной он убеждал Булгарина: «Фаддей, мой друг, познакомься с капитаном

Относительно ответов комитету, совершенно несправедливо, что Грибоедов изменил свое признание на запирательство по совету какого-то важного лица в комитете. Этого не могло быть уже и потому, что бумаги никогда не писались в комитете, что иначе отняло бы у него, разумеется, слишком много времени. Порядок относительно допросов был в комитете таков: запросные пункты посылались в запечатанном пакете туда, где содержался обвиняемый, будь это в здании Главного штаба, в крепости или даже в Алексеевском равелине; ответы шли также в запечатанном пакете, который вскрывали в полном заседании комитета; и тогда, если не находили их удовлетворительными, то призывали обвиняемого в комитет, для очных ставок, для указания противоречий в показаниях или недостаточных пояснений, и в таком случае все, что говорилось в комитете, тут же и записывалось в протокол, и разумеется не самим уже обвиняемым. Таким образом, никто в комитете не мог ни видеть, ни знать, что пишет обвиняемый до вскрытия его пакета и прочтения его ответов в полном присутствии комитета, и, следовательно, никто не мог ни предупредить, ни остановить Грибоедова.

Дело было гораздо проще и естественнее. Грибоедову помог в этом случае тот же полковник Любимов, который и многим давал полезные советы, охотно выслушиваемые, как идущие от весьма опытного и доброжелательного человека. Поводом же к вмешательству Любимова было следующее обстоятельство: братья Р... сбили с толку многих своими рассказами, что для того, чтоб скорей и лучше отделаться, чтоб избежать неприятности проволочки следствия и риска предания суду, надобно, главное, доказать свою откровенность, и основывали это на собственном будто бы примере и на примере других очень известных лиц (кн. С., кн. Л. и др.), которые, как говорили тогда, за полное признание получили полное прощение. Но братья Р... не сообразили, что во всех приводимых ими примерах решительное влия-

---

здешним Жуковским: nous sommes camarades comme cochons, может быть удастся тебе и ко мне проникнуть». Из другой записочки видно, что Жуковский не брезгал и малым: Грибоедов просил Булгарина раздобыть ему для Жуковского народное издание Крылова, которое Жуковский «нынче же должен подарить в именины какой-то ему любезной дамочке».

ние на прощение имели совсем другие причины. Как бы то ни было, но только вследствие этих рассказов братьев Р... некоторые лица (как например, Ф... Т... Г...) наговорили сами на себя всякой небылицы в доказательство откровенности, что, конечно, не послужило им в пользу. Между тем Любимов заметил, что и на Грибоедова вышеупомянутые рассказы братьев Р... произвели большое впечатление, а потому, когда Грибоедову принесли вопросные пункты и он стал писать черновой на них ответ, то Любимов, подойдя к нему, сказал: «Вы знаете, что все, что вы ни напишете, до меня нисколько не касается, потому что у нас с вами не было по обществу никаких сношений. Поэтому я и могу давать вам советы совершенно беспристрастные. Я только желаю предостеречь вас, потому что заметил, из ваших же рассуждений, что рассказы братьев Р... не остались без влияния и на вас, и кроме того, вы готовы на все, лишь бы как-нибудь избавиться от томительной скуки, которая предстоит вам в нашем положении. Я знаю из всех наших здешних разговоров, что действия относительно комитета предполагаются различные, смотря по разным у всякого соображениям, и личным, и политическим. Не знаю, какой системы намерены держаться вы, но ум хорошо, а два лучше. Не по любопытству, а для вашей же пользы я желал бы знать, на какой системе вы остановились? Помните, что первые показания особенно важны»... В ответ на это Грибоедов прочитал ему то, что успел уже написать. Прослушав написанное, Любимов с живостью сказал ему: «Что вы это! Вы так запутаете и себя и других. По нашему, по военному, не следует сдаваться при первой же атаке, которая, пожалуй, окажется еще и фальшивою; да если поведут и настоящую атаку, то все-таки надо уступать только то, чего удержать уж никак нельзя. Поэтому и тут гораздо вернее обычный русский ответ: «Знать не знаю и ведать не ведаю!» [1] Он выработан вековою практикою. Ну что же? Положим, что вам докажут противное; да разве и для судей не

[1] Этот рассказ, вероятно, не соответствует действительности, или не совсем точен. На первом же допросе 11 февраля Грибоедов отозвался полнейшим неведением о существовании общества и признал чисто литературные знакомства с Бестужевым, Рылеевым и Оболенским. Эти первые показания, которые даже не были написаны им собственноручно, а только подписаны, были даны в обстановке, не допускавшей посредничества Любимова: генерал Левашов спрашивал Грибоедова, он отвечал, а писарь записывал.

натурально, что человек ищет спастись каким бы то ни было образом? Хуже от этого не будет, поверьте! А не найдут доказательств, — вот вам и всем хлопотам конец. Вот вам и мой собственный пример: хорош бы я был, если бы сначала так-таки и бухнул признание, а у меня еще были захвачены и опасные бумаги. И на кой чорт берег я письма П...! Но я из вопросных пунктов увидел, что до моих бумаг еще не добрались; доберутся,— знаю, что будет плохо, но все же от отсрочки хуже не будет; и потому на первый случай лучше сказать: знать не знаю! А там на счастье попытаться выручить опасные бумаги. Ну, и вышло отлично; а теперь пусть и обвиняют в том только, что был знаком с П... Ну что ж? Да, был знаком! да как и не стараться быть знакомым со всеми полковыми командирами!.. Сношения по службе беспрестанные, часто щекотливые, а при знакомстве все идет гораздо легче, как спишешься частным путем». Не знаю, насколько подействовали подобные убеждения на Грибоедова, и вследствие ли их, как думал Любимов, или по каким-либо другим соображениям, но только, по словам Любимова, Грибоедов после разговора с ним изорвал написанную было черновую [1].

Говорят также, что Грибоедова «выгораживал» будто бы Ивановский. Никак не могу понять, каким образом это могло быть! Ивановский и Бруевич были чиновниками канцелярии следственной комиссии, но и за ними самими строго наблюдал обер-аудитор (по фамилии, кажется, Попов). По крайней мере, я знаю случай, что когда Ивановский, оставшись с одним обвиняемым, приведенным на очную ставку и дожидавшимся в канцелярии, пока члены комитета пошли закусывать (закуска была от двора), выдумал было вступить в разговор с этим обвиняемым, то обер-аудитор немедленно и резко сказал ему, что он не имеет права разговаривать с находящимися под следствием и пошел в ту же минуту доложить о том членам комиссии. Тот же час пришел Чернышев, произошла весьма бурная сцена, и Ивановскому пришлось оправдываться [2].

---

[1] Здесь, вероятно, Завалишин имеет в виду ответы Грибоедова на вопросные пункты, присланные ему 24 февраля вечером. Вопросные пункты и ответы Грибоедова опубликованы у П. Е. Щеголева.

[2] А. А. Ивановский, делопроизводитель следственной комиссии, принимал, несомненно, участие в судьбе Грибоедова. «Ивановский,

Показаний других против Грибоедова, если они были, Ивановский также не имел возможности скрыть, так как пакеты распечатывались в заседании комитета, и следовательно — все показания становились известными членам комитета или комиссии, прежде чем отдавали их в канцелярию.

Другое дело сами члены комитета; они, действительно, могли оказывать содействие кому хотели; выгораживать кого нужно, или приказано было. Я знаю от своих товарищей, что когда в показаниях, необходимых даже по ходу дела, касались некоторых лиц, близких членам комитета, или таких, которых нужно или приказано было по какому-либо расчету щадить, то делавшему показание обыкновенно говорили: «Вас об этом не спрашивают», и этих показаний не записывали в протокол, как бы важны они ни были даже для раз'яснения всего дела. Кроме того, когда я находился уже в крепости и до перевода в Алексеевский равелин был помещен в одном отделении с М. Ф. О[рловым], то брат его, бывший в дружбе с членами комитета и занявший впоследствии один из важнейших постов в государстве [1], всякий раз, когда арестованному следовало получить вопросные пункты или быть призываемому в комитет, приезжал к нему и говорил, о чем будут спрашивать и что следует отвечать. И нет сомнения, что на окончательное решение и о Грибоедове имело сильное влияние и у членов комитета, и даже выше, заступление, хотя и тайное, Паскевича, получившего уже в то время большое значение.

Что же касается до роли, какую играла в следственном деле комедия Грибоедова, то, действительно, возвратясь однажды от допроса в комитете, Грибоедов сказал нам, что его «мучили»,

---

благороднейший человек, в крепости говорил мне самому и всякому гласно, что я немедленно буду освобожден... С'езди к Ивановскому, он тебя очень любит и уважает; он член вольного общества любителей словесности и много во мне принимал участия. Расскажи ему мое положение и наведайся, чего мне ожидать», — писал Грибоедов из крепости Булгарину 7 марта 1826 г. Булгарин, очевидно, постарался переговорить с Ивановским; см. его письмо к Ивановскому от 19 марта 1826 года в «Русской Старине» 1889 г., № 7, стр. 111. — Ивановский был любителем литературы и близко знал многих писателей; его литературный архив издан В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1888—1890 гг.

[1] Это генерал-ад'ютант А. Ф. Орлов, впоследствии состоявший начальником Третьего отделения и шефом жандармов, членом и председателем Государственного совета и пожалованный княжеским титулом.

доказывая ему, на основании комедии, что он был также членом тайного общества, и что он, на том же основании, доказывал противное; но как он у допроса провел очень короткое время, и притом допрашивали его сверх того и о более важных вещах, то, очевидно, Грибоедов выражение «мучили» употребил только в шутку, и что о комедии речь шла только мимоходом, как бы вводным только эпизодом. К тому же осмеянине Репетилова не могло иметь тогда в глазах следователей такого значения, какое ему приписывают, по той причине, что комитету очень хорошо было уже известно, что именно-то самые серьезные члены общества и восставали сильнее против всех Репетиловых [1].

В заключение должно заметить, что совершенно ошибочно также и то мнение, будто и товарищи и высшие лица искали спасти Грибоедова, как гениального писателя, как «будущую надежду России». Ничего подобного в ту эпоху не было. Для современников молодости Грибоедова и Пушкина они были совсем иные люди, чем для следующих поколений, которые смотрят на них сквозь призму последующих раз'яснений из произведений и действий, и еще чаще судят на основании позднейшей уже их деятельности. Как смотрели на Грибоедова в то время высшие лица, выразил и сам Грибоедов впоследствии, в письмах с Кавказа, хотя значение его как писателя и как полезного служащего (если еще и не государственного деятеля) выразилось уже в то время гораздо более, нежели в 1824 и 1825 годах... Что же касается до людей обычного его круга, равного с ним общественного положения, то в этих годах Грибоедов был для них все еще человек, принесший из военной жизни репутацию отчаянного повесы, дурачества которого были темою множества анекдотов, а из петербургской жизни — славу от'явленного и счастливого волокиты, наполнявшего столицу рассказами о своих любовных

[1] Несомненно сам Грибоедов и не думал сравнивать с Репетиловым лучших представителей общественного движения, из коих многих искренно любил и уважал, но он видел «слабые, ребяческие стороны общества» и это отозвалось в «Горе от ума» монологами Репетилова. Между прочим, Грибоедов не был одинок в своем скептицизме. Приступы сомнений и даже отчаяние испытывали и самые рьяные декабристы, например, Пестель. Были также люди, разделявшие политические взгляды, но не верившие в их осуществимость, например, А. Н. Раевский или А. М. Бакунин, написавший по поводу устава «Союза благоденствия» «длинное письмо, в котором указывал на безнадежность политической революции у нас в России».

похождениях, гонявшегося даже и за чужими женами, за что его с такою горечью и настойчивостью упрекал в глаза покойный Каховский[1]. Известно, что даже «Горе от ума» было тогда принято не в том значении, какое придают этому произведению в настоящее время. Оно сделалось популярно, как было популярно тогда всякое осмеяние чего бы то ни было в тогдашнем порядке вещей (свидетельством служат множество пародий на известные произведения, сделавшиеся даже более любимыми и известными, чем самые произведения), что было очень на руку всеобщему либеральному направлению и как богатое собрание сатир и эпиграмм, дававшее всем возможность задевать разных лиц безответственно, высказывая чужими словами то, чего не решился бы никто высказать как собственное суждение, не рискуя поплатиться за то ответственностью; и надо признаться, что число людей, и притом вовсе не либеральных, радовавшихся появлению комедии для употребления ее в смысле возможности приложения сатиры к известным лицам, было несравненно больше, чем видевших в ней какой-либо гражданский подвиг, да едва ли такие и были.

В старании товарищей не компрометировать Грибоедова не было также ничего особенного, исключительного. Это было лишь следствием наперед условленного, общепринятого правила, стараться не запутывать никого, кто не был еще запутан, а если сам Грибоедов не говорил о сношениях с членами, имевшими особенное значение, то говорить об этих сношениях значило бы добровольно и без нужды выдать самого себя. Кроме того, как об'яснено выше, он, к счастью его, был во время огражден от сношений с нескромными членами[2]. В силу подобных же условий

---

[1] Каховский, погибший преждевременно так несчастно, и притом, по убеждению товарищей, может быть только вследствие грустного недоразумения (ему приписывали то, что легко могло быть дело и другого), был один из самых искреннейших и самых неуклончивых людей, который в числе очень немногих других не задумывался упрекать в глаза и Рылеева за его властолюбие, по которому он старался окружать себя бездарностями и стремился устранять влияние людей истинно даровитых, в которых боялся найти соперников». (Примечание Д. И. Завалишина).

[2] О Грибоедове давали показания декабристы А. И. Одоевский, Рылеев, Трубецкой, Бестужев, Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол, Волконский, Барятинский, Давыдов, Пестель, Оболенский. Все показания участников заговора о принадлежности Грибоедова к их союзу были очень благоприятны для него, за исключением ответа кн. Оболенского.

спасены были и многие другие члены, даже такие, которые были замешаны и посильнее, чем Грибоедов. Наконец, кроме несомненного заступничества Паскевича, Грибоедову благоприятствовали еще и следующие два обстоятельства: он не был в Петербурге в конце 1825 г.; а в тех близких отношениях, в каких он находился к Одоевскому и другим членам общества, никто с уверенностью не мог сказать о себе, на что бы он решился, если бы присутствовал в Петербурге, как о том откровенно сознался пред высшим лицом и Пушкин, даром, что Пушкин даже не был членом общества, хотя и желал им быть, но его не принимали, зная его неустойчивость (versotilité).

Другое важное обстоятельство заключается в том, что, как это сообщено уже в разбираемом жизнеописании Грибоедова, Ермолов, предупредив его об аресте, дал ему возможность истребить компрометирующие его бумаги, в которых, несомненно, было не мало опасного для Грибоедова, в том числе кое-что из собственных его произведений, судя по тому, что многие не раз слышали от него. Некоторые из его напечатанных стихотворений не уступали, например, в резкости Пушкинским стихотворениям известного направления. Здесь кстати сказать, что впрочем и не один Ермолов так поступал. Лица, поставленные и выше Ермолова, делали для других то же самое, что сделал он для Грибоедова. Так, например, вел. кн. Константин Павлович не только предупредил Лунина, но еще долго его отстаивал, давая тем ему возможность истребить все, что, по собственным словам Лунина, могло сильно компрометировать не мало и значительных лиц, из которых иные отличались даже крайними мнениями.

Мнение, будто бы известный Ф[аддей] Б[улгарин] не считался еще тогда таким, каким считали его впоследствии, приводимое в жизнеописании Грибоедова для оправдания его относительно сношений его с Б[улгариным], никак нельзя признать справедливым. Не входя здесь в разбирательство, насколько основательно было вообще мнение о Б[улгарине], и когда он был лучше, когда хуже, я могу сказать только одно, что ни за что так не упрекали Грибоедова люди, даже близкие ему, как за сношения его с Б[улгариным], и это всегда задевало заживо Грибоедова. Относительно других предметов Грибоедов хотя вообще и рассуждал часто горячо, но не доходил никогда до раздра-

жения; только когда осуждали его связь с Б[улгариным], или когда Каховский доказывал ему, что, осуждая у ложных либералов противоречие их действий с провозглашаемыми принципами, Грибоедов и сам не свободен от подобного противоречия, можно было видеть, что Грибоедов чувствовал, что его кольнули в самое больное место. Трудно также понять, к какому времени может относиться разрыв его с Б[улгариным] за излишнюю похвалу, о котором говорится в жизнеописании [1]. Помнится, что и после вторичного от'езда своего в Грузию, он все еще посылал письма в «Северную Пчелу», и что даже писал комплименты Б[улгарину] относительно его «Выжигина». Одоевскому присылали все, что печатал Грибоедов впоследствии, и мне помнится, что об этом был у нас и разговор с Одоевским.

Остается пояснить еще два факта: наблюдения в Киеве и в Крыму, относящиеся к русской истории, были деланы Грибоедовым по просьбе Петра Александровича Муханова, постоянно и специально занимавшегося (даже и впоследствии в каземате) исследованиями относительно древней русской истории; это сказывал мне сам Муханов [1], а что касается до курса математики «Франкера», о присылке которого просил Грибоедов во время заключения его в штабе, то это потому, что, сознавшись мне, что он не очень силен в математике, и зная, что я был преподавателем высшей математики и астрономии в морском корпусе, Грибоедов просил меня, чтоб я «от скуки» занялся с ним математикою [2].

Я мог бы сообщить еще многое о Грибоедове, как потому, что не мало сам был свидетелем, так и потому, что не мало слышал от Одоевского, который беседовал о нем со мною чаще, чем

---

[1] Разрыв произошел из-за фельетона Булгарина «Литературные Призраки» (см. выше), в котором был выведен Грибоедов.

[1] Это наблюдения по древне-русской истории, сохранившиеся в черновой тетради Грибоедова, опубликованной Д. А. Смирновым в «Русском Слове» 1859 г., № 5. — К Н. А. Муханову сохранились три записки Грибоедова.

[2] «Купи мне le Càlcul ditférentiel de Francoeur, по французски или по русски», — писал Грибоедов Булгарину 19 марта из крепости. Это «Дифференциальное исчисление» Франкера, выпущенное в переводе Д. Перевощикова в Москве в 1824 году.

с другими, зная, что мне многое и без того уже известно; но я положил себе ограничиться здесь замечаниями только на то, что изложено уже в разбираемом мною жизнеописании Грибоедова...

В заключение скажу, что из всех портретов Грибоедова я не видел до сих пор ни одного, который напомнил бы мне остроумную физиономию автора «Горя от ума»; по крайней мере, того Грибоедова, каким я знал его в 1824 и 1825 годах.

Д. В. Давыдов

ВОСПОМИНАНИЯ О 1826 ГОДЕ

Первый отрывок воспоминаний известного партизана и поэта Дениса Давыдова извлечен из его «статьи неоконченной» под заголовком «Воспоминания о 1826-м годе», помещенной впервые в альманахе «Русская Беседа» 1841 г., т. II, а затем в первой части «Сочинения Д. В. Давыдова», вышедшей в 1860 году (М., изд. четвертое, исправленное и дополненное по рукописям автора, стр. 12 — 19). Второй отрывок извлечен из книги «Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурою непропущенные. Печатано в типографии кн. Петра Долгорукова». Лондон, 1863 г., стр. 44—48; в главе «Анекдоты о разных лицах, преимущественно об Алексее Петровиче Ермолове» помещены с дополнениями, полной расшифровкой имен и иногда в другой редакции отрывки о Грибоедове из «Воспоминаний о 1826-м годе». Дополнения и составляют второй отрывок; наиболее же интересные варианты даны в подстрочных примечаниях. В 1863 году несколько выдержек из «Воспоминаний о 1826-м годе» перепечатал М. П. Погодин в статье «Алексей Петрович Ермолов. Материалы для его биографии» («Русский Вестник» № 12, стр. 583—584). Эти выдержки вызвали статью «Биографические известия о Грибоедове», написанную известным собирателем материалов о Грибоедове, Д. А. Смирновым и опубликованную в 1868 году (уже после смерти Смирнова) в «Беседах общества любителей российской словесности», вып. второй, стр. 1—28 (статья датирована автором 27 января 1865 г.). Совокупностью материалов, как бывших в печати, так и впервые опубликованных в этой статье, Смирнов хотел отвести обвинения Давыдова, выдвинутые в его воспоминаниях, и которые, главным образом, касались неискренности Грибоедова в его отношениях к Ермолову. «В статье моей не будет ничего полемического: опровержение Д. В. Давыдову само собой истечет из моего изложения»—писал Смирнов.—Между прочим, часть опубликованных в этой статье материалов, например, показания о Грибоедове его сестры—Марии Сергеевны, жены—Нины Александровны, Бегичева, Иона, записанные с их слов Смирновым и не вошедшие в другие его статьи,—до сих пор сохраняет значение первоисточника, и нами использовываются в этом издании.

...28-го [августа] по утру, я, оставив пехоту с 30 казаками, поехал рысью вперед [1]. Хотя я много рисковал, но мне хотелось нагнать почту и большой караван, впереди меня шедший и ночевавший верстах в 9 от меня на Уруском редуте. Приехав сюда, я, к сожалению моему, не застал уже каравана и был принужден продолжать путь до привольного редута, называемого Мечетьской. Там настиг я почту, караван и Грибоедова, выехавшего гораздо позже меня из Москвы [2].

Во Владикавказе отвели мне квартиру в крепости, где отданы были мне все почести, но я тотчас отпустил почетный караул; я спрашивал у коменданта и плац-майора о делах Грузии, но они обещали мне прислать недавно приехавшего из Тифлиса полковника путей сообщения Гозиуса, прибывшего оттуда для исправления дороги и мостов, испорченных в Дарьяльском ущелье вследствие завалов Казбека ночью с 15-го на 16-е число августа, т. е. в тот самый день, как я выехал из Москвы. Какое предсказание для меня! Паскевич, ехавший несколькими сутками впереди меня, был принужден жить около недели во Владикавказе. Гозиус меня первый известил о том, что происходит в Грузии. Он мне сказал, что Ермолов собирает войска в Тифлисе и еще лично там; что Аббас-Мирза с 100.000-ою армиею в Елизаветполе, авангард его в Шамхоре; что Шуша блокирована и в ней полковник Реут с полком своим; сардар Эриванский занял Бамбакскую и Шурагельскую провинции и простирает набеги свои до Квеша, в 50-ти верстах от Тифлиса, где разграбил немецкую колонию, что против Аббас-Мирзы князь Мадатов с 3-мя тысячами, а

---

[1] К истории поездки Давыдова на Кавказ можно сообщить следующее. — До 23 марта 1826 года он был в отставке. Около этого времени он прибыл в Москву на коронацию Николая I, которому был представлен. 16 июня персияне нарушили мир и напали на пограничный русский пост Мирак и за несколько дней до коронации разгорелась война, причем Николаю сделалось известным, что сам Ермолов не принял командования, а послал князя Мадатова. И так как в начале этого года один из агентов тайной полиции доносил, что «все питаются надеждой, что Ермолов с корпусом не примет присяги» (Военно-учебный архив, отдел I, дело № 595), то Ермолов внушал Николаю серьезные опасения и 10 августа рескриптом на имя Ермолова назначил ему в ближайшие сотрудники генерала Паскевича и Дениса Давыдова. 15 августа Давыдов выехал вместе с курьером из Москвы, а 24 приехал в Ставрополь.

[2] Грибоедов также выехал в середине августа из Москвы. По дороге он заехал в имение к С. Н. Бегичеву, где пробыл всего один день, а оттуда поехал на Кавказ.

против сардара полковник князь Севардземидзев с тифлисским пехотным полком на Каменной речке в урочище Джелал-Оглу близ Лори. В Тифлисе все покойно и нимало не опасаются неприятеля, полагаясь во всем на Ермолова, обнаруживающего невозмутимое хладнокровие.

Я из окна видел Казбек, величественно возвышающийся двуглавою вершиной своею над всем снеговым хребтом по темно-голубому безоблачному небу. В ночное время он был еще поразительнее по своей красоте: полная луна осыпала бледными своими лучами снеговое темя его.

Во Владикавказе я оставил свою коляску и 30-го числа выехал с Грибоедовым в двуместных дрожках, коими одолжил нас до первой станции Николай Федорович Огарев [1].

По мере того, как мы подвигались вперед, ущелье становилось теснее и теснее. Уже в Ларсе, в 25-ти верстах от Владикавказа, вершины гор по обеим сторонам дороги, казалось, готовы были упасть к нам на голову.

В Коби к нам вошел добрый и благородный Ш[имановский], служивший в то время при Ермолове; он накануне выехал из Тифлиса и отправлялся в отпуск на четыре месяца в Москву, а потом во Владимирскую губернию. Счастливый человек, вряд ли кто был другой в мире, коему в душе моей я более завидовал!

Мы расспрашивали его о приезде в Тифлис П[аскевича], которого Ермолов принял ласково. Грибоедов сказал нам при этом случае: «Каков мой-то..., как, вы хотите, чтобы этот человек, которого я коротко знаю, торжествовал бы над одним из самых умнейших и благонамереннейших людей в России; верьте, что н а ш его проведет, и этот, приехав впопыхах, уедет отсюда со срамом». Грибоедов столько же обманулся в своем пророчестве, сколько мы обманулись в нем самом. Этот даровитый писатель должен был бы довольствоваться славой, столь справедливо заслуженной им в литературном мире? [1]. Он довольно долго служил при А. П. Ермолове и числился одно время советником при нашем посланнике в Тегеране Мазаровиче, человеке весьма полезном и способном. По представлению Ермолова, оценившего редкие способности Мазаровича, который был медиком, он был назначен

[1] В своих «записках» Давыдов передает следующий анекдот о Паскевиче: «Однажды льстецы, говоря с отцом Паскевича, восклицали: «князь Варшавский гений». Умный старик возразил по-малороссийски: «Що гений, то негений, а що везе, то везе» (стр. 50).

первым постоянным посланником при персидском дворе. Грибоедову, незнакомому ни с какими формами, приходилось иногда, за отсутствием Мазаровича, писать бумаги в Тифлис, где они возбуждали в канцелярии Ермолова лишь смех. Ермолов, разумевший Грибоедова человеком, одаренным блестящими способностями, вполне приятным и любезным собеседником, почитал его, однако, совершенно бесполезным для службы [1]. Алексей Петрович, неохотно увольнявший в отпуск людей полезных и усердных, дозволял Грибоедову отлучаться часто и на продолжительное время. Он, однако, очень любил Грибоедова и был в полном смысле слова его благодетелем; не говоря уже о всевозможном его внимании к знаменитому автору «Горя от ума», он оказал ему такую услугу, какую Грибоедов был вправе ожидать лишь от родного отца. Он спас его от последствий одного весьма важного дела, которые могли бы быть для Грибоедова крайне неприятны [2]. Память обо всем этом должна была бы оставаться неизгладимою в сердце Грибоедова, но, к сожалению, он, как казалось, принадлежал к числу людей, для коих было незнакомо чувство признательности. Увлекшись честолюбивыми побуждениями, Грибоедов, подобно многим лицам, некогда облагодетельствованным Ермоловым, но тем не менее принявшим на себя постыдные обязанности, отплатил ему также за все прошлое неблагодарностью. Вытребованный в С.-Петербург, он был вскоре награжден чином надворного советника, получил довольно значительную сумму денег и вновь прислан на Кавказ, где его поведение не могло не возбудить во всех благомыслящих людях истинного удивления и сожаления; он стал писать приказы по корпусу и сочинять частные письма для своих новых благодетелей [3]. Будучи отправлен

---

[1] «Грибоедов, состоящий некоторое время при нем в качестве советника, был человеком блестящего ума, превосходных способностей, но бесполезный для службы»—пишет Давыдов в «Записках».

[2] «Все, мною здесь сказанное, сообщено мне лицами, заслуживающими доверия, которые были не только очевидцами этого события, но принимали в нем весьма деятельное участие». (Примечание Д. В. Давыдова).—Здесь Давыдов подразумевает о предупреждении Ермоловым Грибоедова об аресте.

[3] Т. е. Паскевича. Это мнение выражено Давыдовым в частном письме к А. А. Закревскому от 31 августа 1827 г.: «Я был у брата Алексея (Петровича Ермолова); он не грустен, но сердит и как будто выбитый с винта, на коем он вертелся тридцать восемь лет славной службы! Кажется, однако, что начинает кой-как привыкать к безмятежной жизни, начал заниматься приведением в порядок записок своих, ибо не

во второй раз в С.-Петербург для поднесения государю Туркманчайского договора, он сказал приятелю своему С. Н. Бегичеву: «Я вечный злодей Ермолова»[1]. Он говорил около того же времени не одному мне следующее: «П[аскевич] несносен, и я на сей раз не иначе возвращусь в Грузию, как в качестве посланника при тегеранском дворе». Он был произведен в статские советники и, благодаря покровительству гр. Паскевича, получил желаемое назначение в Тегеран, где сделался жертвою своей ошибки[2].

Действия этого пылкого, неосмотрительного и чересчур самолюбивого посланника возбудили негодование шаха и персиян. Он в лице шахского зятя Аллаяр-Хана нанес глубокое оскорбление особе самого шаха. Грибоедов, вопреки советам и предостережениям одного умного и весьма способного армянина, служившего при нем в качестве переводчика, потребовал выдачи нескольких русских подданных-женщин, находившихся в гареме Аллаяр-Хана в должности прислужниц. Это требование было, вероятно, пред'явлено им вследствие ложного понимания вещей, а может быть и с явным намерением доказать свое влияние и могущество при персидском дворе. Хотя шах видел в этом нарушение персидских обычаев, но, не желая отвечать на требование Грибоедова продолжительным отказом, он дозволил ему взять этих женщин самому; посланные в гарем конвойные привели их в посольский дом. Персияне, видевшие в этом явное неуважение русских к особе шахского зятя, к самому шаху и к существующим народным обычаям, взволновались. Вскоре вспыхнуло возмущение, вероятно не без одобрения шаха; около 40 человек наших было убито, в том числе весьма много полезных лиц; спасся один М[альцов] с двумя слугами, вследствие особенного к нему расположения

из числа тех безграмотных, которым и партикулярные письма сочиняет Грибоедов».—См. Д. В. Давыдов. Сочинения под ред. А. О. Круглого, П. 1893 г., т. III, стр. 164.

[1] «Мне это сообщил брат его, добрый и благородный зять мой, Д. Н. Бегичев». (Примечание Д. В. Давыдова).

[2] «Грибоедов, отправленный к государю с Туркманчайским договором, говорил, не стесняясь, мне, Шимановскому и весьма многим: «Паскевич так невыносим, что я не иначе вернусь в Грузию, как в качестве посланника при персидском дворе». Это желание Грибоедова, благодаря покровительству его нового благодетеля, исполнилось, но на его пагубу»—пишет Давыдов в «Записках».

каких-то персиян, которые спрятали его где-то на чердаке. Персидский караул, не желая сражаться противу своих, заперся [1].

[Так как я в это время не находился уже более в Грузии, то я привожу здесь подробности, которые мне были сообщены многими лицами, заслуживающими доверия [2]. Причину этих действий Грибоедова должно, сколько мне известно, искать в следующем: Грибоедов, невзирая на блистательные дарования свои, никогда не принадлежал к числу так называемых деловых людей; он провел довольно долго в Персии, где убедился лишь в том, что слабость и уступчивость с нашей стороны, могли внушить персиянам много смелости и дерзости, а потому он хотел озадачить их, так сказать, с первого раза. К сожалению, от уступчивости до настоятельных требований относительно гаремских прислужниц, некогда взятых в плен во время вторжения персиян в Грузию, — что заключало в себе, как оказалось, много оскорбительного для самолюбия этого народа, — было далеко. Настойчивость Грибоедова была необходима во всех тех случаях, где надлежало ему наблюдать за точным исполнением важнейших пунктов Туркманчайского трактата; в прочих случаях надо было обнаружить много ловкости, проницательности и осторожности, дабы не оскорбить понапрасну народной гордости персиян. Грибоедову, назначенному посланником в Персию, после наших счастливых военных действий, было легче приобресть влияние, чем Ермолову, отправленному туда в 1817 г. Невзирая на то, что этот последний прибыл в Тегеран после обещания, данного государем персидским послам, возвратить некоторые присоединенные к нам области, он выказал при этом случае так много искусства и энергии, что шах отказался от своих требований. В случае несогласия шаха, Ермо-

[1] Однако шах, испугавшись последствий этого события, решился послать в С. Петербург значительное лицо для принесения извинений. Так как в Персии все были убеждены, что наше правительство не замедлит предать в свою очередь смерти высланного сановника и его свиту, то решено было избрать для этого предмета Хозрева-Мирзу, который был не что иное, как ч а н к а или побочный сын шаха. Хозреву-Мирзе, впоследствии ослепленному, сделан был напротив у нас в России блестящий прием, на который он по своему рождению не имел никакого права, и который явно доказывал, сколь мало у нас были известны обычаи востока. (Примечание Д. В. Давыдова).

[2] Весь абзац, заключенный нами в квадратные скобки, в издании 1860 года является примечанием к предыдущему абзацу («Действия этого пылкого»); в виду самостоятельного значения этого примечания, мы ввели его в основной текст.

лов, не могший поддержать своих представлений войском, которого в то время не было под рукой, что было небезызвестно персиянам, нашелся бы вынужденным уступить. Невзирая на то, что всемогущий в то время Аббас-Мирза нисколько не скрывал своих к нам неприязненных чувств, Ермолов успел склонить шаха к уступкам. Ермолов, всегда выказывавший большое уважение к обычаям народов, с коими ему приходилось действовать, внушил персиянам высокое к русским уважение, каким они даже не пользовались впоследствии, после наших успехов над ними. Мне говорил один значительный персидский сановник, что своевременная присылка войск в Грузию предупредила бы войну с персиянами, коих самонадеянность постоянно возрастала вследствие убеждения, что мы к ней не готовы, и что мы можем противопоставить их полчищам лишь ничтожные силы. Наконец, самые действия умного и энергичного Мазаровича, никогда не раздражавшего народной гордости персиян, были весьма поучительны для Грибоедова, который пренебрег, к сожалению, уроками своих предместников. Известно, что к Мазаровичу явился однажды армянин, некогда захваченный персиянами в плен; хотя этот евнух был помощником Манучар-Хана, хранителя сокровищ и любимца шаха, но он обратился к Мазаровичу с просьбой исходатайствовать ему позволение возвратиться к нам в Грузию. Так как это могло дать повод к различным обвинениям, потому что в случае пропажи чего-либо наше посольство и армянин были бы подозреваемы в похищении шахских сокровищ, Ермолов советовал Мазаровичу убедить армянина отказаться от своего намерения; таким образом удалось предупредить большие неприятности. Подобным образом должен был действовать и Грибоедов. Я полагаю, что, вероятно, существовала возможность выручить пленниц без пред'явления несвоевременных и оскорбительных для персиян требований: во всяком случае надо было приискать средства к их выдаче, не жертвуя для того столь многими полезными и славными людьми. Если б, по причине существующих обычаев, невозможно было этого сделать тотчас, то не следовало явно нарушать их и тем возбуждать против себя жителей, но предоставить все дело времени].

Так окончил жизнь наш знаменитый писатель, который мог бы еще долго и с большею пользою подвизаться на литературном поприще; находясь с ним долго в весьма близких отношениях я, более чем кто-нибудь, был глубоко огорчен его действиями в течение 1826 и 1827 годов. Грибоедов, терзаемый под конец своей

жизни бесом честолюбия, заглушил в сердце своем чувство признательности к лицам, не могшим быть ему более полезными; но зато он не пренебрег никакими средствами для приобретения полного благоволения особ, кои получили возможность доставить ему средства к удовлетворению его честолюбия; это не мешало ему, посещая наш круг, строго судить о своих новых благодетелях. Тяжело разочаровываться насчет кого бы то ни было, но еще более относительно личностей, столь щедро одаренных природой. Видя поведение Грибоедова, которого я так любил, я душевно скорбел. Я сожалел, что не мог быть в это время вдали от театра его деятельности, потому что имел бы утешение думать, что многое преувеличено завистью и клеветой; но я, к сожалению, должен был лично удостовериться в том, что душевные свойства Грибоедова далеко не соответствовали его блистательным умственным способностям...

***

А. С. Грибоедов, знаменитый автор комедии «Горе от ума», служил в продолжение довольно долгого времени при А. П. Ермолове, который любил его как сына. Оценяя литературные дарования Грибоедова, но находя в нем недостаток способностей для служебной деятельности, или вернее слишком малое усердие и нелюбовь к служебным делам, Ермолов давал ему продолжительные отпуска, что, как известно, он не любил делать относительно чиновников, не лишенных дарований и рвения. Вскоре после события 14 декабря, Ермолов получил высочайшее повеление арестовать Грибоедова и, захватив все его бумаги, доставить с курьером в Петербург: это поведение настигло Ермолова во время следования его с отрядом из Червленной в Грозную. Ермолов, желая спасти Грибоедова, дал ему время и возможность уничтожить многое, что могло более или менее подвергнуть его беде. Грибоедов[1], предупрежденный обо всем ад'ютантом Ермолова,

[1] Ермолов, Вельяминов, Грибоедов и известный шелковод А. Ф. Ребров находились в середине декабря 1825 года в Екатеринодаре; отобедав у Ермолова, для которого, равно как и для Вельяминова, была отведена квартира в доме казачьего полковника, они сели за карточный стол. Грибоедов, идя рядом с Ребровым к столу, сказал ему: «в настоящую минуту идет в Петербурге страшная поножовщина»; это крайне встревожило Реброва, который рассказал это Ермолову лишь два года спустя. Ермолов, отправляя обвиненного с преданным ему фельд'егерем в Петербург, простер свою заботливость о Грибое-

Талызиным, сжег все бумаги подозрительного содержания. Спустя несколько часов послан был в его квартиру подполковник Мищенко для произведения обыска и арестования Грибоедова, но он, исполняя второе, нашел лишь груду золы, свидетельствующую о том, что Грибоедов принял все необходимые для своего спасения меры. Ермолов простер свою, можно сказать, отеческую заботливость о Грибоедове до того, что ходатайствовал о нем у военного министра Татищева. После непродолжительного содержания в Петербурге в Главн. штабе, Грибоедов был выпущен, награжден чином и вновь прислан на Кавказ. С этого времени в Грибоедове, которого до того времени любили как острого, благородного и талантливого товарища, совершилась неимоверная перемена. Заглушив в своем сердце чувство признательности к своему благодетелю Ермолову, он, казалось, дал в Петербурге обет содействовать правительству к отысканию средств для обвинения сего достойного мужа, навлекшего на себя ненависть нового государя.

Не довольствуясь сочинением приказов и частных писем для Паскевича (в чем я имею самые неопровержимые доказательства), он слишком коротко сблизился с Ванькой-Каином, т. е. Каргановым, который сочинял самые подлые доносы на Ермолова. Паскевич, в глазах которого Грибоедов обнаруживал много столь не достохвального усердия, ходатайствовал о нем у государя. Грустно было нам всем разочароваться насчет этого даровитого писателя и отлично-острого человека, который, вскоре после приезда Паскевича в Грузию, сказал мне и Шимановскому следующие слова: «как вы хотите, чтобы этот дурак, которого я коротко знаю, торжествовал бы над одним из умнейших и благонамереннейших людей в России; верьте, что н а ш его проведет, и Паскевич, приехавший еще впопыхах, уедет отсюда со срамом». Вскоре после этого он говорит многим из нас: «Паскевич несносный дурак, одаренный лишь хитростью, свойственной хохлам; он не имеет ни сведений, ни сочувствия ко всему прекрасному

дове до того, что приказал фельд'егерю остановиться на некоторое время во Владикавказе, где надлежало захватить два чемодана, принадлежавшие автору «Горя от ума». Фельд'егерь получил строгое приказание дать Грибоедову возможность и время, разобрав заключавшиеся в них бумаги, уничтожить все то, что могло послужить к его обвинению. Это приказание было в точности исполнено и Грибоедов подвергся в Петербурге лишь непродолжительному заключению. Все подробности были мне сообщены Талызиным, Мищенкой, самим фельд'егерем и некоторыми другими лицами (Примечание Д. В. Давыдова).

и возвышенному, но вследствие успехов, на которые он не имел никакого права рассчитывать, будучи обязан им превосходным ермоловским войскам и искусным и отважным Вельяминову и Мадатову, он скоро лишится и малого рассудка своего». Но в то же самое время Грибоедов, терзаемый, повидимому, бесом честолюбия, изощрял ум и способности свои для того, чтобы более и более заслужить расположение Паскевича, который был ему двоюродным братом по жене. Дружба его с презренным Ванькою Каином, который убедил Паскевича, что Ермолов хочет отравить его, подавала повод к большим подозрениям

Ксенофонт Полевой

О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНИЯХ А. С. ГРИБОЕДОВА

К. А. Полевой (1802—1867), родной брат издателя «Московского Телеграфа» и деятельный его сотрудник. В литературе Ксенофонт Полевой приобрел известность своими «Записками», в которых сохранились ценные воспоминания о литературных деятелях первой половины прошлого столетия.

В эти «Записки», между прочим, он не ввел свои воспоминания о Грибоедове по следующей причине, о которой он пишет на стр. 272—273: «Здесь можно было бы рассказать любопытные подробности моего знакомства с Грибоедовым; но я уже давно изложил их в биографии его, написанной мною и напечатанной при одном из изданий «Горя от ума». Любопытные могут прочитать их там». В «Записках» же сохранился (стр. 268—269) небольшой рассказ Полевого о встрече с Грибоедовым на вечере у Булгарина, не вошедший в его воспоминания; этот рассказ приведен нами вслед за воспоминаниями.

Воспоминания К. Полевого входят в состав его статьи «О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова», приложенной к миниатюрному изданию: «Горе от ума». Второе издание. С.-Петербург. В военной типографии. 1889» (стр. III—C). Относятся эти воспоминания к весне 1828 года, когда Полевой приехал в Петербург в марте месяце по разным типографским делам, а также хлопотать о пропуске через цензуру перевода Вальтер-Скоттовой «Жизни Наполеона». Пробыл он здесь до июня и за этот период времени несколько раз встречался с Грибоедовым.

... Я имел большое наслаждение знать и видеть Грибоедова довольно часто, именно в то время его жизни [по приезде Грибоедова в марте 1828 года в Петербург]. Где же взять мне свидетельств вернее собственного наблюдения! Опишу свое знакомство с Грибоедовым, которое было непродолжительно, однакож довольно замечательно для человека, тогда еще юноши по летам и по чувствам; тем живее были мои впечатления, и я мог заметить много любопытных черт его характера и ума, черт, которые, может быть, ускользали от самых искренних его друзей един-

ственно потому, что уже не были для них новостью, не поражали их, казались им слишком обыкновенными.

Я жил в Петербурге несколько месяцев, точно как заезжий путешественник: был знаком со многими литераторами, осматривал музеи, библиотеки, наблюдал нравы города, обычаи общества, состояние искусств, словом, посвящал все свое время знакомству с Петербургом. Как обрадовался я, когда П. П. Свиньин [1], приглашая меня к себе на обед, сказал, что у него будет Грибоедов, только что приехавший из Грузии.—Буду, буду непременно! В назначенный день (помню, что было на Пасхе), я нашел у гостеприимного Павла Петровича много людей замечательных. Кроме нескольких знатных особ, приятелей его, тут был, можно сказать, цвет нашей литературы: И. А. Крылов [2], Пушкин, Грибоедов, Н. И. Греч и другие. Грибоедов явился вместе с Пушкиным, который уважал его, как нельзя больше, и за несколько дней сказал мне о нем: «Это один из самых умных людей в России. Любопытно послушать его»[3]. Можно судить с каким напряженным вниманием наблюдал я Грибоедова! Но, в первый раз, он обманул мои ожидания. Он был в каком-то

---

[1] П. П. Свиньин, журналист пушкинской эпохи, многолетний издатель «Отечественных Записок». Свиньин был лично знаком с Грибоедовым и дружески ему предан. В «Путевых записках» от 1819 года Грибоедов упоминает о книге Свиньина «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей».

[2] С Крыловым Грибоедов, вероятно, был знаком еще по дому Шаховского, до от'езда на Восток. В письме к Бегичеву от июля 1824 года, Грибоедов пишет: «Представь себе, что я слишком восемьдесят стихов или лучше сказать рифм переменил (в «Горе от ума»), теперь гладко, как стекло... В самый день моего приезда и в этом виде читал ее Крылову».

[3] Как раз около этого времени Грибоедов был на чтении Пушкиным «Бориса Годунова» в салоне графини Лаваль: «Вчера Пушкин читал свою трагедию у Лаваль; в слушателях были две княгини Michel, Одоевская-Ланская, Грибоедов, Мицкевич, юноши, Балк, который слушал трагически. Кажется, все были довольны, сколько можно быть довольным, мало понимая» — пишет 17 мая 1828 года кн. Вяземский из Петербурга Тургеневу; см. П. П. Вяземский. «А. С. Пушкин по документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям» в сборнике «А. С. Пушкин» (под ред. П. И. Бартенева), 1885 г., вып. второй, стр. 39.—По словам Н. Колюпанова («Биография А. И. Кошелева», т. I, кн. II, стр. 202) Пушкин читал «Годунова» у Лаваль 21 мая. Вероятно, это было второе чтение, так как весьма возможно, что Пушкин читал свою трагедию в течение двух вечеров.

недовольстве, в каком-то раздражении (казалось мне), и посреди общих разговоров отпускал только острые слова. За столом разговор завязался о персиянах, что было очень естественно в обществе Грибоедова, который знал персиян во всех отношениях, еще недавно расстался с ними и готовился опять к ним ехать. Он так живо и ловко описывал некоторые их обычаи, что Н. И. Греч очень кстати сказал при том, указывая на него: «Monsieur est trop perçant (persan)». Признаюсь, молодой ум мой ожидал от Грибоедова чего-то другого. «Где же скрывается глубина этого человека?»—думал я, не зная, что в большом обществе он был всегда таков, да и кто же не будет таков, особенно подозревая, что на него смотрят как на что-то особенное и ожидают чего-нибудь необыкновенного? Ривароль находился однажды в таком положении, и начал, как говорится, рубить с плеча все, что попадалось в разговоре. Собеседники его изумились. Грибоедов сделал почти то же, потому, что в одинаковом случае положение человека, известного умом, всегда одинаково. Вечером, когда кружок друзей стал теснее, Грибоедов был гораздо мягче, и с самою доброю готовностью читал наизусть отрывок из своей трагедии «Грузинская Ночь», которую сочинял тогда [1].

Через несколько дней, мне опять случилось обедать с ним у Н. И. Греча. Входя в комнату, я увидел Грибоедова за фортепиано: он аккомпанировал известному Този (у которого тогда был еще голос) [2] и какому-то другому итальянцу. Дуэт кончился, и Грибоедов был окружен многими из своих знакомых, которые вошли во время его игры и не хотели прерывать музыки приветствиями к нему. С какою добротою, с какою искренностью обходился он со старыми знакомыми! Тут почувствовал я, как мог быть пленителен этот человек. Некоторые поздравляли его с успехами по службе и почестями, о чем ярко напоминали бриллианты, украшавшие грудь поэта. Другие желали знать, как он провел время в Персии. «Я там состарился,—отвечал Грибоедов—не только загорел, почернел, почти лишился волосов на голове, но и в душе не чувствую прежней молодости!». В словах его точно виден был какой-то грустный отзыв. За столом Грибоедов почти не вмеши-

[1] Общее содержание «Грузинской ночи», до наших дней целиком не дошедшей, см. выше в воспоминаниях С. Н. Бегичева и в примечаниях к воспоминаниям Ф. В. Булгарина. Ср. академич. издание.

[2] Известный баритон Мариинского театра в Петербурге.

вался в литературные суждения, какие излагали двое или трое из собеседников,—теперь уже покойных—мир памяти их! Он чувствовал себя нездоровым и уехал вскоре после обеда.

Второе свидание с Грибоедовым оставило во мне впечатление более приятное, хотя я слышал тут меньше. Видно, сам поэт был расположен теплее, и потому казался сообщительнее. Его обращение всегда отличалось редким свойством: какою-то искренностью, которая однако ж не переходила светских форм. Слушая Грибоедова, можно было верить каждому слову его, потому что он не терпел преувеличений, и будто мыслил вслух, не скрывая своих чувств, но образованность и светскость придавали ему характер обворожительный. Еще больше увидел я справедливость своих замечаний, встретившись с Грибоедовым—думаю в третий раз—у князя В. Ф. Одоевского. Тут разговоры и суждения Грибоедова были чрезвычайно замечательны и верно оттого, что нас было только трое. Между прочим, речь зашла о власти человека над самим собою. Грибоедов утверждал, что власть его ограничена только физическою невозможностью, но что во всем другом человек может повелевать собой совершенно и даже сделать из себя все. «Разумеется,—говорил он—если бы я захотел, чтобы у меня был нос короче или длиннее (собственное его сравнение), это было бы глупо, потому, что невозможно. Но в нравственном отношении, которое бывает иногда обманчиво-физическим для чувств, можно делать из себя все. Говорю так потому, что многое испытал над самим собою. Например, в последнюю Персидскую кампанию, во время одного сражения, мне случилось быть вместе с князем Суворовым. Ядро с неприятельской батареи ударилось подле князя, осыпало его землей, и в первый миг я подумал, что он убит. Это разлило во мне такое содрогание, что я задрожал. Князя только оконтузило, но я чувствовал невольный трепет и не мог прогнать гадкого чувства робости. Это ужасно оскорбило меня самого. Стало быть я трус в душе? Мысль нестерпимая для порядочного человека, и я решился, чего бы то ни стоило, вылечить себя от робости, которую, пожалуй, припишете физическому составу, организму, врожденному чувству. Но я хотел не дрожать перед ядрами, в виду смерти, и при первом случае стал в таком месте, куда доставали выстрелы с неприятельской батареи. Там сосчитал я назначенное мною самим число выстрелов и потом, тихо поворотив лошадь, спокойно от'ехал прочь. Знаете ли, что это прогнало мою робость? После я не робел ни от какой военной

опасности. Но поддайся чувству страха, оно усилится и утвердится».

Такое оригинальное суждение осталось в моей памяти: я пересказал его здесь почти словами самого Грибоедова. Когда мы вместе выходили от милого нашего хозяина, Грибоедов сказал: «Поедемте со мной».—Куда?—спросил я.—«Да все равно: в карете будем говорить». Он сам рассмеялся, сблизив слова свои с известным выражением Репетилова. Не знаю почему, я не мог воспользоваться приятным его предложением, но не замедлил явиться к нему, на другой или на третий день. Он жил тогда в доме Косиковского, в самом верхнем этаже и занимал немного комнат. Я удивился походной простоте жизни нашего Персидского министра. Самым дорогим украшением его комнаток был богатый рояль: он составлял для него необходимую принадлежность!.. Потом, приходя почти каждый день к Грибоедову, я всегда видел его любезным, радушным, всегда слышал от него что-нибудь умное, оригинальное. Особенно достопамятно для меня одно утро, когда особенно влюбился я в милое его добродушие и был пленен разнообразием его сведений. Был какой-то большой праздник. Прелестное утро мая, который иногда так хорош в Петербурге, вызывало на свежий воздух. Идя по Невскому проспекту, я завернул к Грибоедову, и нашел у него несколько человек гостей; разговор вязался из учтивостей, из пересказов о повышениях и суждений о способностях некоторых известных лиц. Чуждый такой сферы, несколько времени перебирал я ноты, лежавшие на рояле, и, наконец, хотел уйти. Грибоедов сказал мне: «Останьтесь». Гости его вскоре раскланялись с ним. «Боже мой!» сказал он тогда, «чего эти господа хотят от меня? Целое утро они сменяли у меня один другого. А нам, право, не о чем говорить: у нас нет ничего общего. Пойдемте скорее гулять, чтобы опять не блокировали меня... Да, можно ли итти таким варваром?»—прибавил Грибоедов, глядясь в зеркало. «Они не дали мне и выбриться».—Кто же станет замечать это?—сказал я. «Все равно: приличия надобно наблюдать для самого себя, но я нарушу их на этот раз». Мы отправились в Летний сад, и разговор продолжался об утренних посещениях. Грибоедов так остроумно рассуждал о людях, которые вдруг, неожиданно делаются вежливы, внимательны к человеку, прежде совершенно чуждому для них, что я смеясь сказал ему: «Тем лучше: это предмет для другого «Горя от ума!»—О, если на такие предметы писать комедии, то всякий день являлось

бы новое «Горе от ума!». В самом деле: как не находят предметов для комедий? Они всякий день вокруг нас. Остается только труд писать.—«В том-то и дело. Надобно у м е т ь п и с а т ь».—Разговор обратился к искусству и Грибоедов сказал: «Многие слишком долго приготовляются, сбираясь написать что-нибудь, и часто все оканчивается у них сборами. Надобно так, чтобы в з д у м а л и н а п и с а л».—Не все могут так сделать. Только Шекспир писал наверное.—«Шекспир писал очень просто: немного думал о завязке, об интриге, и брал первый сюжет, но обрабатывал его по своему. В этой работе он был велик. А что думать о предметах! Их тысячи, и все они хороши: только умейте пользоваться». Продолжая разговор о Шекспире, Грибоедов спросил у меня: на каком языке я читаю его? Я читал его тогда во французских и немецких переводах, и сказал это. «А для чего же не в подлиннике? Выучиться языку, особливо европейскому, почти нет труда: надобно только несколько времени прилежания. Совестно читать Шекспира в переводе, если кто хочет вполне понимать его, потому что, как все великие поэты, он непереводим, и непереводим оттого, что национален. Вы непременно должны выучиться по-английски»[1]. Помню еще, что в то утро он особенно хвалил Шекспирову «Бурю», и находил в ней красоты первоклассные. В первый раз при мне Грибоедов рассуждал о литературных предметах, и с особенным любопытством слушал я его мысли о Шекспире. Он сказал много оригинального и блестящего: видно было, что художник говорил о величайшем из своих собратов.

В другой раз, в театре, на представлении Моцартовой «Волшебной флейты», Грибоедов разговорился о музыке. Надобно прибавить, что бедного Моцарта терзали ужасно! В 1828 году на петербургской сцене не было ни одного певца и ни одной певицы. Самойлов жил еще старою своею славою, но и он почти не мог петь. Первою певицею была Иванова. Особенно смешил нас своим неискусством Папаген, которого играл, если не ошибаюсь, Рамазанов. Грибоедов сидел в ложе, с одним знакомым ему семейством, но в каждый антракт приходил в кресла побранить певцов. «Я ничего не понимаю: так поют они!» говорил он не раз. «И зачем браться за Моцарта?»—С них было бы и Буальдье!—прибавил кто-то.—«А что вы думаете: Буальдье достоин этих певцов?»—сказал Грибоедов. «Он не гениальный, но милый и умный компо-

[1] Ср. отзывы Грибоедова о Шекспире в воспоминаниях Бестужева.

зитор: не отличается большими мыслями, но каждую свою мысль обрабатывает с необыкновенным искусством. У нас испортили его «Калифа Багдадского», а это настоящий брилльянтик (именно так выразился Грибоедов) [1]. Музыка Моцарта требует особенной публики и отличных певцов, даже потому, что механическая часть ее не богата средствами. Но выполните хорошо музыку Буальдье—все поймут ее. А теперь, посмотрите, как восхищаются многие, хоть ничего не понимают! Это больше портит нежели образует вкус публики».

Знакомство с Грибоедовым оставило неизгладимый след в душе моей, и я, может быть, распространился в моем рассказе, потому, что мне всегда усладительно вспомнить о минутах, проведенных в его обществе. Я видел в нем человека необыкновенного во всех отношениях, и это было тем драгоценнее, что он никогда не думал блистать; напротив, он будто скрывал себя от многолюдства и высказывался только в искренней беседе, или в небольшом кругу знакомых, когда видел, что его понимают. Радушие Грибоедова ко мне об'ясняю я только добрым расположением его ко всем молодым людям, в которых видел он любовь к труду и просвещению. Может быть оттого говорил он со мной обо многом пространнее, нежели с равными себе, или с старыми своими знакомыми, что хотел, как видно, передать юноше верные понятия, к каким привели его необыкновенный ум и опытность. Зная, что я принимал деятельное участие в одном из тогдашних журналов, любимом публикою, он удивлял меня иногда своею внимательностью ко многим статьям потому, что читал их все, искренно желая успехов литературе во всех отраслях ее.

Главными отличительными его свойствами были, сколько я мог заметить, большая сила воли и независимость в суждениях и образе жизни. Читатели видели, что он не находил ничего невозможного для ума и воли: не хотел, чтобы человек робел перед неприятельскою батареею, или, потворствуя лени, читал в переводе то, что может читать в подлиннике. Блестящие обстоятельства не переменили его образа жизни. В нем также не было ни малейшего признака несносного, притворного желания играть роль светского

[1] Одна из лучших опер Буальдьё, имевшая большой успех на Западе и впервые представленная в Париже в 1800 году. Впервые была поставлена на русской сцене в Петербурге в 1806 году См. С. Булич «Грибоедов—музыкант» в академическом издании сочинений Грибоедова, т. I, стр. 321.

человека и поэта, которое прививается к многим отличным людям. А между тем, он был и поэт и светский человек самой высшей степени. Искренность, простота и благородство его характера привязывали к нему неразрывною цепью уважения, и я уверен, что всякий, кто был к нему близок, любил его искренно.

Грибоедов уехал из С.-Петербурга в июне месяце[1]. Несмотря на блестящие ожидания впереди, он неохотно, даже с грустью оставлял Россию, и однажды, когда я говорил ему о любопытном его будущем положении в Персии, он сказал: «Я уж столько знаю персиян, что для меня они потеряли свою поэтическую сторону. Вижу только важность и трудность своего положения среди них, и главное, не знаю сам отчего, мне удивительно грустно ехать туда! Не желал бы я увидеть этих старых своих знакомых».

Во время проезда своего через Тифлис, Грибоедов женился и соединил свою судьбу с существом давно милым ему: то была княжна Чавчавадзева, дочь заслуженного генерала. Чего, казалось бы, не доставало для счастья поэта? Слава, значительность положения, радость семейной жизни, все соединил для него 1828 год! Но в письмах к друзьям своим, описывая им свое счастье, он не скрывал и мрачных своих предвидений. Какие заключения можно вывести из такого постоянного предчувствия, которого не могли разогнать ни самые блестящие события, ни радость сердца, ни все виды счастливой будущности? Но если душа поэтическая сильнее чувствует ежедневные встречи в жизни, то она должна быть доступнее и для впечатлений необыкновенных, для предвидений души и сердца. По крайней мере, так было с Грибоедовым. Он не даром тревожился будущностью, не без основания повторял не раз своим друзьям и знакомым, что не надеется воротиться из Персии. В то время, когда все русские с удовольствием воображали своего знаменитого соотечественника в самом блестящем положении, в Петербурге было получено ужасное известие об его смерти...

Так внезапно и рановременно кончил жизнь свою незабвенный автор «Горя от ума». Для нас остались его подвиги, замечательные во многих отношениях, и его сочинения, составляющие красу нашей литературы...

---

[1] Грибоедов выехал из Петербурга в последний раз 6 июня 1828 года.

***

В первое время по приезде в Петербург я жил в гостинице «Демут», где обыкновенно квартировал А. С. Пушкин. Я каждое утро заходил к нему, потому что он встречал меня очень любезно и привлекал к себе своими разговорами и рассказами. Как-то в разговоре с ним, я спросил у него—знакомиться ли мне с издателями «Северной Пчелы?»—«А почему же нет?—отвечал не задумываясь Пушкин. —Чем они хуже других? Я нахожу в них людей умных. Для вас они будут особенно любопытны!» Тут он вошел в некоторые подробности, которые показали мне, что он говорит искренно, и находил, что с моей стороны было бы неуместной взыскательностью отказываться от этого знакомства. Мнение Пушкина в этом случае было для меня так значительно, что всякое предубеждение исчезло во мне, и в первое свободное утро я зашел в квартиру Булгарина, спрашивая В. А. Ушакова [1]. Он жил в кабинете Булгарина, и я застал тут довольно многочисленное общество, между прочим, Мицкевича, Грибоедова, Греча. Без об'яснений и рекомендаций я очутился как-будто в давно знакомом обществе. Булгарин обратился ко мне так просто и радушно, как старый знакомый; он даже показался мне смиренным и кротким простофилей, может быть оттого, что я ожидал увидеть пылкого говоруна, каким он никогда не был. Напротив, Греч с первого свидания был таков, каким я знаю его и теперь: любезным, остроумным собеседником. Для Мицкевича и какого-то бывшего тут же француза разговор часто переходил из русского во французский, и французское остроумие г. Греча было не хуже русского. Греч просил меня посетить его. Грибоедова я не успел даже рассмотреть, потому что он вскоре ушел, в сопровождении какого-то театрального артиста: с ним часто бывал кто-нибудь из театральных, чем-то вроде ад'ютанта. Если не ошибаюсь, тут же был А. А. Жандр, друг Грибоедова. Для чего было мне отказываться от такого общества, где, кроме самих хозяев, всегда радушных, я встречал множество людей умных, отличенных дарованиями, достойных всякого уважения? После, через много лет,

[1] В. А. Ушаков, ветеран Отечественной войны, писатель и критик. «Друг Видока-Булгарина, его достойный Адольф Жермани из третьего действия «Жизни игрока» и наружностью и душою»,—писал Сергей Аксаков в мае 1830 г. С. П. Шевыреву (см. «Русский Архив» 1878 г., кн. II, стр. 53).—В 1830 г. Ушаков посвятил «Горю от ума» обширную статью в «Московском Телеграфе».

Булгарин составил себе отдельный круг, который постепенно оставили все прежние его знакомые и даже товарищ его, Греч; но в описываемое время его не чуждался никто: ни Гнедич, ни Пушкин, ни Грибоедов, ни благороднейший адмирал Рикорд, с которым я познакомился также через Булгарина. Чудак, но неподкупный правдорез, В. А. Ушаков, распинался за Булгарина и видел в нем друга! Мог ли человек молодой, и не какой-нибудь славный литератор, а случайно брошенный на литературное поприще, не увлечься обаянием истинно-литературного кружка, встречавшего его самым лестным вниманием? Тогда мне было это просто приятно, и я, без всяких расчетов и целей, часто посещал Греча и Булгарина. Я не мог предвидеть, что после сделает из себя Булгарин; а тогда видел в нем умного, иногда смешного, капризного, но любезного человека, и если с моей стороны было ошибкою сближение с Булгариным, то я разделял эту ошибку с благороднейшими людьми, которых видел в лучших отношениях с ним. Грибоедов до смерти оставался в самых искренних связях с ним и поручил ему свои интересы, уезжая из Петербурга [1]. Мицкевич находил его добряком и только смеялся над комическими его сторонами. Все другие, общие наши знакомые, глядели на него, как на человека с разными недостатками, которые, однако, выкупались добрыми качествами и дарованием. Я и теперь думаю, что он действительно был таков в описываемое мною время.

---

[1] «Булгарин почитал и уважал добрые стороны в людях, даже те, которых сам не имел. Таким образом, постиг он всю благость, все величие души Грибоедова, подружился с ним, был ему искренно верен до конца жизни, но не знаю, осталась ли бы эта дружба в своей силе, если бы Грибоедов вздумал издавать журнал и тем стал угрожать «Пчеле», то есть увеличению числа ее подписчиков». — См. Н. И. Греч. Записки о моей жизни. П. 1886 г., стр. 447.

В. Н. Григорьев

ЗАМЕТКИ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

В. Н. Григорьев (1803—1876), в юности скромный чиновник петербургского казначейства, благодаря своим литературным интересам сблизившийся со многими тогдашними литераторами, в том числе с Пушкиным, Грибоедовым, Рылеевым, Бестужевым, Дельвигом, Гречем и Булгариным. Этот период его жизни описан им в обширных воспоминаниях, озаглавленных «Записки из моей жизни» и хранящихся в рукописи в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде. В печати эта рукопись почти неизвестна и лишь отрывки, посвященные воспоминаниям о русских писателях, опубликованы Н. К. Пиксановым в журнале «Современник» 1925 г., № 1, стр. 127—140, в статье «Русские писатели в неизданных воспоминаниях В. Н. Григорьева».

В 1828 году, по окончании Персидской кампании, русское правительство снарядило особую экспедицию для финансового описания Закавказского края, и Григорьев принял командировку в эту экспедицию. Между прочим, с Кавказа Григорьев присылает в столичные журналы и альманахи статьи, подписываясь иногда сокращенно Гри—в. И так как он описывал события и картины кавказской и закавказской жизни, какие наблюдал в те же годы и заносил в свой путевой журнал Грибоедов, то среди биографов автора «Горя от ума» возникали предположения, не принадлежат ли статьи, подписанные этой аббревиатурой, Грибоедову (см. сочинения Грибоедова под редакцией И. А. Шляпкина, 1889 г., т. I, стр. 362). Теперь при помощи воспоминаний В. Н. Григорьева и библиографических разысканий, Н. К Пиксановым в упомянутой статье установлено авторство В. Н. Григорьева в отношении всех этих статей. Между прочим, девять стихотворений В. Н. Григорьева переиздано в книге «Поэты пушкинской поры» под ред. Ю. Н. Верховского, изд. Сабашниковых, М., 1918 г.

... В 1826 году летом я случайно познакомился в Петербурге с Грибоедовым, автором известной комедии «Горе от ума». Я встретил его на даче у Булгарина, к которому иногда хаживал по литературным делам вследствие его же приглашения. Грибоедов

служил тогда в Грузии при Ермолове и привезен был в Петербург по подозрению, что будто бы участвовал в заговоре 14 декабря 1825 года, но как подозрение это не оправдалось по следствию и по сделанному им [ему?] личному допросу, то он и выпущен был на волю и от нечего делать поселился на время у Булгарина, который нанимал тогда каждое лето, вместо дачи, деревянный дом с садом на Выборгской стороне, на самом берегу Малой Невки, почти супротив Аптекарского сада. Грибоедов принял приглашение Булгарина потому, что обязан ему за разные услуги: живя в Грузии, он делал Булгарину поручения и таким образом считал себя с ним связанным, хотя, по образу мыслей и по взгляду на вещи и дела, они во многом расходились друг с другом.

Этот Грибоедов, во время бытности моей в Грузии, назначен был русским посланником к персидскому шаху и в 1828 году зимой проезжал через Тифлис, останавливался в нем, чтобы жениться на дочери генерала князя Чавчавадзе, Нине Александровне, которая, хотя родилась и воспитывалась в Грузии, но ни по наружности, ни по образованию своему, ни по манерам нисколько не была похожа на грузинку. После свадьбы он сделал бал, на который я был приглашен [1]. На этом балу меня особенно поразила задумчивость молодого Грибоедова. Между тем судьба ему улыбалась: по своей умной комедии он сделался известен во всей России, получил видное место, женился на прекрасной, доброй, любимой им женщине и ехал в Персию представителем русского императора. Чему приписать эту задумчивость? Или он, как глубоко мыслящий человек, мало доверял земному счастью, или имел тайное предчувствие, что ему суждено не долго наслаждаться этим счастием. Он уехал в Тегеран вскоре после своей свадьбы. В свите его, между прочим, находился секретарем посольства бывший товарищ мой по гимназии Карл Аделунг, очень добрый малый, хотя и не с блестящими способностями. Он был сын известного ученого Аделунга, который издал знаменитый в свое время словарь немецкого языка и который преподавал немецкую литературу великим князьям, Николаю и Михаилу Павловичам. Карл Аделунг несколько раз бывал у меня в Тифлисе и мне не приходило тогда в голову, что мы видимся последний раз.

. . . . . .

[1] Венчание состоялось 22 августа 1828 года, а обед и бал, на котором было около ста приглашенных,—24 августа.

Я сделал здесь [в Нахичевани в начале 1829 года] два приятных знакомства: с генеральным консулом нашим в Тавризе Амбургером и с начальником Нахичеванской провинции генерал-майором русской службы Элсан-Ханом. В то время, как я ехал из Тифлиса в Нахичевань, случилось в Тегеране ужасное происшествие, чуть не единственное в нашей истории: посланник наш Грибоедов, недавно туда приехавший, убит был возмутившеюся чернью, а с ним вместе и некоторые его чиновники, и в том числе мой товарищ по гимназии Карл Аделунг.

После такого наглого поступка, совершенного, вероятно, не без ведома самого персидского правительства, Амбургер счел неуместным оставаться на своем посту в Тавризе и, впредь до раз'яснения дела, приехал в первый пограничный к Персии русский город Нахичевань [1].

. . . . . .

... Амбургер был постянно в мрачном расположении духа. Проведя несколько лет в Персии, он носил на себе отпечаток южного климата, влияние которого, какую бы жизнь человек не вел, непременно обнаруживается в уроженце севера: он был тщедушен и имел желтый цвет лица, вероятно от перенесенных им не раз желчных горячек [2]. Катастрофа, поразившая Грибоедова, еще более расстроила и без того хилое его здоровье. Кроме того, его беспрестанно беспокоила мысль, что он оставил свой пост без позволения правительства, и он не без основания думал, что поступок его не понравится в Петербурге. В ожидании, чем развяжется тегеранское дело, он жил в Нахичевани в страшной душев-

---

[1]. Не совсем так. Несомненно, Амбургер, находившийся консулом при Аббасе-Мирзе, выехал из Тавриза по совету англичан и тем самым предоставил им полную возможность исключительного влияния на Аббаса-Мирзу. — Это предвидел Паскевич, который в секретном предписании к Амбургеру от 23 февраля 1829 года писал: «До разрешения г. вице-канцлера отнюдь и ни под каким предлогом не оставлять Тавриза... Иметь самое бдительное наблюдение за всеми поступками персидского правительства и английской миссии». — См. Кн. Щербатов. «Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность». П. 1891 г. Т. III, стр. 159 и «Акты, собранные Кавказской археологической комиссией» под редакцией А. П. Берже, т. VII.

[2] Малярией страдал и Грибоедов в последние годы своей жизни.

ной тревоге [1]. Единственное его развлечение были прогулки верхом по окрестностям Нахичевани и на Аракс. В этих прогулках я всегда ему сопутствовал и пользовался его верховой лошадью. Таких лошадей было у него три: трухменская, персидская и арабская, подаренные ему наследником персидского престола Аббас-Мирзою, жившим в Тавризе, в звании правителя Азербейджана, самой северной пограничной с Россией провинции. По этому вы можете судить, что это за чудные были лошади. Арабская, как самая кроткая и спокойная, предоставлялась мне, человеку мало опытному в верховой езде. Бывало едешь на ней и воображаешь, что сидишь в кресле: так она была покойна на ходу. Рост ее был средний, масть белая, туловище округленное, голова довольна большая с быстрыми глазами. Раз мы поехали на Аракс к тому месту, где расположена знаменитая деревня Джульфа, в которой дома построены из камня красного цвета, добываемого из соседней горы. Во время оно Джульфа была городом и довольно значительным, особенно в торговом отношении, потому что через нее проходил торговый путь из Грузии в Персию. О величине бывшего города можно судить по оставшемуся после него огромному кладбищу, в котором памятники разнообразной формы сооружены из такого же камня красного цвета и относятся большею частью к отдаленной древности. В настоящее время в селении Джульфа, обитаемом армянами, нет ничего особенно замечательного, кроме ярко-красного цвета домов, бросающегося в глаза. По прошествии нескольких недель, Амбургер получил предписание из Петербурга воротиться немедленно в Тавриз, и, кажется, вместе с этим ему сделано было замечание, весьма для него неприятное. Тогда было решено, что тело Грибоедова перевезется в Тифлис для погребения, и что шах персидский пошлет в Петербург внука своего с уверением,

[1] Своим поступком Амбургер действительно вызвал гнев Паскевича. В его предписании к Амбургеру от 6 марта 1829 года, читаем: «Из депеш ваших от 21 и 22 февраля № 42 и 43 я к крайнему удивлению увидел, что вы оставили Тавриз, не дождавшись разрешения, и приехали в Нахичевань... Мы находимся теперь не в таком положении, чтобы страхом оружия заставить Персию делать то, что нам желательно. Не могли вы не видеть сего... Из вашего же поведения может произойти, что правительство персидское, оставаясь в страхе и недоумении, последует внушениям партии, желающей войны, которая, пользуясь сим, нарочно увеличит опасения и тем бросит Персию в руки турок и в войну против нас». См. «Материалы для биографии Александра Сергеевича Грибоедова». — «Кавказский сборник» 1911 г., т. XXX, стр. 129—130.

что в несчастьи, постигшем Грибоедова, персидское правительство нисколько не виновато.

О том, как происходило это несчастное дело и что было тому причиною, ходили у нас разные слухи... Люди, знающие хорошо нравы и обычаи Востока, упрекали Грибоедова, и не без основания, что он при всем уме своем, действовал в Тегеране так, как мог бы действовать только на Западе, между людьми образованными: нисколько не уклончиво, а смело до дерзости, без внимания к персидским обычаям и щекотливому фанатизму мусульман. Началось, как говорят, с того, что несколько наложниц, из пленных грузинок, живших в гаремах персидских вельмож, обратились к Грибоедову с просьбою доставить им возможность возвратиться на родину. Предполагая, вероятно, снестись по этому случаю с персидскими властями, он, для большей безопасности этих грузинок, велел им остаться ночевать в посольском доме. Между тем, в нижнем этаже этого дома жили казаки, составлявшие конвой и свиту Грибоедова. И неизвестно по какому случаю, в этот вечер как-то особенно шумели. Несколько человек из черни, а может быть и нарочно подосланные к дому нашего посланника слуги означенных сановников, которым принадлежали пленные грузинки, услышав этот шум, собрали около себя толпу, которая с своей стороны тоже начала шуметь. Отворились двери нижнего этажа, казаки бросились на толпу и, разгоняя, одного персиянина убили. Этот несчастный случай был сигналом кровавого возмездия: поволокли труп убитого по городу и выставили в мечети, призывая всех к отмщению. Тогда раз'яренная толпа бросилась к дому Грибоедова с ревом; он только что подошел к открытому окну, чтобы видеть в чем дело, как был убит камнем, попавшим ему в висок. Казаки защищались, но были сбиты; чернь ворвалась в дом и не давала пощады ни одному русскому; бедный товарищ мой Аделунг бежал через двор, чтобы спрятаться в стоявшей на конце двора бане, но был замечен и тут же на бегу убит несколькими брошенными в него кинжалами. Вот краткая история этого несчастного происшествия—история, которая доказывает или бессилие персидского правительства, или преднамеренное бездействие его в этом случае. Можно безошибочно предполагать и то и другое. Мне привелось первому из русских встретить бренные останки Грибоедова у Аракса на самой нашей границе. Я описал эту встречу в письме моем к Булгарину, который и напечатал мое письмо, приложив к нему с своей стороны краткую биографию покойного, сколько

помнится в «Северном Архиве» 1829 года (Копии с этого письма у меня не осталось и потому я не могу теперь привести здесь подробностей встречи) [1].

***

Кому неизвестна несчастная кончина незабвенного А. С. Грибоедова, полномочного министра нашего в Персии? Бывши в тесной связи с покойным, вы лучше других можете оценить сию потерю. Отечество лишилось в нем одного из лучших своих граждан, словесность—первоклассного поэта и бессмертного творца «Горя от ума», и, наконец, все, которые имели удовольствие быть с ним знакомым—человека с умом высоким, творческим, пламенеющего любовью ко всему праведному, изящному и доброму, с редким благородством характера, соединенным с необыкновенною способностью оживлять все окружавшее его. Но только мы, жители Грузии, в состоянии вполне чувствовать утрату сего человека. Грузия была настоящим его поприщем деятельности: здесь он провел лучшее время своей жизни в трудах литературных и по службе. Он любил Грузию так пламенно, так чисто, как редкие любят даже родину свою. Хотя не много сделал он для нее; но желал и успел бы сделать много истинно-полезного, если бы преждевременная кончина не прекратила его деятельности при самом почти начале славного поприща. Можно утвердительно сказать, что при благотворном попечении нашего правительства, с приведением в исполнение некоторых предположений Грибоедова (с одним из друзей его), через 10 или 15 лет Грузия целым столетием подвинулась бы вперед на поприще просвещения [2].

Провидению угодно было расположить иначе. Смиримся; роптать не осмелимся, но скорби умерить не можем. Уверен, что и вы совершенно разделяете со мною и со всеми знавшими покойного

---

[1] Это глухое и неточное указание действительно верно. В журнале «Сын Отечества и Северный Архив», но не за 1829, а за 1830 год, в № 2 стр. 84—87 находится «Письмо из Тифлиса к Булгарину», озаглавленное, очевидно—редакцией, так: «Дополнение к статье: Воспоминания об А. С. Грибоедове. Описание последнего долга, отданного ему в Тифлисе». Письмо датировано «Тифлис. 20 июля 1829», но не подписано. И только рукописные записки В. Н. Григорьева устанавливают имя автора этого интересного письма. Так как оно органически примыкает к рассказу о Грибоедове в записках Григорьева, приводим этот документ целиком.

[2] Григорьев подразумевает проект создания Грибоедова с П. Д. Завилейским «Российской Закавказской Компании» (см. выше, стр. 89 и след.).

Александра Сергеевича глубочайшую скорбь о сем неоцененном, незабвенном человеке.—Судьба привела меня быть на двух встречах, сделанных бренным его останкам на границе [1] и в Тифлисе: и там и здесь горячая признательность к памяти любимого всеми человека яркими выражалась чертами.

1-го мая тело покойного министра привезено было к Джульфской переправе, через Аракс, на катерах в трахтраване, обшитом белым сукном; гроб, в виде ящика, самой простой работы был покрыт черным плисом и внутри обит кожею; за трахтраваном вели двух парадных лошадей, и назади ехало сто человек персидской конницы с одним султаном. На русском берегу Аракса, тело переложено было в другой гроб и поставлено на дроги. Свиту персидскую сменил батальон наших войск и два орудия. Таким образом, в сопровождении духовенства, генерального консула нашего в Персии и почетных жителей Нахичевани, тело довезено до реки Карабабы, отстоящей от города на четыре версты; отсюда предположена была на другой день парадная процессия.

Печальные предчувствия томили душу нашего поэта при переезде его из Тавриза в роковой Тегеран. Несколько раз вырывались у него слова: «я не ворочусь оттуда; не оставляйте костей моих в Персии, но похороните в Грузии».—Предчувствия сбылись: рука азиатского фанатизма не пощадила ни ума, ни возвышенных чувств, уже озаренных блистательными надеждами отечества... Мы встречаем прах его...

На другой день прекраснейшее весеннее утро, во всем южном блеске, озарило печальную процессию: впереди ехал взвод черноморских казаков с офицерами, за ними шло духовенство: армянский архиерей, многочисленный причет его с образами и хоругвями, и русский священник; далее покрытые траурными попонами шесть лошадей везли колесницу с бренными останками недавно счастливого человека. Балдахин колесницы был из малинового бархата с позолоченными русскими орлами и гербом покойного; за гробом вели двух лошадей: одну парадную под великолепною синею попоною с золотым шитьем, другую траурную. Шествие замыкалось батальоном тифлисского полка и двумя орудиями. —

---

[1] Замечательно, что один из первых русских, встретивших тело Грибоедова в российских пределах, был наш поэт, А. С. Пушкин, на пути в Отдельный кавказский корпус. Это было в крепости Гергеры, в горах, на границе Персии. Оба поэта умели ценить дарования друг друга. (Примечание Ф. В. Булгарина).

По сторонам процессии теснились безмолвные толпы народа. Говорят, точно также, за полгода тому назад, но только с шумными, веселыми толпами и с радостными чувствами жители встречали А. С. Грибоедова, когда он, торжествующий, в свежем брачном венце, проезжал через этот город в Персию.—Азиатская застенчивость не позволила армянкам выйти навстречу из города; закутанные в белые чадры, они сидели на крышах домов, мимо которых шла процессия, при виде гроба навзрыд плакали: я еще не видывал в народе такой единодушной, всеобщей печали! Тело поставлено было в армянской церкви, и на другой день повезено далее в Тифлис через Эриванскую провинцию.

Если подобная встреча сделана была в Нахичевани, где многие из жителей знали о душевных качествах Грибоедова только по слухам, то можете вообразить с каким чувством завидели гроб его жители Тифлиса, где он провел лучшие годы жизни, посвящая их полезным занятиям по службе и литературе, и умом своим оживляя общество. Устроенные по Эриванской дороге карантины замедлили привезение тела его до последних чисел июня месяца: с того времени по 18 июля—день, назначенный для погребения, оно находилось в Артачальском карантине, отстоящем от города в трех верстах. Накануне поздно вечером, тело перевезено было в Тифлис, и поставлено в Сионском соборе, на великолепном катафалке. При сем печальном случае принимал участие грузинский гражданский губернатор, статский советник П. Д. Завилейский [1]. Во всем видна была общая забота воспользоваться горестным утешением—воздать достойным образом последнюю дань праху любимого гражданина и поэта. Дорога из карантина к городской заставе идет по правому берегу Куры: по обеим сторонам тянутся виноградные сады, огороженные высокими каменными стенами. В печальном шествии было нечто величественное и неиз'яснимым образом трогало душу: сумрак вечера, озаренный факелами, стены, сплошь унизанные плачущими грузинками, окутанными в белые чадры, протяжное пение духовенства, за колесницею толпы народа, воспоминание об ужасной кончине Грибоедова—раздирали сердце знавших и любивших его! Вдова, осужденная в блестящей юности своей испытать ужасное несчастие в горестном ожидании стояла с семейством своим у городской заставы; свет первого факела возвестил ей о близости драгоценного праха: она упала в обморок, и долго не могли привести ее в чувство.

[1] О нем см. выше в воспоминаниях Н. Н. Муравьева-Карского.

На другой день происходило отпевание тела в присутствии г. военного губернатора, генерал-ад'ютанта Стрекалова, всех бывших в городе гг. генералов и почетных жителей Тифлиса. После священного служения, совершенного экзархом Грузии, митрополитом Ионою, который весьма трогательным надгробным словом заставил всех бывших в церкви проливать слезы, не могши сам почти говорить от рыданий, тело отвезено было для погребения в монастырь св. Давида [1] с торжественною церемониею, по составленному на сей случай особенному церемониалу. Все народонаселение города совокупилось в одной улице, по которой проходила процессия; на лице каждого видны были те же горестные чувства, какие обнаруживались накануне, при встрече тела. Надобно заметить, что на многих похоронных церемониях большею частию не с охотою принимают на себя какую-нибудь должность; но тут первейшие из чиновников сами вызвались участвовать в сей печальной процессии. Это делает честь благородному сословию Тифлиса.

Из занимательных писем Х. Ш., помещенных вами прошлого года в «Северном Архиве», вы уже несколько знакомы с монастырем св. Давида. Напомню вам, что он построен на крутизне бесплодной горы, замыкающей город с западной стороны: это местоположение всегда чрезвычайно нравилось Александру Сергеевичу. Однажды, в разговоре со мной, он назвал монастырь сей: п и и т и ч е с к о ю п р и н а д л е ж н о с т и ю Т и ф л и с а. Об этом монастыре он упоминал в трагедии своей «Грузинская ночь».

Тифлис. 20 июля 1829.

---

[1] В последний проезд через Эривань в Персию, Грибоедов как будто имел предчувствие, что не возвратится оттуда, и неоднократно, шутя, говорил юной подруге своей: «не оставляй костей моих в Персии: если умру там, то похорони меня в Тифлисе в монастыре св. Давида». (Примечание Ф. В. Булгарина).

Граф И. О. Симонич

СМЕРТЬ ГРИБОЕДОВА

Граф И. О. Симонич, уроженец Иллирии, в молодости—капитан французской службы, взятый в плен под Красным в 1812 году. После окончания Отечественной войны остался в России и поступил на русскую службу. В 1819 году был послан на Кавказ в чине генерал-майора командиром батальона Грузинского гренадерского полка. После войны поселился в Тифлисе и завел обширное хозяйство. «Гр. Симонич женился на хорошенькой княгине Анне Атаровне»,—писал Грибоедов Кюхельбекеру 1 октября 1822 г. «Он в душе не злой и не дурной человек, но из первых пройдох»,—пишет о нем в своих записках Н. Н. Муравьев-Карский (см. «Русский Архив» 1893 г., № 11, стр. 324—325). После убийства Грибоедова был назначен полномочным министром при персидском дворе. Умер в 1850 году.

Его воспоминания были опубликованы впервые в газете «Москва» 1867 г., № 145, со следующим подзаголовком редакции. «Извлечение из записок генерал-лейтенанта графа Ив. Ос. Симонича, бывшего российско-императорским полномочным министром при персидском дворе. Подлинные записки писаны по-французски. Приносим искреннейшую благодарность графу И. О. Симоничу за сообщение этой любопытной выписки».—Рукопись подлинных записок графа Симонича на французском языке хранится в рукописном отделении Библиотеки Академии Наук СССР.

... Бренные останки членов нашего посольства, которые пали под ножами убийц тегеранского населения в 1829 году, были свалены в кучу, в одну общую яму за городом, у подошвы городского вала, между Казбинскими и Дулабскими воротами. Мы знали место по указанию старика-армянина, заведывавшего похоронами убитых по повелению Фетх-Али-шаха.

С того времени, как императорское посольство избрало своей резиденцией эту столицу [г. Тегеран], к несчастью, я беспрестанно должен был проезжать мимо этого места, потому что оно находилось близ самой дороги, ведущей в Шах-Абдул-

Азим,—путь, которым я следовал, как наилучшим, во время ежедневных прогулок в коляске. Мне тягостно было как человеку и как христианину; мой сан представителя великой державы был оскорблен при виде места, где зарыты были, под кучею нечистот, трупы наших злополучных соотечественников. Я решился приискать им убежище святое и не имел покоя до тех пор, пока не достиг этой цели. Я не сомневался в согласии шаха, но зная предрассудки персиян, которые не допускают ввоза мертвых тел в ограду города, опасался встретить сопротивление духовенства и народа. Впрочем, я не хотел ни чтобы из этого вышло спорное дело, ни чтоб я нашелся вынужденным обратиться к силе и власти.

Между тем, мои связи с главными муллами делались столь искренними, что имам-джуме[1] мне сделал визит. После этой чести, коей никто из русских посланников не был удостоен, я рискнул пустить в ход мою просьбу. Имам-джуме принял ее очень хорошо, шах также из'явил свое согласие, в чем я не сомневался. Я тотчас велел приготовить каменный подземный склеп во дворе армянской церкви, расположенной близ Казбинских ворот, в том самом квартале, где была и резня, и когда склеп был готов, приступили к выкапыванию. 12 июля [1836 г.] вечером была совершена эта священная церемония, на которой присутствовали от посольства первый секретарь барон Боде и два сеида, присланные имам-джуме. Армянские священники в полных облачениях читали молитвы во все время наполнения гроба костями мертвых и сопровождали его в церковь. Церемония кончилась в 11 часов вечера, не будучи потревожена ни малейшим случаем. Потом я велел покрыть склеп сводом, над которым сделали каменное возвышение с поларшина вышины, в виде гробницы, и на нем поставлен из мрамора изваянный крест без надписи. Каждый год я ездил в эту церковь служить панихиду и при от'езде из Персии был также, чтобы поклониться и сказать последнее «прости».

Тут, я думаю, было бы кстати рассказать все, что я узнал об этом страшном происшествии.

[1] Это высший по сану между муллами. Выбор сего почетного лица принадлежит правительству, хотя большей частью в каждом большом городе одна фамилия пользуется преимуществом носить это звание по наследству. Таким образом, ребенок может быть имам-джумою, не будучи муштеидом. В Тавризе его называют шейх-уль-ислам. (Примечание И. О. Симонича).

В одном предшествовавшем замечании (глава 1-ая) я сказал, что катастрофа эта не должна быть приписываема причинам политическим [1]. Лица различных партий и различных вероисповеданий, коих я расспрашивал, все единогласно сходились на одном весьма важном обстоятельстве, именно, что мой несчастный друг, покойный Грибоедов, в отношении к шаху принял надменный тон, доходивший до безрассудства. Фетх-Али-шах, после каждой аудиенции, которую он ему давал, уходил столь раздраженным, что весьма легко было предвидеть какое-либо несчастье. Часто при своих придворных случалось ему вскрикивать: «Кто меня избавит от этой собаки христианина?» [2] Мирза-Абул-Гассан-хан, министр иностранных дел, главный деятель при всяком случае, когда что-либо касалось европейцев, ибо при дворе шаха не было никого, знавшего наши обычаи,—один говорил о нас с некоторой опытностью, как человек, бывавший несколько раз посланником в С.-Петербурге, Вене, Париже и Лондоне. Итак, Абул-Гассан-хан однажды вечером у Эмин-ед-Довлета, в присутствии большого общества, где разговаривали о дневных происшествиях и толковали об удобнейших средствах для избавления шаха от столь докучливого гостя, предложил образовать род возмущения: «Мы заставим народ сильно кричать, — говорил он, — и после этого напишем в Петербург: вы прислали нам человека, который не умеет себя вести у нас,— смотрите, чего он придерживается, как бы не случилось великого несчастия! Отзовите его, если желаете сохранить доброе согласие между двумя странами. Поверьте мне, — прибавил он,— я знаю Европу и особенно Россию: он будет отозван» [3]. Совет,

---

[1] Симонич ошибается; политическая подкладка убийства Грибоедова очевидна после изучения материалов, которые были опубликованы после смерти Симонича, т. е. во вторую половину прошлого столетия.

[2] Эти слова являются преувеличением. Сохранилось письмо Фетх-Али-шаха к сыну принцу Али-Нали-Мирзе, посвященное тегеранской трагедии; в этом письме никакой злобы против Грибоедова не чувствуется. — См. В. Минорский. «Цена крови» Грибоедова. Неизданный документ. — «Русская Мысль» (Париж) 1923 г., кн. III—V, стр. 7.

[3] Главнейшей задачей русского представительства в Персии было получение следуемой по Туркманчайскому договору контрибуции. Это и ожесточило против Грибоедова знатных персиян. Грибоедов же неоднократно в донесениях русскому правительству подтверждал тяжелое состояние персидской казны и добавлял, что наследника престола

предложенный Абул-Гассан-ханом, не имел немедленных последствий, но идея была дана, и многочисленная прислуга, всегда присутствующая на всех собраниях персидской знати — все слышала.

Наступает дело двух женщин, выдачи коих требовал русский посланник как наших подданных и военнопленниц, хотя они приняли исламизм и находились в гареме Асиф-ед-Довлета. Это был слишком сильный удар, нанесенный магометанскому фанатизму и уважению к могущественной личности. Несмотря на это, он добился, чего требовал. Но и тут еще Грибоедов сделал большую неосторожность, заставив этих женщин перевести к себе на дом, где кроме мужчин никого не было. Следовало бы их поместить, до отправления в Грузию, в какой-нибудь армянский и еще лучше в мусульманский дом, и во всяком случае в ином месте, но не у себя. Это произвело огромный скандал, и надо сознаться, что везде в другой стране было бы то же самое, ибо благонравие не допускает, чтобы молодые женщины жили под одною и тою же кровлею с кучею молодежи. В Тегеране же вмешалась еще религия и совершенно справедливая дурная репутация христиан, составлявших прислугу посланника.

Волнение было сильное между населением, и во всем городе только и толковали о позоре видеть женщин мусульманок, перешедшими в руки гнусных русских. Грибоедов, повидимому, не знал, что происходило, ослепленный судьбою или избытком гордости. При этом положении дел, он дал еще приют одному шахскому евнуху, который, пользуясь своим происхождением из Эривани, бежал из шахского гарема и просил возвращения на родину. Когда кто знает святость гарема, род благоговения, с которым окружают его персияне, стыдливость, с которою они выражаются, говоря об этом месте, тому легко понять, как Фетх-Али-шах сильно был оскорблен в сане неограниченного монарха и ревнивого мужа. Но спросят, может-быть, мог ли министр русский нарушить свой долг, отказывая в убежище подданному своего государя? Разумеется нет, ежели б человек этот пришел внезапно, желая самопроизвольно стать под его покровительство; но тут ведь были предварительные интриги, перего-

---

не следовало бы доводить до крайности денежными требованиями. Но николаевские чиновники были неумолимы, и Грибоедову оставалось лишь быть исполнителем их требований. См. А. П. Б е р ж е. «А. С. Грибоедов, как дипломат» — «Русская Старина» 1876 г., № 12.

воры между евнухом и армянами, окружавшими посланника. Грибоедов имел время сообразить, какое унижение он готовил шаху, ободряя предприятия этого человека. Русский посланник должен был также знать, что так как в продолжение двух лет Персия и ее монарх перенесли много испытаний, вследствие побед наших и мирных трактатов, нами на них наложенных, то государству — победителю более славы уступать побежденному в его мелочных самолюбивых интересах. Он должен был бы предложить евнуху мирзе Якубу отложить на некоторое время свое предположение побега, тем более, что неизвестно, имел ли он право считаться в числе русских подданных, ибо был взят на службу к шаху и принял мусульманскую религию в отдаленную эпоху, когда Эривань принадлежала Персии [1]. Как бы то ни было, Фетх-Али-шах еще не дал разгуляться своему гневу, он старался договориться и искал под различными предлогами выдачи беглого. Грибоедов стоял на своем, за что его можно похвалить, ибо, раз решившись принять его к себе, он не мог без стыда возвратить его обратно персиянам.

Почти открытое неприязненное положение между русским министром и двором; партия духовенства, которую раздражал до крайности увоз двух женщин; партия Асифа, которая по той же причине искала только случая мщения; наконец, челядь придворная, которая старалась угодить ненависти шаха; эта прислуга вельмож, которая вспомнила совет мирзы-Абул-Гассан-хана, все это вместе поднялось вдруг, побуждением ли двора, или Асиф-ед-Довлета, или муштанда, все равно, толчек был дан, и толпа понеслась и окружила дом, занимаемый русскою императорской миссией. Сначала были только крики и повторение требования о выдаче евнуха и двух женщин. Я глубоко убежден, что если бы покойный Грибоедов имел достаточно терпения и хладнокровия, чтобы оставить шуму увеличиваться и разноситься в воздухе; если бы он удержал всех своих дома, не позволяя им показываться ни вне, ни у окон, я, как сказал, глубоко убежден, что эта толпа разошлась бы к вечеру сама по себе, не осмелившись нарушить неприкосновенность посольского дома, если бы даже эта толпа не была разогнана войсками, которых бы, наконец, прислал шах.—Я в этом убежден, зная хорошо характер

[1] О Мирзе-Якубе см. в статье М. Я. Алавердянца: «Кончина А. С. Грибоедова по армянским источникам» — «Русская Старина» 1901 г., № 10.

персиян по совершенно схожим случаям, кои я видел, даже по совершенно подобному случаю, происшедшему в нашем посольстве в Тавризе лет 20 тому назад. Но предопределение как бы подтолкнуло Грибоедова: он велел казакам стрелять по народу, была пролита кровь, одного жителя убили. Его тело понесли в мечеть. Муштанд, с высоты кафедры, приказал народу итти отомстить кровь—кровью же. Известен последовавший результат.

Наши, подавленные многочисленностью, после героической обороны, пали, заставив заплатить дорого за свою жизнь. Сарбазы (регулярная пехота), посланные из Орека Зели-султаном разогнать сборища, прибыли, когда все уж было кончено. Это замедление, которое хотели об'яснить соучастием двора, об'ясняется гораздо проще, именно тем, о чем мы только что говорили. Когда шах узнал о движении, он не желал его остановить, ибо думал проучить посланника. Зная свой народ, он никогда не думал о могущей случиться катастрофе. Он не мог предвидеть, что посланник будет столь неосторожен, что решится атаковать целое народонаселение своими казаками.—Смущение Фетх-Али-шаха и его двора было великое после происшествия. Шах собрал совет из своих министров и великих сановников, и мне известно от очевидца-свидетеля, что в первые минуты собрание представляло вид весьма печальный. Монарх и каждый из предстоявших чувствовали себя обремененными ответственностью, которая повисла над ними; они полагали, что Россия воспользуется этим случаем для блистательного мщения, где они первые будут жертвою. Наконец, Фетх-Али-шах начал речь и после восклицаний: «Ио-Аллах! Ио-Али!»—он сказал:—«Что сделано, того переделать нельзя. Богу это было угодно. Теперь нам остается только готовиться к войне, и готовиться победить или умереть. Чтобы весь мой народ поднялся, я сам стану во главе его, возьму с собою мои сокровища и все, что я имею. Господь будет нашим судьей». Потом он приказал похоронить тела, поручив исполнение этого армянам, повелев положить отдельно тело министра, как будто он предвидел, что его вытребуют.

Старик армянин, который распоряжался тогда похоронами, говорил мне, что им похоронены сорок тел. Персияне никогда не хотели сознаться, сколько народу они потеряли. Из наших, между прочими, находился князь Меликов из Тифлиса, который не принадлежал к посольству. Он был племянник Манучар-хана,

который послал его для предупреждения Грибоедова о готовящемся волнении. Несчастный не успел вернуться к своему дяде. Один католический священник из исфаганской миссии, находившийся тогда в Тегеране, говорил мне, что один мусульманин, живший по соседству с домом нашего министра, также предупредил его, предлагая даже убежище у себя; по словам священника, услужливый предвестник был из посольского дома позорно выгнан. Непонятная судьба! [1].

---

[1] Симонич ничего не говорит о роли в убийстве Грибоедова Аллаяр-хана, зятя персидского шаха, а именно о нем Грибоедов говорил: «Я знаю персиян, Аллаяр-хан мой личный враг, он меня уходит! Не подарит он мне заключенного с персиянами мира». Английский офицер Уиллок писал о нем: «Не подлежит сомнению, что он был главным зачинщиком войны... ему обязано персидское правительство постигшими его бедствиями»; см. И. А. Зиновьев. «Россия и Персия». П. 1897 г.

Барон К. К. Боде

СМЕРТЬ ГРИБОЕДОВА

Барон К. К. Боде после смерти Грибоедова состоял при Симоничe первым секретарем русского посольства в Персии. С его братом был знаком автор «Горя от ума» еще с середины 20-х годов. «Я ночевал у барона Боде, публициста из «Духа журналов», — писал Грибоедов 12 сентября 1825 года о его брате А. К. Боде Бегичеву из Феодосии. Об А. К. Боде, несомненно, говорит А. Муравьев (см. ниже), живший осенью 1825 года в Симферополе: «Мне говорили, что он (Грибоедов) недоступен для всех, исключая какого-то немецкого барона, давнего его приятеля». Ср. С. Елпатьевский. «Крымские очерки». Изд. второе, Москва, 1915 г., стр. 120 — К. К. Боде был также литератором; о нем см. С. А. Венгеров: «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых», т. V, стр. 15. Его перу принадлежат «Путевые записки», опубликованные в «Библиотеке для чтения» 1854 г., т. 123, а также ряд сочинений на немецком и английском языках о Персии и о соседних странах. Его статья «Смерть Грибоедова» была опубликована в журнале «Живописное Обозрение» 1879 г., № 4.

Постараюсь в этих немногих строках передать те сведения, насколько они сохранились в моей памяти, которые я почерпнул из личных расспросов во время моего пребывания в Персии о смерти Грибоедова в Тегеране, 30 января 1829 года [1].

Не стану здесь разбирать всех причин непопулярности Грибоедова, как русского посланника при шахском дворе, приведшей

[1] Размеры этого сборника не дали возможности включить сюда все мемуарные материалы о смерти Грибоедова вместе с теми подробными комментариями, которые детально осветили бы причины этого события. Поэтому переиздаем только воспоминания графа Симонича и барона Боде, впоследствии занимавших руководящие посты в русском посольстве в Персии, исправляя в них только самые существенные ошибки. В настоящее время подготовлен к печати для издательства «Академия» сборник русских, английских, французских, персидских и армянских материалов и документов, посвященных смерти Грибоедова.

к роковой катастрофе; ограничусь тем, что главная причина состояла в неудовольствии шаха и его сановников против Александра Сергеевича за настойчивость, с которой он требовал выдачи наших русских пленных, укрываемых в гаремах персидских вельмож и во дворце самого шаха, равно как и за открытое покровительство, которое он оказывал тем русским, которые прибегали к его защите.

Наконец, враждебно расположенные к Грибоедову люди подстрекнули народ осадить дом посольства и силою вырвать из наших рук укрывающихся в стенах его русских пришельцев. Когда толпа теснилась около ворот, дерзко требуя выдачи дезертиров своих, как она выражалась, один из конвойных казаков, защищая вход во двор, выстрелом из пистолета убил, как говорят, персиянина. Ожесточенный народ поднял и отнес бездыханный труп на шахский м а й д а н (или дворцовую площадь), куда собралось многочисленное духовенство, разжигая страсти черни на мщение за пролитую мусульманскую кровь. От слов перешло скоро к делу. Народ снова явился еще в большем количестве к дому посланника. Тогда Грибоедов и остальные чины миссии, видя, что дело плохо, приготовились к осаде и заделали все окна и двери; вооруженные и в полной форме, они решились защищаться до последней капли крови. Должно заметить, что близ самого дома русского посольства помещались заложники персидского правительства, бахтиарцы, племени лур, одного из самых буйных и диких племен, населяющих горные местности к югу и западу от Исфагана. Для них этот случай представлял завидную поживу. Как кошки—они перелезли через стены и забрались на плоскую (как всегда в Персии) крышу, просверлили широкие отверстия в потолке и начали стрелять в наших сверху вниз. Между тем толпа ворвалась в ворота и, положив наповал всех казаков, вломилась в дверь. Говорят, что Грибоедов одним из первых был убит пулей из ружья бахтиарца; второй секретарь миссии Аделунг и, в особенности, молодой доктор (имя которого, к сожалению, ускользает из моей памяти) [1] дрались как львы; но бой был слишком неравен, и вскоре все пространство представило взору одну массу убитых, изрубленных, обезглавленных трупов. Александра Сергеевича, вероятно, отличили по его мундиру и внешним украшениям, потому что раз'яренная толпа, упившись кровью несчастных русских, повлекла труп нашего по-

[1] Это был доктор Мальмберг.

сланника по улицам и базарам города, с дикими криками торжества [1].

Когда все было кончено и наступила мертвая тишина, явилась на сцену городская стража и военный отряд, присланные, будто бы, по повелению шаха, для усмирения народа. Это была горькая ирония вслед за ужасной трагедией. Узнав, что труп находится в руках черни, шах приказал отобрать его и уведомить первого секретаря Мальцева, который один из русских спасся каким-то чудом, потому что жил не в посольском доме, а на квартире мехмандаря (т. е. персидского сановника, прикомандированного к миссии), что блюстители порядка успели вырвать тело российского посланника из рук раз'яренной черни, и шах желает знать, какое распоряжение сделает Мальцев по этому случаю. Мальцев просил препроводить бренные останки посланника в Тавриз, куда и сам отправился.

Пока эти печальные события происходили в Тегеране, молодая супруга Грибоедова, Нина Александровна, урожденная княжна Чавчавадзе, осталась в Тавризе в полном неведении, ожидая с нетерпением возвращения мужа. Даже когда тревожные известия проникли до Тавриза, никто не решался сообщить о них несчастной женщине, еще в то время беременной. Наконец, было поручено одной француженке при дворе Наибс-султана, г-же де-ла-Мариньер (бывшей лектрисе неаполитанской королевы, младшей сестры Наполеона I) [2], сообщить со всевозможной осто-

[1] В мое время еще красовался один персидский серхенг (полковник) в воротнике и обшлагах, черных бархатных с густым серебряным шитьем, снятых, должно быть, с мундира Грибоедова. (Примечание К. К. Боде).

[2] О ней в воспоминаниях А. С. Гангеблова, сосланного в 1826 году в Урмию, записано: «У мадам Ламариньер каждый день я проводил часа по два. Это была разбитная француженка лет за сорок пять, живая, бойкая. По ее рассказам, она служила кем-то при дворе Элизы Баччиоки, сестры Наполеона, знакома была с мадам Сталь и играла с нею на любительских спектаклях; она перебывала почти во всех европейских столицах, была замужем за доктором медицины. Судьба застала как-то эту чету в Тифлисе, где ее знали Ермолов и Грибоедов. В Тифлисе муж ее умер. Ей предложили место при детях Аббаса-Мирзы. Когда ее воспитанник Малек-Касум-Мирза назначен был правителем Урмийской области, Ламариньер последовала за ним и при дворе его состояла в качестве première dàme du harème, а с тем вместе заведывала собаками и соколами принца»; см. «Русский Архив» 1886 г., № 6, стр. 246—247. — О ней Грибоедов писал в письме к Н. А. Каховскому из Тавриза от 3 мая 1820 года.

рожностью г-же Грибоедовой, что будто бы супруг ее, озабоченный важными делами, не может писать ей; но просит ее выехать в Тифлис, куда и сам за нею немедленно последует. Г-жа Мариньер, исполнив поручение, вызвалась в то же время сопутствовать несчастной. Нина Александровна смиренно покорилась мнимой воле мужа и с стесненным сердцем выехала из Тавриза, но во время пути сердце предвещало ей нечто недоброе, ее смущало странное и таинственное обращение с нею окружающей прислуги. Добравшись до Эривани, она приступила к своей спутнице, умоляя со слезами вывести ее из тяжкого положения и не скрывать от нее всей правды, присовокупляя, что самое тяжелое горе было бы для нее легче переносить, чем мучительную неизвестность. Однакож, весть об ужасной смерти мужа так сильно потрясла ее, что несчастная одним ударом лишившись обожаемого друга, потеряла и драгоценный залог их любви. Безутешная вдова вернулась обратно под кров своих родителей.

Приведенные здесь сведения были мне переданы самой г-жей Мариньер. Я же имел счастье познакомиться впервые с Ниной Александровной, в конце 1837 года, в доме графини Симонич, супруги бывшего посланника нашего в Персии, а в 1838 г. на обратном пути из России в Персию я опять посетил Тифлис, где имел случай короче оценить всю прелесть души этой редкой женщины. Узнав о желании моем взглянуть на могилу покойного ее супруга, Нина Александровна сама вызвалась быть моим путеводителем. По крутым тропинкам вместе мы добрались пешком до вершины горы, на которой стоит обитель св. Давида. Тут, в пещере, высеченной в дикой скале, поставлен ее заботливой рукой памятник, под которым покоится прах высокоталантливого человека. Мы преклонили колена в безмолвии.

Грибоедов при жизни трудился для славы и вполне достиг ее. Но что в моих глазах ставит Грибоедова даже выше всех его литературных заслуг, как бы велики они ни были, это та настойчивость и неустрашимость, с которою он умел поддерживать достоинство русского имени на Востоке. Эти качества повсюду уместны в государственном человеке, но на Западе они могут проявляться без особого опасения; совсем иное на Востоке. Там проявление их часто сопряжено с опасностью для жизни и требует особенного мужества и нравственной силы. Таково было положение нашего посланника в Персии. Имея перед собою для руководства статьи Туркманчайского трактата, в силу

которых персидское правительство обязывалось выдавать нам беспрекословно, по востребованию нашему, всех русских подданных, взятых в плен, не только в продолжение последней войны, но и прежде, когда персияне делали набеги в наши пределы и уводили в рабство наших кавказских жителей,—Александр Сергеевич не давал потачки ни сановникам персидского двора, ни мусульманским духовным лицам, ни самому шаху, когда одни или другие старались укрывать и разными уловками не выдавать требуемых нашею миссиею русских невольников. Таким образом, он восстановил против себя почти всех влиятельных лиц, окружающих двор «Центра-мира»—Кебле-элем, как величают падишаха Ирана, и только нужна была одна искра, чтобы воспламенить все те горючие вещества, которые окружали нашего посланника.

Из приведенного нами рассказа видно, что выстрел казака, защищавшего доступ в жилище посланника, был той искрой, которую так жадно ожидали убийцы Грибоедова.

Отказать в убежище бедным русским подданным на чужбине, искавшим нашей защиты, было бы крайне неполитично, не говоря уже о беззаконности и бесчеловечии такого поступка, следовательно это было и невозможно для русского представителя в Персии; выдать же их обратно персиянам, когда они поступили уже под наше покровительство, значило обречь их на верную смерть и в то же время покрыть себя вечным позором. Грибоедову не оставалось иного исхода, как отразить силу силою и лечь на месте, защищая святое дело права и человечества. Разбирая роковое событие с этой точки зрения,—а нельзя смотреть на него иначе,—мы приходим к заключению, что заслуги Грибоедова перед лицом всей России истинно велики и достойны всякого уважения; жаль только, что они не были достаточно признаны его современниками. Пусть же беспристрастное, но вместе с тем признательное потомство оценит их как следует.

Нельзя окончить повествование о смерти Грибоедова, не упомянув также об участи его товарищей, которые вместе с ним пали жертвой злобы персидской черни. Я упомянул выше, что тело Александра Сергеевича было вывезено в Тавриз и оттуда на родину; но остальные убитые, члены миссии и служители, были по распоряжению персидского начальства отнесены армянскими жителями Тегерана за город, на гласисе коего за контр-эскарпом была вырыта глубокая канава, куда тела их были брошены и потом зарыты землею. В таком положении

оставались они, когда несколько лет спустя посольство графа Симонича явилось ко двору Фетх-Али-шаха; но так как посещение наше в Тегеране было только временное, то невозможно было предпринять ничего серьезного для перенесения тел наших погибших соотечественников в более приличное место; так дело оставалось до кончины старого шаха. Когда же Могамед-шах принял бразды правления и русская миссия из Тавриза была переведена в Тегеран, в нас возникла задушевная мысль воздать злополучным товарищам последнюю честь и доставить христианское погребение. Исполнение этого желания последовало однако ж не ранее 1836 года, в то время, когда шах выехал со своим двором на летнее кочевье в Эльбурских горах, а миссия наша в урочище Аргованье, у подножия тех же гор. На мою долю выпало завидное, но вместе с тем печальное поручение заняться перенесением бренных останков наших соотечественников в приготовленную для них общую могилу в ограде армянской церкви, внутри города, в шах-абдул-азимском квартале.

А. С. Пушкин

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ

Встреча Пушкина с телом Грибоедова произошла 11 июня 1829 г. по дороге из Тифлиса в Карс у перевала через Безобдальский хребет (см. Е. Вейденбаум. Пушкин на Кавказе в 1829 г. — «Русский Архив» 1909 г., № 4, стр. 679). Эту встречу он описал в своей статье «Путешествие в Арзрум», из которой и извлекаем печатаемый ниже отрывок; отрывок этот вошел в статью, напечатанную самим Пушкиным в первой книге «Современника» 1836 г. — О Пушкине и Грибоедове см. статью И. Розанова в Пушкинском сборнике студентов московского университета, М. 1900 г., стр. 100—135.

...Человек мой со вьеючеными лошадьми от меня отстал. Я ехал по цветущей пустыне, окруженной издали горами. В рассеянности проехал я мимо поста, где должен был переменить лошадей.

Прошло более шести часов, и я начал удивляться пространству перехода. Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле, я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пестрых лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. Я из'яснился кое-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла мне сыру и молока. Отдохнув несколько минут, я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. — Откуда вы? — спросил я их.—Из Тегерана.—Что вы везете?—Грибоеда. Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году, в Петербурге, перед от'ездом его в Персию.

Он был печален, и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить, он мне сказал: Vous ne connaissez pas ces gens-là: vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux. Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междуусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни [1], узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею.

Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем, как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе, и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском Телеграфе».

---

[1] Персидский сановник, очевидец убийства Грибоедова, приславший в 1830 году свои воспоминания об этом в Париж в журнал «Nouvelles Annales des Voyages», пишет следующее об издевательстве над трупом Грибоедова: «Я узнал от своих слуг, что изувеченный труп Мирзы Якуба волочили по всему городу и, наконец, бросили в глубокий ров. Так же точно было поступлено с предполагаемым телом г. Грибоедова. К ногам были привязаны веревки, и шутовская процессия сопровождала его по главным улицам и базарам Тегерана, выкрикивая по временам: «Дорогу, дорогу русскому посланнику, идущему с визитом к шаху. Встаньте, чтоб засвидетельствовать свое почтение, и приветствуйте его по моде франков, обнажая голову». Поволочив таким образом труп долгое время, его выставили на видном месте на площади, примыкающей к главным воротам крепости». (Этот отрывок на русский язык переведен впервые в статье М. Я. Алавердянца «Кончина А. С. Грибоедова по армянским источникам»—«Русская старина» 1901 г., № 10; в издании Серчевского, где эти воспоминания были впервые переведены, эти строки были пропущены.

Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств[1]. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда с своею молодостью и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью, уехал в Грузию, где пробыл восемь лет в уединенных неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его на ряду с первыми нашими поэтами[2]. Через несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть,

[1] Вероятно, поэт имеет в виду роль Грибоедова в дуэли А. П. Завадовского с В. В. Шереметевым. — В 1830-х гг. Пушкин предполагал вывести в романе «Русский Песлам» Завадовского, Истомину и Грибоедова; в дошедших до наших дней планах этого ненаписанного произведения неоднократно упоминаются их имена. Между прочим, характеризуя общество Завадовского, Пушкин называет его — в четвертом плане «Песлама» — «les parasifes». — Несомненно, к «Русскому Песламу» относится неизданный прозаический отрывок Пушкина «Les deux danseuses», в котором упоминаются имена Завадовского и Истоминой; см. В. И. Срезневский «Пушкинская коллекция, принесенная в дар библиотеке Академии Наук А. А. Майковой» — «Пушкин и его современники. 1905 г., вып. IV, стр. 23.

[2] Сохранился следующий отзыв Пушкина о Грибоедове при получении известия о его смерти: «В прошлом году (в апреле 1829 года) я (В. А. Ушаков) встретился в театре с одним из первоклассных наших поэтов (Пушкиным) и узнал из его разговоров, что он намерен отправиться в Грузию. «О, боже мой, — сказал я горестно, — не говорите мне о поездке в Грузию. Этот рай может назваться врагом нашей литературы. Он лишил нас Грибоедова». — Так что же? — отвечал поэт, — ведь, Грибоедов сделал свое. Он уже написал «Горе от ума». — См. В. А. Ушаков. «Московский Телеграф» 1830 г., № 12, стр. 315.

постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна [3].

Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны.

---

[3] В письме известного сплетника пушкинской поры — московского почтмейстера А. Я. Булгакова от 21 марта 1829 г. к брату—К. Я. Булгакову, сохранилось шутливое замечание Пушкина: «Он (Пушкин) едет в армию Паскевича, узнать ужасы войны, послужить волонтером, может и воспеть все это. «Ах, не ездите,— сказала ему Катя, — там убили Грибоедова». — «Будьте покойны, сударыня, — неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичев? Будет и одного». — См. «Русский Архив» 1901 г., № 11, стр. 298.

РАССКАЗЫ

ОБ А. С. и Н. А. ГРИБОЕДОВЫХ

Д. А. Смирнов

РАССКАЗЫ ОБ А. С. ГРИБОЕДОВЕ, ЗАПИСАННЫЕ СО СЛОВ ЕГО ДРУЗЕЙ

Автор собранных здесь бесед с друзьями Грибоедова, Дмитрий Александрович Смирнов (1819—1866), приходился родственником автору «Горя от ума» (прапрадед Грибоедова — Леонтий Семенович и прапрапрадед Смирнова — Михаил Семенович были родные братья). Еще в детстве Смирнов, воспитывавшийся в имении Сущево, купленном его родными у отца писателя Сергея Ивановича, имел возможность постоянно слышать имя Грибоедова в многочисленных о нем рассказах. Мать Смирнова, Варвара Семеновна, подходила по годам к юному Грибоедову и, по выражению Смирнова, «почти что воспитывалась с ним»; вероятно, еще с детства он знал мать писателя — Настасью Федоровну. Это дало ему в дальнейшем возможность писать впоследствии о Грибоедове, что «любовь к этой высокой, светлой, так рано и так мученически погибшей личности, запавши в душу ребенка, не оставляла Смирнова никогда; напротив, она «чем старей, тем сильней».

По окончании гимназического курса Смирнов поступил в 1837 г. в Московский университет. С этого времени начинаются его занятия по биографии и изучению творчества Грибоедова.

Так, в 1840 году он познакомился в Москве с лучшим другом Грибоедова — С. Н. Бегичевым, а у него в доме с Б. И. Ионом, воспитателем Грибоедова, прожившим со своим учеником вместе 11 лет. Эти старики до конца дней своих оставались верны памяти Грибоедова и, часто, сходясь вместе, предавались самым задушевным и оживленным воспоминаниям о великом человеке. Молодой студент, хорошо понимавший ценность их рассказов, приходя домой, записывал все, что слышал. Таким образом, скоро набралась у него, «хотя небольшая, но такая тетрадь биографических о Грибоедове материалов, какой, конечно, нигде нет».

В 1842 году в работе Смирнова над собиранием грибоедовских материалов происходит перерыв, так как с апреля месяца этого года он был определен на службу в провинцию. И лишь уйдя в отставку в 1851 году, Смирнов возвращается к занятиям по Грибоедову. Около этого времени он знакомится с единственной сестрой писателя, Марией Сергеевной Дурново, которая сообщила ему много интересных подробностей о жизни Грибоедова. В знак же своей приязни к Смирнову

она подарила ему «лучшую свою, как она выразилась, вероятно, единственную в России драгоценность» — два подлинных, писанных акварелью, портрета своего брата (20 и 32 лет). Тогда же он начал переписку с лицами, которые знали Грибоедова; так, несколько писем прислала ему вдова писателя — Нина Александровна. И, наконец, в 1858—59 гг. Смирнов познакомился и расспросил о Грибоедове таких авторитетных свидетелей его жизни, как А. А. Жандр, В. Ф. Одоевский, Ф. В. Булгарин, С. П. Жихарев и артистов И. И. Сосницкого и М. С. Щепкина.

Кроме биографических материалов, Смирнов собирал или списывал все доступные ему литературные произведения и письма Грибоедова. Так, посетив С. Н. Бегичева в 1857 году в его Тульской деревне, Смирнов снял копии всех писем Грибоедова к нему; подробно им была изучена рукопись «Горя от ума», хранившаяся у Бегичева и представлявшая первоначальную редакцию комедии. Но «самым важным, даже превосходившим всякие ожидания» приобретением Смирнова явилась большая переплетенная тетрадь черновых бумаг Грибоедова, которую поэт забыл у Бегичева, проезжая полномочным министром в Персию (в июне 1828 года); тетрадь эту Бегичев подарил Смирнову.

Таким образом, у Смирнова накопился первоклассного значения документальный и мемуарный материал о Грибоедове, благодаря которому он мечтал «издать полную книгу о Грибоедове, в которую входила бы возможно полная его биография, все, что было написано самим Грибоедовым, и все, что было писано о нем (последнее, как особое к книге приложение)».

Но эта мечта его почти не претворилась в жизнь. Одной из причин было то, что с начала 60-х годов он сделался одним из самых ревностных мировых посредников и много времени тратил на эту работу; между прочим, в журнале Достоевского «Эпоха» Смирнов в 1854—55 гг. печатал очерки «Из записок мирового посредника». Другая причина заключалась в том, что Смирнов очень медленно обрабатывал собранные им материалы, и, наконец, чуть ли не до конца жизни он не торопился с печатанием собранного им «богатства» по тем соображениям, что «вполне говорить о Грибоедове еще действительно рано, а говорить о нем никогда не будет поздно». Таким образом, при жизни Смирнов опубликовал только одну статью: «Черновая тетрадь Грибоедова» и то только в 1859 году, после смерти Бегичева (в «Русском Слове» №№ 4—6). При жизни же Смирнов подготовил к печати еще две работы по тем материалам, которые хранились у него на руках. Первая работа — «Грибоедов и его критики» или, как он называл ее в письме к князю В. Ф. Одоевскому, «Материалы для истории «Горя от ума»; здесь сообщалась во всех подробностях история изданий «Горя от ума», окончательный текст ее с вариантами по экземпляру, хранившемуся у Бегичева, и все появившиеся в печати критические о ней статьи. От этой работы лишь сохранилось предисловие Смирнова к «Горю от ума», которое было опубликовано Н. В. Шаломытовым в «Русской Старине» 1909 г., № 2, стр. 320—348. Другой же

его большой прижизненной работой должны были явиться «Материалы для биографии А. С. Грибоедова», в которых Смирнов устранял много сомнений и неясностей, главным образом, из эпохи детства и юности писателя, остающиеся и доныне малоизвестными биографии, благодаря утрате всего семейного архива Грибоедовых. Из этой работы вскоре после его смерти была напечатана лишь одна полемическая статья его, написанная в защиту Грибоедова против обвинений Давыдова в его воспоминаниях об авторе «Горя от ума» (статья эта была напечатана во втором выпуске «Бесед Общества Любителей Российской Словесности» 1868 г.). Несомненно, что в «Материалы для биографии Грибоедова» должны были войти записи его бесед со всеми упомянутыми нами друзьями Грибоедова. Но эта часть собранных материалов увидала свет лишь спустя 50 лет после их подготовки к печати.

После его смерти вдова, С. А. Смирнова, принимавшая всегда самое близкое участие в литературных трудах мужа, передала материалы о Грибоедове Обществу Любителей Российской Словесности, состоявшему при Московском университете. Общество, напечатав одну вышеуказанную статью Д. А. Смирнова в своих «Беседах», обещало напечатать в следующем же номере «Материалы к истории «Горя от ума», но почему-то этого не исполнило. В 1874 году материалами Смирнова, сохранившимися в Обществе, воспользовался его председатель, почетный академик Алексей Веселовский для статьи «Очерк первоначальной истории «Горя от ума» («Русский Архив» 1874 г., № 6). К сожалению, Веселовский не перечислил, из каких бумаг состоял этот сборник, а также не сделал точных ссылок на те заимствования, которые были им сделаны из бумаг Смирнова. Также и в 1875 и в 1878 годах, когда вышли в свет два издания избранных сочинений Грибоедова, редактированные Веселовским, в помещенной здесь биографии Грибоедова он опять не сделал (за исключением двух мест на стр. 118 и 191) точных указаний на смирновские источники. И когда в 1889 году этими материалами хотел воспользоваться И. А. Шляпкин для редактирования им полного собрания сочинений Грибоедова — смирновских рукописей, «несмотря на тщательные поиски Веселовского в библиотеке Общества», уже не оказалось (см. издание Шляпкина, т. I, стр. 352). И до сих пор эти материалы не найдены. — Еще более жестокая судьба постигла смирновские материалы о Грибоедове, оставшиеся по его смерти в имении Сущево. Здесь, кроме материалов о Грибоедове, принадлежавших перу Смирнова, находился автограф первого юношеского произведения Грибоедова: «Дмитрий Дрянской», до сих пор не напечатанного, а также замечательная черновая тетрадь Грибоедова, изданная Смирновым; последняя, если судить по отрывку из нее, какими-то путями попавшему в Рукописное отделение Государственной Публичной библиотеки (стихотворение «Прости, отечество»), далеко не полностью использована в печати. Бумаги эти хранились в двух больших портфелях и сгорели вместе с богатой библиотекой Смирнова во время пожара имения, случившегося около 1877 года. Из этих материалов Смирнова сохранились каким-то чудом почти только готовые к печати записки бесед его с друзьями Грибо-

едова. Эти материалы были переданы сыном собирателя — Ю. Д. Смирновым Н. В. Шаломытову, который и опубликовал их под заглавием: «Из неизданных материалов Д. А. Смирнова к биографии А. С. Грибоедова» (записи бесед с Бегичевым, Жандром и др.) в «Историческом Вестнике» 1909 г., № 3, стр. 1031—1061 и № 4, стр. 132—163, и «Два утра у Щепкина» в «Ежегоднике императорских театров» сезон 1907—1908 гг., стр. 173—220 (последняя публикация приведена нами в виде X и XI глав «Рассказов» и лишь в той части, в которой она касается Грибоедова).

Следует указать, что рассказы Смирнова воспроизведены Н. В. Шаломытовым по чистовой копии; подлинные черновые автографы записей Смирнова, ныне хранящиеся в Государственном Театральном музее им. А. А. Бахрушина в Москве, обнаруживают, что Смирнов сильно перерабатывал свой первоначальный текст в интересах беллетристической занимательности, отчего страдала точность рассказа; неточности и прямые ошибки допускали и друзья Грибоедова, передававшие Смирнову свои воспоминания спустя несколько десятков лет после событий. Все это, по возможности, исправлено нами в подстрочных примечаниях.

I

Рассказы С. Н. Бегичева и Б. И. Иона. — Арест Грибоедова по делу 14 декабря. — Дорога с фельдъегерем Уклонским до Петербурга через Москву и Тверь. — Четверостишие Грибоедова о своем заключении. — Искусство Грибоедова очаровывать окружающих. — Прогулки Грибоедова к Жандру из под ареста по ночам. — Случай с надсмотрщиком. — Оправдание. — Слова императора Николая, сказанные Грибоедову при аудиенции. — Возвращение на Кавказ. — Паскевич ждет Грибоедова в Воронеже. — Предположения Грибоедова о женитьбе на дочери частного пристава. — Деятельное участие Грибоедова в персидской кампании 1827-28 г.г. — Отношения к Аббасу Мирзе. — Личная храбрость на войне.

Любят старики Грибоедова! Очень любят! Целые часы проходят иногда в толках о нем, в припоминаниях, самых наивных, самых добродушных, согретых искреннею любовью к предмету речи — к Грибоедову. И проходят незаметно. Один — вероятно, в сотый раз — рассказывает другому какой-нибудь случай из жизни покойного Грибоедова, а другой — тоже в сотый раз — слушает с полным вниманием, с любопытством... И вдруг что-нибудь покажется слушателю не так, и он перебивает рассказчика: «Нет, нет, постойте! Вы перепутали». И рассказчик останавливается. И вот начинается спор: «Это было тогда-то» или «это было так-то»... А я, питомец новых идей, гражданин новых поколений, слушаю эти рассказы и споры с голодным вниманием, но — сохрани боже — не с голодным вниманием какого-нибудь беллетриста или фельетонного нравописателя, нет. Я сознаю сам в себе искреннее глубокое чувство любви к Грибоедову, да, во мне это чувство сознательное, могу сказать, искушенное. И слушая

то, что через... написать страшно. Неужели перо мое осмелится определить ту меру дней, которая отпущена на земле этим двум благородным созданиям, этим двум старикам. Нет, дай бог им еще счастливых много дней, как сказал наш Пушкин. Да, дай бог.

У Бегичева семейство: только 13 лет старшему сыну, а там все мал-мала меньше, как говорит русская поговорка. И надо видеть, какой отец, какой умный, добрый, попечительный отец этот почтенный старик Бегичев. А старик Ион, доктор прав, воспитатель Грибоедова. Этот старик, ученый доктор, немец, теплая и сама в себе замкнутая душа, оплакал как-то, с год, что ли, тому назад, смерть своего попугая. В этой почти детской привязанности не видна ли самая гуманическая природа. И старик Ион написал стихи на смерть своего попугая. Надо видеть их, особенно слышать их говорящими о Грибоедове, чтобы их полюбить. Их позы и фигуры стоят иногда кисти Ван-Дейка.

1842 года, февраля 27, часов в 10 вечера отправился я к Бегичеву. Я застал его и старика Иона беседующими в кабинете. Приняли меня, как и всегда, ласково. Слово за слово речь зашла о Грибоедове, и я услышал следующее. 14 декабря 1825 года наделало, как известно, много суматохи в России. На Грибоедова, между прочим, тоже пало подозрение правительства. В феврале [1] 1826 г. прискакал в Грузию к А. П. Ермолову курьер с повелением арестовать Грибоедова и отправить немедленно в Петербург. Ермолов и Грибоедов, несмотря на различие лет и поста, были связаны тесными отношениями: с глазу на глаз они говорили друг другу «ты». Прискакавший курьер нашел за ужином Ермолова с гостями, в числе которых был и Грибоедов. Они ужинали запросто, весело и беспечно. Когда доложили Ермолову о приезде курьера, он вышел из-за стола и, прочитавши депешу в другой комнате, возвратился бледный и встревоженный и вызвал к себе Грибоедова. Грибоедов принял полученную Ермоловым весть очень равнодушно. «Ступай домой, — сказал ему Ермолов: — я могу дать тебе только 2 часа свободного времени, сожги все, что можешь». Грибоедов отказался упрямо и решительно, он не сделал ни шагу из квартиры Ермолова и велел принести себе туда из своей квартиры нужные вещи, платье, белье, деньги и прямо из квартиры

[1] Неверно. Фельд'егерь Уклонский с приказом арестовать Грибоедова прибыл в крепость Грозную к А. П. Ермолову 22 января 1826 г. вечером и на другое же утро увез Грибоедова.

Ермолова поскакал с курьером в Петербург[1]. Видно, совесть была чиста. И в самом деле совесть его была чиста в этом деле. «Я говорил им, что они дураки» — вот слова Грибоедова, которые всегда повторял Степан Никитич, говоря об отношениях его к заговорщикам[2]. Грибоедов имел удивительную способность влюблять в себя все окружающее. Можно сказать смело, что все, что только было около него, любило его. И немудрено: это был такой высокий, чистый, человечественный характер. Еще прежде слыхал я от Бегичева, что товарищи Грибоедова по службе, или, может быть просто люди знакомые, находившиеся так же, как и он, при особе Ермолова, отпуская Грибоедова в Петербург с прискакавшим за ним курьером, крепко-накрепко наказывали этому курьеру довезти Грибоедова цела и сохранна, или никогда уже к ним не показываться[3]: этот курьер имел частые поручения в Грузию. Грибоедов, как видно, не очень беспокоился о том, что его ждет в Петербурге и хотел ехать не иначе, как à son aise. А можно ли было так ехать с курьером, присланным взять его и доставить в Петербург, по подозрению правительства? Однако, так было и Грибоедов ехал à son aise. Он ночевал в Новочеркасске, а какую штуку отшил в Москве, так это, действительно, можно только с Грибоедовским характером. Вот она, по рассказу Бегичева. Приехавши в Москву, Грибоедов проехал прямо в дом Дмитрия Никитича[4] в Старой Конюшенной, в приходе Пятницы

---

[1] От этого указания на отказ Грибоедова сходить домой Д. А. Смирнов, повидимому, впоследствии отказался. В 1865 г. он сам написал: «Грибоедов ушел, и, после назначенного срока, Ермолов пришел арестовать его со всей толпой — с начальником штаба и ад'ютантами» (см. «Беседы Общества Любителей Российской Словесности», вып. второй. М. 1868 г.).

[2] Можно предположить, что С. Н. Бегичев не хотел с 23-летним юношей распространяться на политические темы и выражал не Грибоедовское, а, может быть, личное отношение к заговорщикам. Впрочем, и позднее, в 1865 году, Смирнов приводит выражение Грибоедова: «сто человек прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России». Тем замечательнее приводимое ниже показание А. А. Жандра о «полном» участии А. С. Грибоедова в заговоре декабристов и его об'яснение фразы Грибоедова о 100 прапорщиках. Д. А. Смирнов в 1865 г. был связан словом, так как был жив А. А. Жандр, повидимому, не разрешивший ему печатать своих рассказов о Грибоедове, и потому умолчал об этом важном раз'яснении друга Грибоедова.

[3] В 1865 году («Беседы...», стр. 23) прибавлено: «ибо сие может быть ему (курьеру) вредно».

[4] Бегичева; о нем см. в воспоминаниях Соковниной.

Божедомской. Он не в'ехал к Степану Никитичу, вероятно, для того, чтобы не испугать его. Дельно! «В этот самый день, — рассказывал Бегичев, — как Грибоедов приехал в Москву, у меня был обед: с'ехались родные[1]. Брат, Дмитрий Никитич, должен был, разумеется, обедать у меня же в обществе родных. Ждали мы его, ждали — нет! Сели за стол. Во время самого обеда мне вдруг подают от брата записку следующего содержания: «Если хочешь видеть Грибоедова, приезжай, он у меня». На радостях, ничего не подозревая, я бухнул эту весть за столом, во всеуслышание. Зная мои отношения к Грибоедову, родные сами стали посылать меня на это так неожиданно приспевшее свидание. Я отправился. Вхожу в кабинет к брату. Накрыт стол, сидит и обедает Грибоедов, брат и еще безволосая фигурка в курьерском мундире[2]. Увидел я эту фигурку и меня обдало холодным потом. Грибоедов смекнул делом и сейчас же нашелся. «Что ты смотришь на него?» — сказал мне Грибоедов, указывая на курьера. «Или ты думаешь, что это так просто курьер? Нет, братец, ты не смотри, что он курьер, он знатного происхождения: испанский гранд Дон-Лыско-Плешивос-ди-Париенца». Этот фарс рассмешил меня своею неожиданностью и показал, в каких отношениях находится Грибоедов к своему телохранителю. Мне стало легче. Отобедали, говорили. Грибоедов был весел и покоен, как нельзя больше. «Ну, что, братец, — сказал он, наконец, своему телохранителю:— ведь у тебя здесь есть родные, ты бы с'ездил повидаться с ними». Телохранитель был очень рад, что Грибоедов его отпускает, и сейчас же уехал. Мы остались одни. Первым моим вопросом Грибоедову было удивление, какими судьбами и по какому праву распоряжается он так своевольно и временем, которое уже не принадлежало ему, и особою своего телохранителя. «Да что, — отвечал мне Грибоедов: — я сказал этому господину, что если он хочет довезти меня живого, так пусть делает то, что мне угодно. Не радость же мне в тюрьму ехать». Грибоедов приехал в Москву в 4 часа[3], около обеда, а выехал в 2 часа ночи. «На третий день, — прибавляет Бегичев, — после проезда Грибоедова через Москву я был у его матери, Настасьи Федоровны, и она

---

[1] В 1865 году после этих слов добавлено: «провожать брата моей жены А. И. Барышникова, возвращающегося из отпуска на службу».

[2] Фельд'егерь Уклонский, впоследствии почтмейстер в Гатчине.

[3] По редакции 1865 года: «около 4 часов пополудни» (вероятно, 7—8 февраля 1826 г.).

с обычной своей заносчивостью ругала Грибоедова: «карбонари», и то, и се, и десятое. Проездом через Тверь, как я от него узнал после, он опять остановился: у телохранителя была в Твери сестра, и они в'ехали к ней. К счастью и несчастью Грибоедова, он, войдя в комнату, увидел фортепиано и, глубокий музыкант в душе, ученый теоретик, он не мог вытерпеть и сел за фортепиано... Девять битых часов его не могли оторвать от инструмента.

В Петербурге Грибоедова засадили в Главный Штаб. Скучно стало там сидеть Грибоедову. Может быть, сознание правоты своего дела еще усилило эту томительную однообразную скуку и придало тот резкий и желчный характер, которым так обличается всякое выражение Грибоедова. Вот четверостишие, сказанное им в этом грустном заключении:

По духу времени и вкусу
Я ненавидел слово раб:
Меня позвали в главный штаб
И потянули к Иисусу.

Но и тут очарование личного характера Грибоедова не исчезло. Может быть, тут-то оно и проявилось в высшей степени. Прав или нет был Грибоедов, но он все-таки содержался по подозрению, все-таки был арестантом, и, боже мой, какое было дело надсмотрщику, этой ходячей машине, едва-едва разумеющей приказания начальства и только разумеющей одно исполнение, — какое ему было дело до личных интересов арестанта. Как мог он почувствовать какое-нибудь участие к одному из многого множества своих клиентов? Вот что об этом времени жизни Грибоедова рассказывал Бегичев: «Я сказал уже, что Грибоедов был глубокий музыкант и, сидя в Главном Штабе, он так очаровал своего надсмотрщика, что тот выпускал его всякую ночь подышать северным воздухом, и Грибоедов всякую ночь ходил в дом Жандра ужинать и играть на фортепиано» [1]. Бегичев через Жандра послал Грибоедову 1000 рублей. Да, вот до какой степени простиралась привязанность этого надсмотрщика к Грибоедову и до чего доводила Грибоедова томительная скука заключения. Вот еще факт и пресмешной. Я слышал это от Степана Ник[итича] Бегичева. Грибоедов сидел в одной и той же комнате вместе с тремя, кажется, другими лицами не из сильно заподозренных. Раз Грибоедов так сильно озлобился на свое положение, что громко

[1] Ср. ниже рассказы Жандра.

разругал все и всех, кого только было можно, и выгнал своего надсмотрщика, пустив в него чубуком с трубкой. Товарищи заключенного так и думали, что Грибоедов после этой отчаянной вспышки погиб. И ничего не было вероятнее. Однако, что же вышло? До какой степени привязался к нему надсмотрщик! Через полчаса или менее после того, как Грибоедов пустил в него чубуком, дверь полурастворилась, и надсмотрщик спрашивает: «Александр Сергеевич, что вы еще сердиты, или нет?» Это рассмешило Грибоедова.

— Нет, братец, нет, — закричал он ему.

— К вам можно войти?

— Можно.

— И чубуком пускаться не будете?

— Нет, не буду.

Вот что делал и что делалось с Грибоедовым во время его невольного затворничества. Оно продолжалось довольно долго. Грибоедов высидел 4 месяца, пока тянулось следствие. Он был оправдан и государь призвал его к себе и сказал ему: «Я был уверен, Грибоедов, что ты не замешан в этом деле. Но если тебя взяли наравне с другими, это была необходимая мера. Отправляйся к месту своей службы. Жалую тебя надворным советником и даю для проезда двойные прогоны» [1]. Милость государя была чувствительна для Грибоедова [2]. Он попросил у царя лист о пожаловании его чином [3] и выдаче двойных прогонов. Государь не отказал в этой просьбе. Где этот лист, куда он девался, неизвестно. Грибоедов отправился к своему посту вместе с Паскевичем, который был послан наблюдать, а впоследствии и сменить знаменитого Ермолова. Обстоятельства случайно поставили Грибоедова между ними. Связанный с Паскевичем узами родства, он был связан с Ермоловым узами дружбы. Зная скрытую цель поездки Паскевича, Грибоедов по врожденному чувству деликат-

[1] Аудиенция Грибоедову была дана, вероятно, 2 июня 1826 года. Николаю был лично известен Грибоедов еще в бытность его великим князем (см. письмо Грибоедова к Бегичеву от 10 июня 1824 года: «вчера я нашел у Паскевича великого князя Николая Павловича»...).

[2] Сейчас видел выпущенного из тюрьмы Грибоедова», — писал 3 июня 1826 года П. А. Вяземский своей жене; см. «Остафьевский архив», т. V, вып. II, стр. 15.

[3] Вероятно, речь идет не о листе о пожаловании чином, а об «очистительном аттестате», который действительно был выдан при освобождении Грибоедову.

ности не желал по крайней мере приехать к Ермолову вместе с Паскевичем. Для этого он отправился в деревню к Бегичеву, предварительно сказавши Паскевичу, что догонит его в Воронеже. Грибоедов был твердо уверен, что Паскевич не дождется его, однако тот дождался.

Не знаю, именно сколько времени пробыл Грибоедов в этот проезд у Бегичева. Но, кажется, сюда следует отнести следующий факт. «Я было чуть-чуть не женился в Москве», сказал Грибоедов Бегичеву. Это немножко удивило Бегичева. И вот Грибоедов рассказывает ему, что встретил в Москве дочь какого-то частного пристава, которая похожа лицом на жену его Анну Ивановну, и даже задумал было жениться. Грибоедов очень уважал Анну Ивановну [1].

Как велико было участие Грибоедова в последней персидской войне (1826—1828 гг.), об этом мы говорить не станем. Жаль, а так всегда делается, что слава принадлежит не главному, а старшему. Впрочем, так и быть должно. Превосходно знавший персидский быт и самый дух народа и даже самую местность, друг Абасса-Мирзы, Грибоедов был правою рукой Паскевича: и не будь этой руки, мы, может быть, увидали бы, что Паскевич не... Все движения к Аббас-Абаду, Эчмиадзину и даже к самой Эривани были подвигнуты решительностью Грибоедова, который беспрестанно, так сказать, толкал вперед Паскевича, не знавшего ни персиян, ни местности. Вот пример. Когда Аббас-Мирза затворился в Эривани, Паскевич, зная личные отношения Грибоедова к персидскому наследнику, послал Грибоедова к Аббас-Мирзе с такого рода мирными предложениями, на которые последний не согласился. Что же вышло? Грибоедов увидел, в каком положении находилась Эривань; возвратясь, настоял на том, чтобы двинуться к ней, обещая успе́х верный. Эривань была взята и Паскевич получил титло Эриванского [2].

---

[1] Об этой попытке Грибоедова в 1826 г. жениться на дочери частного пристава нет нигде указаний в биографической о нем литературе.

[2] По редакции 1865 г. («Беседы...», стр. 26) Д. А. Смирнов еще сильнее подчеркивает участие А. С. Грибоедова в персидской войне 1826—28 гг. «С половины мая 1827 г. мы видим Грибоедова в персидском походе с Паскевичем. Пишущему эту статью положительно известно то совершенно деятельное участие, которое принимал Грибоедов не только в заключении Туркманчайского договора, бывшего именно созданием Грибоедова, но и в самом ходе кампании. С Паскевичем, близким родственником и человеком, который был ближе к нему

Об отношениях Грибоедова к Аббас-Мирзе должно сказать, что наследник до такой степени привязался к Грибоедову, что мешал даже ему заниматься делами, или беспрестанно требуя его к себе, или сам приходя к нему. «Мне нет другого средства, как сказаться больным, чтобы заниматься», говорил Грибоедов Иону.

Многие ли также знают о хладнокровной храбрости Грибоедова. Доктор Ион мне сказывал, что Паскевич в письмах своих [1] в Москву жаловался, что «слепой (Грибоедов был очень близорук), не внимая никаким убеждениям, раз'езжает себе в первых рядах под пулями».

II

Свидание с доктором прав Б. И. Ионом 2 марта 1842 г. — Дуэль из за танцовщицы Истоминой Шереметева с гр. Завадовским. — Причина дуэли. — Ночной визит Истоминой к Завадовскому и Грибоедову при содействии последнего. — Вмешательство Якубовича. — Описание дуэли на Волковом поле. — Смертельная рана Шереметева. — Слова Каверина. — Угроза Якубовича. — Встреча Грибоедова с Якубовичем в Тифлисе. — Дуэль. — Грибоедов и Якубович ранены. — Причины катастрофы 30 января 1829 г. — Укрывательство в посольском доме русской подданной. — Лакеи Грибоедова и персидские женщины. — Самозащита Грибоедова перед смертью. — Встреча с Булгариным.

Это было в 1817 г. Истомина была известная танцовщица на петербургской сцене. Как все театральные героини, а тем более балетные божества, Истомина имела поклонников и обожателей. Счастливейшим из них был Вася Шереметев (не граф). Этому Васе, traditur, досталась она intacta: пусть так, но дело вот в чем. Грибоедов и Ион жили вместе. Ион в это время сделался директором немецкого театра в Петербурге и переселился куда-то поближе к театру [1]. Грибоедов переехал к Завадовскому. Истомина

по летам, Грибоедов мог говорить свободнее, чем с Ермоловым. Он беспрестанно старался приводить в действие главную пружину дела — «не уважать неприятеля, который того не стоит». Движения к Абасс-Абаду, даже к самой Эривани, были следствием личных самых убедительных настояний Грибоедова. Во время этой войны явились во всем блеске его огромные дарования, вполне обработанные многосторонней правильной образованностью, его дипломатический такт и ловкость, его способность к труду, огромному, сложному и требующему больших соображений».

[1] Эти письма были адресованы к родной тетке жены Паскевича — к Настасье Федоровне Грибоедовой. Указание на Иона, как на первоисточник этого свидетельства, сделано впервые.

[1] В архиве дирекции императорских театров не имеется, однако, подтверждения на это указание. Б. И. Ион в 1817 году совсем не упоминается в документах, касающихся немецкого театра. Его подпись встречается в делах только с 1819 года.

бывала часто в квартире Грибоедова вместе со своим обожателем и все трое обходились en ami [2]. Грибоедов и не думал ухаживать за Истоминой и метить на ее благосклонность, а обходился с нею запросто, по-приятельски и короткому знакомству. Переехавши к Завадовскому, Грибоедов после представления взял по старой памяти [3] Истомину в свою карету и увез к себе в дом Завадовского. Как в этот же самый вечер пронюхал некто Якубович, храброе и буйное животное, этого не знают. Только Якубович толкнулся сейчас же к Васе Шереметеву и донес ему о случившемся, прибавляя, что Грибоедов привез Истомину к Завадовскому и, стало быть, для него хлопочет. Пьяные прикатили в дом к Завадовскому Якубович с Шереметевым, завязалась ссора, и дело дошло до картели. Завадовский и Шереметев должны были стреляться. На место дуэли [4] вместе с Завадовским поехали Грибоедов, Ион и еще кое-кто. Барьер был на 12 шагах. Первый стрелял Шереметев и слегка оцарапал Завадовского: пуля пробила борт сюртука около мышки. По вечным правилам дуэли Шереметеву должно было приблизиться к дулу противника еще на пять шагов. Он подошел. Тогда многие стали довольно громко просить Завадовского, чтобы он пощадил жизнь Шереметеву. «Я буду стрелять в ногу», сказал Завадовский. «Ты должен убить меня, или я рано или поздно убью тебя», сказал ему Шереметев, слышавший эти переговоры. «Chargez mes pistolets», прибавил он, обращаясь к своему секунданту. Завадовскому оставалось только честно стрелять по Шереметеву. Он выстрелил, пуля пробила бок и прошла через живот, только не навылет, а остановилась в другом боку. Шереметев навзничь упал на снег и стал нырять по снегу, как рыба. Видеть его было жалко. Но к этой печальной сцене примешалась черта самая комическая. Из числа присутствовавших при дуэли был Каверин, красавец, пьяница, шалун и такой сорви-голова и бреттер, каких мало. Он служил когда-то

---

[2] Еще за год до дуэли (9 ноября 1816 г.) Грибоедов писал из Петербурга С. Н. Бегичеву: «В воскресенье я с Истоминой и с Шереметевым еду в Шустерклуб, кабы ты был здесь, и ты бы с нами дурачился».

[3] На самом деле, Грибоедов, зная о разрыве Шереметева с Истоминой, привез ее в дом к Завадовскому, где они втроем провели вечер. По неопубликованному донесению и. д. обер-полицмейстера, представленному министром полиции Николаю I, Истомина у Завадовского «ночевала две ночи».

[4] На Волковом поле 12 ноября 1817 г., в 2 часа пополудни.

ад'ютантом у Бенигсена и проказил в Гамбурге до того, что был целому городу и околотку известен под именем «красного гусара». Бенигсен должен был после спровадить эту удалую голову, потому что от нее никому житья не было. Когда Шереметев упал и стал в конвульсиях нырять по снегу, Каверин подошел и сказал ему прехладнокровно: «Вот те, Васька, и редька!»[1]. Пуля легко была вынута тут же припасенным медиком. Якубович взял эту пулю и, положив ее в карман, сказал Завадовскому: «Это тебе». Шереметев прожил после дуэли немного более суток. Он непременно хотел видеть Грибоедова и когда тот приехал к нему, то Шереметев просил у него прощения и помирился с ним[2]. Отец Шереметева, зная распутную жизнь сына, об'яснил государю, что ожидал своему сыну подобного конца, и просил простить всех участвовавших в этом деле. Государь простил всех, но поджога Якубович был сослан на Кавказ. Еще до от'езда он в разговорах с другими грозил, что Грибоедову эта шутка не пройдет даром. Судьба велела Грибоедову встретиться с Якубовичем на самом, так сказать, первом шагу в Тифлисе, потому что очень скоро после этого дела Грибоедов был там, отправясь на службу. Только что он приехал в Тифлис и вошел в какую-то ресторацию, как чуть ли не на лестнице встретился с Якубовичем. Грибоедов сказал ему, что слышал об его угрозах, и просил разделки. Они стрелялись[3]. Якубович был легко ранен. Грибоедову пуля прошибла ладонь левой руки близ мизинца. После, чтобы играть на фортепиано, он должен был заказать себе особую аппликатуру.

Причина ужасной, мученической смерти Грибоедова все еще остается непроницаемой тайной. Убили русского посланника —

---

[1] См. ниже в беседе с Жандром поправку и об'яснение этого выражения Каверина.

[2] Об этом примирении не упоминает ни один биографический источник. Письмо самого А. С. Грибоедова к С. Н. Бегичеву об этой дуэли не сохранилось (вероятно, оно уничтожено самим же Бегичевым). В нем Грибоедов писал, что «на него нашла ужасная тоска, он видит беспрестанно перед глазами умирающего Шереметева, и пребывание в Петербурге сделалось для него невыносимо».

[3] Об этой дуэли Грибоедов писал Бегичеву: «Ты мне пеняешь, зачем я не уведомляю тебя о простреленной моей руке. Стоит ли того, друг мой. Еще бы мне удалось раздробить ему плечо, в которое метил. А то я же заплатил за свое дурачество. Судьба... В тот самый день, в который... Ну, да бог с ним. Пусть стреляет в других, моя прошла очередь». — О дуэли Грибоедова с Якубовичем см. воспоминания Муравьева-Карского.

и пусть его убила азиатская чернь, все-таки это факт небывалый. Между условиями мира, заключенного Россией с Персией, было следующее: всем русским, желающим возвратиться в отечество, персидское правительство должно было давать свободный пропуск без малейшей задержки и насилия. В числе жен одного персиянина была русская, которая пожелала возвратиться на родину. Персиянин не пускал ее. Она ушла от него, и Грибоедов принял ее в посольский дом. В народе диком это возбудило негодование, которое, однако, держалось скрытно, в состоянии глухого возмущения, до следующего случая. Раз в базарный день лакеи Грибоедова затронули что-то персидских женщин. Искра попала в порох. Пошла резня. Приступили к дому Грибоедова. Он, видя опасность, кинулся навстречу бунтующей черни с пистолетами и ятаганом, но, увидевши превосходство целой массы, скрылся и заперся в какой-то беседке вместе с несколькими русскими. Беседку подожгли. Разломали ли у этой беседки двери, растворил ли их сам Грибоедов, неизвестно. Известно только, что когда поспел отряд шаховой гвардии под начальством капитана для усмирения черни, Грибоедов и все русские, в том числе 150 человек казаков, составлявших почетный караул Грибоедова, погибли. Шах наложил на двор трехдневный траур. Хозрев-Мирза, как известно, был в России для личного об'яснения с государем [1], но Грибоедова уже не стало...

Через год после приезда в Петербург я встретился (19 ноября 1842 г.) с Булгариным у Межевича, к которому приехал обедать. Булгарин тут не обедал, он пробыл какой-нибудь час и уехал. Но в продолжение этого часа мы говорили о Грибоедове. Мы сидели в кабинете Межевича. Свеча стояла недалеко от стены, где висел портрет Грибоедова. Булгарин, ходя по комнате, взял свечу и поднес ее к портрету. «Вам это лицо должно быть хорошо знакомо», сказал я ему. Он, разумеется, отвечал утвердительно.

---

[1] «Принц Хозрев-Мирза посетил Настасью Федоровну, родительницу покойного А. С. Грибоедова, сострадал с ней о справедливой ее печали и участием и приветствиями своими старался хотя несколько облегчить грусть материнского сердца».—См. «Русский Архив» 1889 г., № 2, стр. 240.—Московский почтмейстер А. Я. Булгаков, приставленный к Хозреву-Мирзе, писал 21 июля 1829 года своему брату из Москвы: «Вчера принц вдруг потребовал карету (довольно было рано, я еще не был у него) и поехал сам собою к матери несчастного Грибоедова, у коей посидел с полчаса и оставил ее очень утешенной визитом и всем, что ей говорил»; см. «Русский Архив» 1901 г., № 11, стр. 338.

Цельного не было ничего. Обращу внимание на главное в разговоре моем с Булгариным, который вскоре после смерти Грибоедова назвал себя его другом. Доселе я думал, что существует только один автограф «Горя от ума» у Бегичева. Теперь нашелся еще другой — у Булгарина. Межевич, передавая мне это известие, сказал, что на этом автографе рукою Грибоедова написано: «Тебе, мой Фаддей, отдаю мое Горе» [1]. Существование этого автографа у Булгарина подтверждено мне им самим при этой нашей встрече. Кроме автографа «Горя от ума», по словам Булгарина, у него находится множество разных бумаг, собственноручных Грибоедова бумаг [2], которые напечатать невозможно. Булгарин очень верно выразился, сказав, что Грибоедов родился с характером Мирабо. Рассмотрите глубже эти слова и в основании их вы откроете истину. Булгарин не читал, как мне сказывал, биографии Полевого. Он презирает Полевых, как это можно видеть из слов его, и отрицает их знакомство с Грибоедовым. «Человек прошелся как-то с ним [Кс. Полевым], по саду... а они уж и пишут», сказал он насмешливо. Портрет, приложенный при издании Полевого [3], списан, по словам Булгарина, с портрета, находящегося у Марии Сергеевны Дурново, а этот последний с портрета, находящегося у Булгарина [4].

---

[1] Экземпляр списка «Горя от ума» был подарен автором Булгарину с собственноручной надписью: «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов. 5 июня 1828».

Часть этих бумаг была напечатана в «Русской Старине» 1874 г., №№ 5 и 6 в статье Т. А. Сосновского; здесь были опубликованы по автографам все письма Грибоедова к Ф. В. и Е. И. Булгариным, хранившиеся в Карловском архиве, а также автографы «Лубочного театра» и «Хищников на Чегеме».

[3] «Горе от ума» А. С. Грибоедова. 2-е издание. С приложением портрета автора и статьи К. Полевого «О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова». Спб. 1839.

[4] Портрет этот, вделанный Булгариным в переплет принадлежавшего ему списка «Горе от ума», несомненно, является наиболее близким к оригиналу. Ныне хранится в Государственной Публичной Библиотеке; воспроизведение этого портрета см. во втором томе академического издания полного собрания сочинений Грибоедова.

III

Первое знакомство с Жандром (28 апреля 1858 г.). — Внешний вид сенатора. — «Притворная неверность». — Впечатление на публику от ареста Грибоедова. — Жандр о ночных визитах к нему арестованного Грибоедова. — Новые подробности ареста. — Участие А. П. Ермолова. — Похищение пакета с бумагами Грибоедова через М. С. Алексеева. — Участие караульного офицера. — Содержание бумаг. — Прогулки днем по Петербургу арестованного Грибоедова. — Участие Ивановского. — Обход заключенных в главном штабе генералом Потаповым. — Грибоедов со штыком часового у Жандра. — Об'яснение дружбы Грибоедова с Булгариным. — Новые подробности смерти Грибоедова. — Слова Грибоедова при назначении посланником. — Последние проводы его из Петербурга. — Эпиграмма на М. Дмитриева. — Совет Жандра познакомиться с И. И. Сосницким и П. А. Каратыгиным. — Об увлечении Грибоедова Телешевой. — Покупка автором «Русской Талии» и «Сына Отечества» за 1825 год. — Болезнь Смирнова.

28 апреля, часов около 10 утра, я в первый раз позвонил у двери сенатора Андрея Андреевича Жандра, вслед затем отдал отворившему мне человеку, для передачи сенатору, рекомендательное о мне письмо Степана Никитича Бегичева и не более полуторы минут ждал приема: боковая из швейцарской дверь отворилась... «Пожалуйте». Я вошел в кабинет. Очень понятно, почему я был принят так скоро: в письме Степана Никитича, которое было доставлено мне стариком несколько месяцев тому назад незапечатанное, находилось благодетельное для меня выражение, отворявшее мне все двери: «родственник Грибоедова», и, кроме того, следующие, очень мне памятные строки: «Я знаю Смирнова давно и даже позволил ему снять копии со всей переписки со мной Грибоедова. Сообщишь ли ты ему что-нибудь или нет — твоя воля, но за честность его побуждений и характера я вполне ручаюсь». Бегичев подобных слов не напишет даром.

У самых дверей кабинета меня встретил высокий, очень высокий, сухой, как скелет, старик, одетый в узенькое темно-коричневого цвета пальто, которое только увеличивало или, по крайней мере, выказывало всю его худобу. Голова у этого старика редькой, корнем вверх, лицо все в морщинах, маленькие серые глаза смотрят умно и серьезно, и вся фигура была бы строгая и серьезная, если бы ее не смягчала ласковая, добрая улыбка.

Я отрекомендовался. Жандр дружески протянул мне руку, усадил меня в громадные, старо-фасонные, может быть, настоящие «вольтеровские» кресла и начал читать письмо.

— Давно ли видели вы Степана Никитича? — обратился он ко мне с вопросом, окончивши чтение.

— Прошлой осенью. Я прожил у него более недели в его тульской деревне Екатерининском.

— Здоров он?

— По крайней мере при мне был здоров.

— По-нашему... — старик улыбался. — Мы с ним недалеко друг от друга ушли: ему должно быть...

— 72 года, — докончил я.

— А мне скоро 70. Мы перед вами, людьми нового поколения, похвастать можем. Я, например, несмотря на мои годы, никак не могу пожаловаться на здоровье: я человек сухой, легкий, воздержный, редко бываю болен. Всякий божий день я иду из сената пешком; разумеется, за мной едет карета... на всякий случай; оно лучше, знаете. Давно вы приехали?

— Вчера утром.

— На долго?

— Как бог даст. Цель моей поездки уже известна вашему превосходительству из письма Степана Никитича. Если позволите, я расскажу вам ее коротко, но несколько подробней.

Я сказал все, что мне было нужно, и кончил словами: «Многое зависит от вашего превосходительства. Я не скрываю от вас, что вы были одной, и может быть даже главной, целью моей поездки. Позвольте мне надеяться, что вы не откажете мне в содействии...»

— Не думаю, чтобы мое содействие принесло вам большую пользу...

Меня слегка покоробило.

— У меня нет ни одной строки Грибоедова... Было одно письмецо, да и то выпросил Булгарин. Но я очень рад с вами познакомиться, надеюсь, что мы будем видаться с вами часто...

Я поклонился.

— И я охотно буду вам рассказывать о Грибоедове все, что знаю, и все, что помню.

«Это едва ли еще не лучше», — подумал я.

— Я всякий вечер, начиная с 8 часов, дома. Когда хотите, милости просим, всегда вам рад.

И после этой речи, которую я мог принять за вежливым образом сказанное «теперь прощайте», старик, вспомнивши о Грибоедове по поводу общей их комедии «Притворная неверность», разговорился и проговорил более получаса.

— Не можете ли по крайней мере, вы, ваше превосходительство, оказать не только мне, но и всей русской публике следующую важную услугу — отметить в «Притворной неверности» то, что принадлежит собственно Грибоедову?

— Нет, не могу... Давно было, много с тех пор воды утекло [1]...

И тут, яснее обыкновенного, показалась на губах старика добрая улыбка.

Это был мгновенный, но ясный луч, осветивший мне личность этого человека. Я понял, с кем имею дело.

Все, что рассказывал мне тут утром Андрей Андреевич, я совокупляю с рассказами его в вечернее мое посещение того же дня. Да, я был у него в тот же день вечером, потому что по тону и общему характеру приема, мне сделанного Жандром, я почел себя в праве в тот же день воспользоваться данным мне позволением — посещать его, когда мне угодно, после восьми часов вечера. Искушение было слишком велико: друг Грибоедова, много о нем знающий, да к тому же от угла Торговой и Мастерской, где моя квартира, — рукой подать до угла Грязной и Садовой, где он живет, стоит только переехать на лодке Фонтанку [2].

Может быть, я не запишу обоих наших разговоров, и утреннего, и вечернего, в порядке и последовательности, но уверен, что не упущу из них ничего главного.

— Вы были в Петербурге, ваше превосходительство, когда привезли сюда Грибоедова, как декабриста?

— Да, в Петербурге.

— Степан Никитич, и не один раз, говорил мне... Но позвольте прежде этого другой и очень важный для меня, да и не для одного меня, вопрос; скажите, какое впечатление произвел на публику арест Грибоедова? Это обстоятельство гораздо важнее, нежели кажется с первого поверхностного взгляда, и ваше на этот раз показание вполне драгоценно.

«Угол падения, — подумал я в эту минуту геометрической истиной, — не в одном вещественном, но и в нравственном мире равен углу отражения».

---

[1] Что принадлежит в «Притворной неверности» Грибоедову и что Жандру, известно из письма Грибоедова к С. Н. Бегичеву от 15 апреля 1818 г.

[2] Очевидно, Екатерининский канал.

— Огромное, — ответил мне Жандр, смотря на меня прямо, как бы желая «вразумить» меня. — Огромное, — повторил он. — По городу пошла молва, толки: «Грибоедова взяли...»

— А, — сказал я, не скрывая того отрадного чувства, которое овладело мной в эту минуту, чувства, в котором была смесь и радости и какой-то гордости за человека, которому чужда теперь всякая гордость, но память которого люблю я так сильно. — Стало быть, имя было слишком громко, слишком народно.

— Еще бы! Такие ли я вам еще на этот раз чудеса расскажу. Однако, вы начали и не кончили: что же вам говорил Степан Никитич?

— Он говорил мне, и повторяю и вместе прошу вас заметить, не один раз, что Грибоедов, которого засадили в главный штаб, всякую ночь приходил оттуда к вам.

— Совершенная правда. Всякую ночь приходил, ужинал или пил чай и играл на фортепиано. Последнее-то и было его отрадой: вы, конечно, знаете, что он был замечательный музыкант, — музыкант не только ученый, но и страстный. Он возвращался от меня в свою конуру или поздно ночью, или на рассвете.

— Да как же, боже мой, все это делалось? Слышишь и ушам не веришь. Между тем слышишь все это от людей, в словах которых нет никакой возможности сомневаться.

— Делалось, а потому и делалось, что Грибоедов имел удивительную, необыкновенную, почти невероятную способность привлекать к себе людей, заставлять их любить себя, именно «очаровывать». Я не знаю, как Степан Никитич рассказывал вам историю его ареста, но расскажу ее вам, в свою очередь, и в доказательство всей справедливости слов, сейчас мной сказанных. Вы знаете, что тогда он служил при Ермолове и взят он был во время какой-то экспедиции, в каком-то местечке, имени которого не вспомню.

— Я вам помогу, ваше превосходительство: он был взят в Екатериноградской станице [1].

— Кажется, что так. Подробности его ареста очень любопытны и характеристичны именно как доказательство той привязанности, которую умел внушать к себе Грибоедов. Когда к Ермолову прискакал курьер с приказанием арестовать его, Ермолов,—

---

[1] Неверно. Грибоедов был арестован в крепости Грозной.

заметьте, Ермолов, человек вовсе не мягкий, — призвал к себе Грибоедова, об'явил ему полученную новость и сказал, что дает ему час времени для того, чтобы истребить все бумаги, которые могли бы его скомпрометировать, после чего придет арестовать его со всей помпой — с начальником штаба и ад'ютантами. Все так и сделалось, комедия была разыграна превосходно. Ничего не нашли, курьер взял Грибоедова и поскакал.

— Извините, Андрей Андреевич, что я перебью вашу речь рассказом об одной подробности, которая относится именно к этой минуте и которую я слышал от Степана Никитича. Она только прибавляет к доказательствам того, что и вы хотите доказать, т. е. как все любили Грибоедова. Когда Ермолов сдал его с рук на руки курьеру, то сослуживцы Грибоедова обратились к этому курьеру со следующим, как говорится, «наказом», что если он не довезет Грибоедова до Петербурга цела и сохранна, то пусть уж никогда ни с одним из них не встречается, ибо сие может быть ему вредно.

— Это очень вероятно. Продолжаю мой рассказ. С Грибоедовым были не все его бумаги, но значительная часть их находились в крепости Грозной [1], Ермолов должен был дать предписание коменданту захватить эти бумаги, запечатать и передать пакет курьеру. Все было исполнено. Курьер, Грибоедов и пакет благополучно прибыли в Петербург в главный штаб. Слух об аресте Грибоедова распространился... Через несколько дней после этого, ко мне является один, вовсе мне до того времени незнакомый человек, некто Михаил Семенович Алексеев [2], черниговский дворянин, приносит мне поклон от Грибоедова, с которым сидел вместе в главном штабе, и пакет бумаг, приехавших из Грозной. Как же все это случилось? Грибоедов, когда его привезли, успел какими-то судьбами сейчас же познакомиться с Алексеевым, ко-

[1] Во Владикавказе (см. комментарии к воспоминаниям Шимановского).

[2] Указание на М. С. Алексеева впервые появляется в печати. Оно раз'ясняет начальную букву, поставленную Грибоедовым в одной записке из-под ареста Булгарину: «Да не будь трус, напиши мне, я записку твою сожгу или передай сведения Ж. (очевидно Жандру), а тот перескажет А., а А. найдет способ мне сообщить». По раз'яснению редактора собрания сочинений А. С. Грибоедова Шляпкина (т. I, стр. 381). «А.—вероятно, князь Александр Иванович Одоевский». Но это совершенно невероятно, так как Одоевский был арестован в Петропавловской крепости и не мог иметь никаких сношений с Грибоедовым, сидевшим в главном штабе.

торый сказал ему, что его в самом скором времени выпустят, потому что он взят по ошибке, вместо родного брата своего, екатеринославского губернского предводителя. Грибоедов воспользовался этим обстоятельством отлично: в пять минут очаровал Алексеева совершенно, передал ему пакет, сказал мой адрес и просил доставить этот пакет ко мне. Алексеев все исполнил свято.

— Еще раз виноват, Андрей Андреевич. Вы мне позволите пополнить ваш рассказ?

— Сделайте милость. Иное я мог забыть, а другое могу и не знать.

— Вот, со слов Степана Никитича, обстоятельство, которое вполне поясняет, каким образом пакет, бывший у курьера и уже составлявший, таким образом, казенную собственность, мог вдруг очутиться в руках самого Грибоедова. Курьер сдал и самого Грибоедова и пакет караульному офицеру. Этот офицер был некто Сенявин — сын знаменитого адмирала — честный, благородный, славный малый. Принявши пакет, он положил его на стол, вероятно, в караульной комнате, в которой на ту пору мог находиться и Алексеев, как человек, уже свободный от всякого подозрения. Сенявин не мог не видеть, как Грибоедов подошел к столу, преспокойно взял пакет, как будто дело сделал, и отошел прочь. Он не сказал ни слова: так сильно было имя Грибоедова и участие к нему [1].

— И должно быть так. Повторяю вам, что я мог кое-что и забыть, но если это рассказывал вам Степан Никитич, так сомнения никакого быть не может. Далее. Этот добрый и славный человек Алексеев бывал у меня и после несколько раз; передавая же мне пакет, он вместе с тем передал мне приказание Грибое-

[1] Гвардии капитан Сенявин значился сам в списке арестованных, содержавшихся в главном штабе вместе с Грибоедовым. Вот недавно найденный рапорт с.-петербургского коменданта генерал-ад'ютанта Башуцкого от 13 февраля 1826 года № 76 на имя дежурного генерала главного штаба генерал-ад'ютанта Потапова: «Стоящий в карауле на главной гауптвахте лейб-гвардии егерского полка штабс-капитан Родзянко 3-й представил ко мне при описи вещи, отобранные им от арестованного по высочайшему повелению коллежского асессора Грибоедова, которые при сем к вашему превосходительству препроводить честь имею». На этой бумаге собственной рукой Грибоедова написано, очевидно, по освобождении: «Вещи и деньги, мне принадлежащие, мною от капитана Жуковского приняты. Коллежский асессор Александр Грибоедов».

дова — сжечь бумаги. Однако же, я на это не решился, а только постарался запрятать этот пакет так, чтобы до него добраться было невозможно, — я зашил его в перину. Когда Грибоедова выпустили, мы пакет достали и рассмотрели бумаги; в нем не оказалось ничего важного, кроме нескольких писем Кюхельбекера. Но история Грибоедовского сиденья этим далеко не кончается. Я вам говорил уже, что слух об его аресте распространился быстро. Вдруг доходят до меня такие слова: «Помилуйте, — говорит один: — что это за вздор в городе болтают, будто Грибоедов взят: я его сейчас видел на Невском проспекте». «И я тоже», говорит другой. «А я видел в Летнем саду», говорит третий. Что же вышло? Содержавшихся в главном штабе возили допрашивать из штаба в Петропавловскую крепость. Одним из помощников главного правителя дел военно-судной комиссии был некто Ивановский [1].

— Так, так, — невольно перебил я сенатора. — Я это все знаю, но позвольте просить ваше превосходительство продолжать.

— Этот Ивановский так полюбил Грибоедова...

— Что даже, может быть, спас его, — опять, и что совсем не было слишком вежливо, перебил я сенатора.

— Спас, — это слишком много, потому что с тех пор, как бумаги Грибоедова, которые могли бы его компрометировать, пропали, если не с лица земли, то, по крайней мере, из глаз правительства, так что и концы в воду, наш молодец выходил из воды сух и из огня невредим...

— То-то, что не совсем, ваше превосходительство. Точно, что едва ли на этот раз удалось кому такое счастье, как Грибоедову, но он сам чуть-чуть не испортил всех выгод своего положения.

— Как же это? Расскажите пожалуйста.

---

[1] В рукописи Д. А. Смирнова составляют отдельную главу «Замечания на мои записки зятя моего Мих. Мат. Поливанова». Таких замечаний сделано семь. Все они помечены 18 октября 1858 г. Мы разместили их за его подписью под текстом в соответствующих местах. Относительно фамилии «Ивановский» Поливанов заметил: «Чиновник V класса, бывший делопроизводитель военно-судной комиссии, был не Ивановский, но мой добрый знакомый и благодетель, начальник отдела инспекторского департамента Иванов».—Однако, это замечание неверно, так как сам Грибоедов говорит об Ивановском в записке из-под ареста Булгарину (см. комментарии к воспоминаниям Завалишина).

— Рассказываю, ваше превосходительство, не я, а Степан Никитич. Вот как было дело. На первом же допросе Грибоедов начал было писать [1]: «В заговоре я не участвовал, но заговорщиков всех знал и умысел их был мне известен»... и проч. в таком роде. Ивановский, видя, что Грибоедов сам роет себе яму, подошел к столу, на котором он писал, и, перебирая какие-то бумаги, как будто что-то отыскивая, наклонился к нему и сказал ему тихо и отрывисто: «Александр Сергеевич, что вы такое пишете... Пишите «знать не знаю и ведать не ведаю» [2]. Грибоедов послушался.

— Непременно должно быть так, — отвечал Жандр, — и еще мало того, что послушался, но еще принял в своем отзыве тон обиженного: «Я ничего не знаю. За что меня взяли? У меня старуха-мать, которую это убьет, а может быть уже и убило» [3], и проч. Тон этого отзыва подействовал совершенно в пользу Грибоедова: судьи заключили, что если человек за всю эту проделку чуть-чуть не ругается, так, стало быть, он не виноват.

— Однако, Андрей Андреевич, как же это его видали на Невском и в Летнем саду?

— Все по милости того же Ивановского. Я уже говорил вам, что их возили из штаба допрашивать в крепость; там, по окончании допроса, Ивановский всегда говорил курьеру: «Я сам отведу Александра Сергеевича», и они возвращались в штаб через Неву, Летний сад и Невский проспект — это, вот видите, для прогулки. Да это ли одно было. Раз дежурный генерал Потапов обходит ночью комнаты заключенных, к Грибоедову стучались, стучались, — нет ответа. «Не прикажете ли выломать дверь?» — спрашивает ад'ютант. — «Нет, — отвечает Потапов, — не надо; верно, он крепко заснул!» Он очень хорошо знал, что Грибоедова не было. — А то раз является ко мне со штыком в руке. «Откуда

---

[1] Последние слова надписаны Смирновым на зачеркнутых: «отвечая письменно на вопросные пункты».

[2] В «Беседах Общества Любителей Российской Словесности» 1868 г. Д. А. Смирнов, рассказывая об этом, не называет Ивановского, а говорит про него: «к столу подошло одно очень влиятельное лицо и взглянуло на бумагу» (с ответами Грибоедова на вопросные пункты). Д. И. Завалишин приписывал полковнику Любимову этот совет Грибоедову изменить показание.

[3] О матери Грибоедов упомянул в своем решительном письме на имя Николая I от 15 февраля 1826 г., через несколько дней по приезде в Петербург с фельд'егерем.

ты это взял?» — спрашиваю я с изумлением. «Да у своего часового». «Как у часового?» — «Так, у часового». — «По крайней мере, зачем?» — «Да вот пойду от тебя ужо ночью, так оно, знаешь, лучше, безопаснее». — «Да как же тебе часовой-то дал?» — «Вот еще. Да, если бы я им велел бежать с собой, так они бежали бы... Все меня любят», — добавил он. Но в начале его заключения было одно прекомическое происшествие: пишет он из своего заключения Булгарину.

— Ваше превосходительство.

— Что прикажете?

— Сделайте божескую милость!

— Какую угодно.

— Об'ясните мне пожалуйста связь такого благороднейшего, идеально-благороднейшего человека, как мой покойный дядя, с таким страшным подлецом, как Булгарин. Я никогда не мог достаточно раз'яснить этого загадочного пункта в биографии Грибоедова.

— У Булгарина, — отвечал мне Жандр очень положительно, — была к Грибоедову привязанность собаки к хозяину. Вы это сейчас увидите. Грибоедов пишет ему из штаба: «Любезная Пчела. Я в тюрьме. Принеси мне таких-то и таких-то книг». Кто не знает, что Булгарин трус страшный, однако, ведь не осмелился ослушаться приказа Грибоедова, пришел в штаб, принес книги, дрожит со страху, его оттуда чуть не в шею гонят, он стоит, нейдет прочь, просит, молит, и добился таки того, что передал книги.

— Для первого свидания, в которые мне хотелось бы разрешить самые темные для меня и интересные вопросы, я приготовил вам, Андрей Андреевич, еще один.

— Например.

— Как вам известны подробности смерти дяди?

— Расскажите сперва вы мне, как они вам известны.

Я рассказал, что было мне на этот раз известно, что к Грибоедову, как посланнику, явилось несколько христианок, армянок или грузинок, которые об'явили, что их против воли удерживают мужья их в Персии, что они отдаются под его покровительство. Грибоедов их принял, из этого возродилось народное неудовольствие и, наконец, бунт, жертвой которого он и сделался.

— Тут есть частица правды, но еще не вся правда. Если хотите прочесть полное и подробное описание и причин, и про-

исшествий всей этой печальной катастрофы, то ищите его в «Annales des voyages» в 1829 г. или в 1830 г. На эту статью указал мне Ермолов [1].

— Позвольте записать: со мной нет ни карандаша, ни бумаги.

Жандр подал мне и то, и другое. Я положил бумагу, чтобы было повыше, на порядочную груду книг, правильно, симметрически положенных одна на другую, которые, с разными другими столь же правильно расположенными вещами, находились на маленьком столике, стоявшем близ софы, на которой сидел сенатор. Записывая, я очень немного, но все-таки несколько нарушил строгость и стройность симметрического порядка небольшой книжной груды. Сенатор, не давая мне это заметить, оправил все по прежнему порядку. Я едва удержал улыбку, увидавши в старике моего собрата—педанта в деле кабинетного порядка.

— Не одни женщины, отдавшиеся под покровительство его, как посланника,—продолжал Жандр,—были причиною его смерти,—искра его погибели таилась уже в Персии прежде, нежели он туда приехал. Разговаривая с графом Каподистриа, который заведывал всеми восточными нашими делами, хотя министром иностранных дел был граф Нессельроде, Грибоедов сказал, что нам в Персии нужны не chargè d'affaires, а лицо, равное английскому представителю, т. е. полномочного министра, envoyè extraordinaire et ministre plènipotentiaire. Это одной степенью ниже главной степени дипломатического агента, посла, ambassadeur. Может быть, это и действительно было так нужно, а главное, что мне очень хорошо известно, Грибоедов думал, высказавши такое мнение, отклонить всякую возможность назначения его самого на это место, думал, что и чин его для этого еще мал. Чин ему дали и на место назначили. «Нас там непременно всех перережут,— сказал он мне, приехавши ко мне прямо после этого назначения.—Аллаяр-Хан мне личный враг. Не подарит он мне Туркманчайского трактата».

---

[1] «Nouvelles Annales des voyages» T. 48 (1830). T. XVIII de la 2-e série. Relation des évenements, qui ont précedé et accompagné le massacre de la derniére ambassade russe en Perse.— Перевод ее, очень плохой и с цензурными урезками, помещен в издании Е. Серчевского «А. С. Грибоедов и его сочинения». Спб. 1858. Стр. XIV—LXXXII.—Полный перевод этой статьи—см. в сборнике материалов и документов «Убийство Грибоедова», ред. Н. К. Пиксанова, изд. «Academia».

— Те же самые слова, — сказал я, — приводит Степан Никитич в своей биографической записке.

— Грустно провожали мы Грибоедова [1], — продолжал Жандр, как бы не слыхавши моего замечания.—До Царского Села провожали его только двое: Александр Всеволодович Всеволожский и я. Вот в каком мы были тогда настроении духа: у меня был прощальный завтрак, накурили, надымили страшно, наконец толпа схлынула, мы остались одни. Поехали. День был пасмурный и дождливый. Мы проехали до Царского Села и ни один из нас не сказал ни слова. В Царском Селе Грибоедов велел, так как дело было уже к вечеру, подать бутылку бургонского, которое он очень любил, бутылку шампанского и закусить. Никто ни до чего не дотронулся. Наконец простились. Грибоедов сел в коляску, мы видели, как она завернула за угол улицы, возвратились с Всеволожским в Петербург и во всю дорогу не сказали друг с другом ни одного слова—решительно ни одного.

И у нас с Жандром вышло тут довольно продолжительное молчание.

— Скажите, пожалуйста, — начал я, чтобы прервать его: — кому принадлежат эти две замечательные эпиграммы, современные появлению «Горе от ума»?

— Какие? Я их не знаю или забыл.

Вот они:

Собрались школьники и вскоре
Михаил Дмитриев рецензию скропал,
В которой ясно доказал,
Что «Горе от ума» не Дмитриева горе.

Жандр засмеялся.

— Я этого не знал... Зло, очень зло и умно.

—А вот другая, на того же злосчастного Дмитриева:

Михаил Дмитриев умре.
Считался он в 9-м классе,
Был камер-юнкер при дворе
И камердинер на Парнасе.

— Ну, эта мне нравится меньше, уже потому, что в ней есть неправильности языка: говорится умре, а не умрé. Ведь я пурист...

Старик улыбался.

---

[1] 6 июня 1828 г. А. С. Грибоедов навсегда расстался в Петербургом, а 12 июня—с Москвой.

«Знаем мы это про вас и без вас, pater conscripte!» подумал я.

— Как бы то ни было, они любопытны, как и все, относящееся к Грибоедову, как все живые и мертвые о нем материалы.

— Кстати, о живых материалах,—начал Жандр.—Вам надо познакомиться здесь с несколькими лицами, которые могут порассказать вам кое-что о Грибоедове, например, с Иваном Ивановичем Сосницким. Это прелюбопытный человек,—он много на своем веку народу перевидал и, как человек умный, перевидал не без толку. Я знаю, что они были знакомы с Грибоедовым.

— Я имел это намерение.

— Да еще познакомьтесь с Петром Андреевичем Каратыгиным. Этот человек будет вам полезен в другом отношении: отец его, Андрей Васильевич, был более 30 лет режиссером при театре, собирал и хранил афиши всех спектаклей,—это вам для истории представлений Грибоедовской комедии.

— Благодарю вас, Андрей Андреевич, за эти указания. Вы в свою очередь вероятно поинтересуетесь видеть один из принадлежащих мне портретов дяди и его «Черновую тетрадь».

— Об этом нечего и спрашивать.

— Эта «Черновая» сущий клад: чего и чего в ней нет? И путешествия, и мелкие стихотворения и проекты; два отрывка из «Грузинской ночи», ученые заметки, частные случаи петербургского наводнения.

— А,—сказал Жандр при последнем моем слове,—это любопытно: я знаю, что Грибоедов ездил осматривать Петербург после наводнения с тогдашним генерал-губернатором Милорадовичем.

— Как с Милорадовичем?—спросил я с видимым удивлением и нисколько не думая скрывать невольную улыбку.

— А... вы смеетесь,—заметил мне Жандр, тоже улыбаясь.

— Да и вы смеетесь, ваше превосходительство.

— Стало быть вам многое на этот раз известно?

— Не только многое, но все, да еще с такой подробностью, какой вы не ожидаете.

— Я предполагал, что Грибоедов с Милорадовичем были враги из-за Телешевой.

— Нет, они были только соперники.

— Впрочем, с ч а с т л и в ы м был дядя, он об этом, совсем не церемонясь, говорит довольно подробно в своих письмах к Степану Никитичу. Некоторые строки заставили меня препоря-

дочно хохотать. А хорошенькая была эта Телешева. Знаете ли, Андрей Андреевич, что она представляется мне каким-то скоро пронесшимся, но блестящим метеором в судьбе моего дяди, чем-то чрезвычайно поэтическим и невыразимо грациозным [1].

Тут Жандр посмотрел на меня не без удивления: я говорил очень серьезно.

— Да откуда,—начал он наконец,—знаете вы, что Телешева была хорошенькая?

— Прехорошенькая, хоть она и насолила мне.

— Это еще что такое?

— У меня есть ее портрет в «Русской Талии», драматическом альманахе Булгарина. Это библиографическая редкость. Теперь нужно вам сказать, как насолила мне Телешева. Я собирал, всеми правдами и неправдами, с большими расходами, все сочинения дяди, рассеянные там и сям по разным альманахам и журналам. Все это было, разумеется, до полного, т. е. неполного собрания его сочинений Смирдина. Прихожу я раз—это было в Москве, летом 1852 года,—на знаменитый Толкучий рынок к какому-то букинисту. «Нет ли у вас, батюшка, какого-нибудь старья; я человек заезжий... скучно, читать нечего. Не задорожитесь,—я куплю охотно. Нет ли у вас, например, альманахов? Прежде они на русскую землю дождем сыпались». — «Есть», говорит, и выкинул их мне целый ворох. Перебираю... «Русская Талия». Этого-то нам и нужно. Я отобрал штуки три-четыре, да и купил по 25 коп. сер. за штуку. Тут, как изволите видеть, я надул букиниста, но зато после букинист гораздо жесточе надул меня. Я хотел поддеть его точно на такой же крючок с «Сыном Отечества» за 1825 г., в котором, как вам известно, помещены стихи Грибоедова—Телешевой. Рыбак рыбака видит в плесе издалека: букинист, должно быть, заметил мою физиономию и не без основания заключил,

---

[1] Иное сообщение о Телешевой со слов ее подруги имеется в статье В. Родиславского, «Неизданные пьесы А. С. Грибоедова» — «Русский Вестник» 1873 г., № 9, стр. 238: «В любви к Телешевой у Грибоедова был соперником, как он сам говорил, тогдашний петербургский генерал-губернатор граф Милорадович; впрочем, оба соперника были не совсем счастливы, и их любовь к хорошенькой танцовщице ограничилась одним только платоническим волокитством. Хорошенькая танцовщица кокетничала с ними обоими, но была влюблена, как рассказывала мне одна подруга ее, в своего сослуживца, весьма красивого танцовщика Шемаева, которого она предпочитала волочившимся за нею и знатному сановнику, и молодому литератору».

что я, должно быть, из книжных авантюристов. Спрашиваю «Сын Отечества» за 1825 г.—«Здесь,—говорит,—нет, а надо порыться в палатке». Мы пошли в палатку. Я не знаю, знаете ли вы, в. пр., что такое книжные палатки в Москве на Толкучем рынке? Они над самыми рядами толкуна, наверху, под самой, заметьте, железной крышей, под которой ничего не подложено, что хотя бы несколько умеряло невыносимый зной от нее в летний день,—ни дранки, ни тесу,—а день, в который я попал под эту крышу в душную палатку, в которой злодей-букинист, перебрасывая связки книг, поднял еще пыль страшную, был светлый июльский и время только что за полдень. Что вам сказать? Я пробыл в этой палатке битых 2 часа и решительно начинал думать, что обратился в Сильвио Пеллико. «Нашел», раздался наконец голос букиниста.— Ну, думаю,—слава богу. Смотрю,—точно 1825 год; вот стихи Телешевой.—«Что вам, любезнейший, за это?».—«Десять целковых».—«Вы шутите?»—«Нисколько».—Я туда и сюда, хотел было его «душеспасительным словом», как говорит Плюшкин, пронять... Куда тебе! сладу никакого: уперся, злодей, да и только. Подумал-подумал, вынул деньги и отдал. Таким-то образом я заплатил четвертак за первые печатные отрывки комедии Грибоедова и 10 р. сер. за одну страничку его стихов к мимолетному, но все-таки скажу, милому предмету его страсти. Право, смотря на портрет Телешевой, их не жалею и вполне понимаю эти строки, написанные дядей в одном из писем его Степану Никитичу: «В 3—4 вечера (у Шаховского) Телешева меня совсем с ума свела».

Поговоривши еще кое о чем постороннем, мы простились с Жандром—до свидания...

Не скоро, однако, было это свиданье. «Человек предполагает, а бог располагает»—истина, как и все под луной, старая. Я схватил в Петербурге жестокую холеру и был болен при смерти. Вопреки и ожиданий, и желаний моих, я, слишком через месяц после первого моего свидания с Жандром, позвонил у его дверей.

На этот раз открыл мне сам сенатор.

— Боже мой, это вы, мы думали, что вы уехали.

— Да, ваше превосходительство, я было действительно уехал—на тот свет.

Старик посмотрел на меня пристально.

— Да вы, в самом деле, как будто из гроба встали.

— И это в самом деле почти что так.

— Что с вами было?

— Холера и притом жестокая.

Я рассказал причины и все подробности моей болезни.

— Да вы сами сделали все, чтобы произвести себе холеру. Однако, как же это вы не уведомили меня о вашей болезни?

— Сто раз порывался я это сделать, но не смел вас беспокоить.

— Стыдно вам. Мы, кажется, не так вас приняли, чтобы вы могли сомневаться в нашем участии.

Надо пояснить это слово «мы»: в первый раз, когда я был у Жандра, он познакомил меня с своей женой [1].

За это доброе слово я с искренним чувством пожал руку почтенного старика.

В это свиданье мы ничего не говорили о Грибоедове: свиданье было коротенькое, потому что я скоро ослаб до дурноты и едва мог дотащиться до квартиры. Все, что я успел сказать в этот раз Жандру, было то, что я и в продолжение моей болезни, когда чувствовал хоть малейшее облегчение, старался, сколько позволяли силы, работать по Грибоедову и таким образом успел прочесть довольно книг, нужных для составления комментариев для «Черновой».

— Где вы их брали?

— У Крашенинникова. Как не сказать «спасибо» Петербургу: все, что хочешь, даже холера.

IV

Визит Жандра к Смирнову 2 июня 1858 г. — Разговор о Герцене и освящении Исаакиевского собора. — «Лубочный театр» Грибоедова. — Отзыв о нем Жандра. — О трудных театральных временах в царствование Александра I. — Арест Сушкова. — Высылка П. А. Катенина. — Реквизитор. — Любовь Грибоедова к театру и кулисам. — Воспоминания о кн. А. И. Одоевском. — «Горе от ума» — светское евангелие. — Суеверность Грибоедова. — Сверхестественные встречи знакомых на улицах Тифлиса и Петербурга. — Аналогичные случаи с В. С. Миклашевичевой. — Портрет А. С. Грибоедова. — Отзывы о нем сестры Грибоедова, П. А. Каратыгина, кн. В. Ф. Одоевского и А. А. Жандра.

Ночь я провел довольно мучительную и почти без сна, но к утру задремал и проснулся несколько освеженный и с обновившимися силами. Часов около 9 я уехал из дому на Невский—мне хо-

---

[1] Жена А. А. Жандра, Параскева Петровна, скончалась 24 ноября 1906 г. Со слов мужа она хранила в своей памяти немало рассказов из жизни автора «Горя от ума».

телось пройтись, потом посидеть часика 3—4 в Публичной Библиотеке, потом опять пройтись и попугатить малую толику казны по разным лавкам и магазинам. Исполнивши все по желанию, я часу уже в третьем возвратился домой и только что—признаюсь, не без удовольствия—надел халат, как ко мне совершенно неожиданно входит Жандр.

Он возвращался из сената и был в мундире, на котором звезд и других штук довольно.

— Хотел вас навестить. Как вы чувствуете себя после вчерашнего?

— Благодарю вас, ваше превосходительство.

— Пожалуйста, оставьте это... Кажется, между нами можно без титулов.

Жандр сидел у меня довольно долго. Мы говорили о разных предметах, посторонних Грибоедову, всего более о Герцене, которого, несмотря ни на какие таможни, жадно читают в России.

— Герцен,—сказал я Жандру,—доставил мне, несмотря на его избыток желчи, не совсем приятно действующей на хладнокровного и благоразумного читателя, много отрадных минут в продолжение моей болезни. Я не помню, когда и что читал я с таким наслаждением, как его превосходную статью «Екатерина Романовна Дашкова».

— Я не читал ее.

— Стало быть, вы и не видали этого номера «Полярной Звезды?».

— Должно быть.

— Посмотрите,—продолжал я —какой у него оригинальный самостоятельный язык, точно литой из бронзы.

Я достал из моего портфеля небольшой лист выписок и прочел: «Недавно один из них [славянофилов] пустил в меня под охраной самодержавной полиции комом отечественной грязи с таким народным запахом передней, с такой постной отрыжкой православной семинарии и с таким нахальством холопа, защищенного от палки недосягаемостью запяток, что я на несколько минут живо перенесся на Плющиху или на Козье Болото...».

Мы прочли еще несколько выписок. Потом речь перешла к недавнему освящению Исаакия и к небывалому доселе хору 2.000 певчих. «Слушая этот хор,—сказал мне Жандр,—я право не знаю, где я был—на земле или в небе».

По уходе сенатора я выпил стакан чаю с хлебом (это был мой обед) и заснул. Просыпаюсь—на столике подле моей постели письмо по городской почте. Рука незнакомая. Распечатываю—от Сосницкого. О, радость! Он уведомляет меня, что величайшая редкость—«Лубочный театр» Грибоедова, который бог знает где-то валялся в его бумагах, им найден, списан для меня и что я могу его получить, когда или сам приду на квартиру Сосницкого (он же теперь живет на даче в Павловске) или кого-нибудь за ним пришлю... Думать было нечего; я сейчас же послал на квартиру Сосницкого (тоже вблизи от меня), там сейчас же получил драгоценный листок и с ним, как с находкой, к Жандру—сейчас же.

Многие не только из молодого поколения, но даже из старожилов, вовсе не знают, что такое «Лубочный театр» Грибоедова. Происхождение этого пасквиля (для чего же не назвать вещь ее именем?), имеющего теперь для нас неоспоримое историческое значение, тесно связано с малоизвестной у нас, некогда очень шумной и теперь нам интересной историей «Липецких вод», комедией князя Шаховского. Если нам вообще в высокой степени любопытны литературные отношения и литературные движения наших прошлых поколений, то, конечно, шум, брань и литературная драка, поднявшаяся из-за «Урока кокеткам или Липецких вод» Шаховского, заслуживают в истории этих движений не последнее место. Здесь нельзя вполне рассказывать историю «Липецких вод», еще требующую подробного и обстоятельного исследования. Скажу, что при разделе литературных мнений, за и против «Вод», Загоскин, тогда еще малоизвестный, а впоследствии очень известный «сочинитель», если не писатель, стал в ряды поклонников Шаховского и даже превзошел своих собратий в усердии к общему патрону, сделавшись его почти что низкопоклонником. За таковое рабское усердие был он награжден покровительством Шаховского, который и дал ему какое-то местечко при театре.

Надо заметить, что в это время Загоскин издавал недолговечный журнал «Северный Наблюдатель», в котором между прочим помещалась и театральная хроника. На этот довольно жалкий журнал постоянно, и иногда довольно удачно и ловко, нападал «Сын Отечества», издававшийся Гречем. Вздумалось Загоскину задеть Грибоедова (по силам нашел себе соперника!), указавши

как на образец безвкусия и неправильности, на два стиха из комедии «Своя семья», прибавивши, что

. . . . .подобные стихи
Против поэзии суть тяжкие грехи [1].

Искра попала в порох: Грибоедов не любил, чтобы его затрагивали.

Он собрал, так сказать, совокупил все те литературные глупости и тупости, которыми отличался бездарный Загоскин, и представил, что публику зазывают в лубочный театр или в балаган, которые, замечу кстати, тогда было в моде посещать по утрам, смотреть все эти глупости. Я не привожу здесь всего «Лубочного театра», составляющего ныне, как я уже сказал, величайшую редкость, а только, например, следующие стихи:

Вот вам Загоскин—наблюдатель,
Вот «Сын Отечества»—с ним вечный состязатель,
Один напишет вздор,
Другой на то разбор,
А разобрать труднее,
Кто из двоих глупее.

Написавши сгоряча «Лубочный театр» (это было в 1817 году, Грибоедов тогда был молод), он бросился с ним к одному, к другому, к третьему издателю, чтобы напечатать. «Помилуйте, Александр Сергеевич,—отвечали ему всюду,—разве подобные вещи печатаются: это чистые личности». Еще более раздосадованный такими отказами, Грибоедов нанял писцов и в несколько дней, через знакомых и знакомых знакомых, по Петербургу разошлось до тысячи рукописных экземпляров «Лубочного театра». Загоскин все-таки был одурачен.

Вот с этой-то редкостью, спеша елико возможно, пришел я к Жандру вечером 2-го июня.

Жандр прочел и говорит мне:

— Конечно, это не апокрифическое: об этом и речи быть не может, но то, что я знал из «Лубочного театра», то, что мне чи-

---

[1] Неправильно. Рецензия Загоскина была написана по поводу постановки «Молодых супругов». Общий отзыв о рецензии был весьма благоприятен, но, выписав из разных явлений девять стихов, по его мнению, «дурных, шероховатых», Загоскин заметил: «Читая подобные стихи, поневоле вспомнишь слова Мизантропа: «Такие, граф, стихи против поэзии суть тяжкие грехи». См. «Северный Наблюдатель 1817 г., № 25, стр. 54—56.

тал сам Грибоедов, было гораздо короче, сжатей и живее. Не было, например, указания на «Проказника», комедию Загоскина, и некоторых других мест [1]. Он читал эту пьесу и Гречу...

— Чтож, — спрашиваю я, — Греч? Не рассердился?

— О, нет, только посмеялся.

От «Лубочного театра» речь невольно склонилась к старым театральным временам, и тут-то наслушался я много любопытного, о чем прочесть негде, да скоро и услыхать будет не от кого.

— Вы не можете себе представить теперь, в настоящее, в наше время,—говорил Жандр:—какая это была трудная, особенно для всех любителей театра, для всех «театралов», пора—конец царствования Александра I. Тяжела она была и для актеров. Театром управлял главный директор. Должность эту сперва занимал Нарышкин, а потом Аполлон Александрович Майков, дед нынешнего поэта. Кроме главного директора, при театре состоял особый комитет из 4 членов под главным начальством самого генерал-губернатора Милорадовича. Шаховской был одним из членов этого комитета и назывался «членом по репертуарной части», не мешался ни в какие другие, например, в хозяйственную, для которой был особый член, но управлял, всем театром ворочал. Тогда—боже избави позволить себе какую-нибудь вольность в театре, а особенно в отношении к актрисам, которые все имели «покровителей». Раз Каратыгин за грубость будто бы против Майкова сидел в крепости.

— Как в крепости? Каратыгин? Василий? Трагик?

—Да, да, он, и сидел целую неделю. Он не встал перед Майковым, когда тот проходил мимо, и хоть уверял, что его просто не видал, не заметил,—его посадили в крепость, да мало того: целую неделю подсылали к нему разных лиц узнавать и выведывать, кто его подучил на это вольнодумство, не принадлежит ли он к «Союзу благоденствия» [2].

---

[1] «Лубочный театр» был полностью впервые напечатан с автографа (в письме Грибоедова к П. А. Катенину от 19 октября 1817 года) в Сборнике, изд. студентами Петербургского университета 1860 г., т. II, стр. 242. Но до того последние 12 стихов были опубликованы в статье Ф. Булгарина) «Заочная болтовня, или по школярному» — «Северная Пчела» 1837 г., № 133); в Карловском архиве Ф. В. Булгарина хранился другой автограф, напечатанный в «Русской Старине» 1874 г., № 5, стр. 159—160.

[2] Первое тайное общество называлось Tugend Bund. Оно не было секретом ни для кого. Первыми основателями его были гвардейские

— Это что такое?

— А вы и не знаете. Да это зародыш, зерно, из которого и развилось 14 декабря. Это был большой союз, к нему многие принадлежали.

— У них был какой-нибудь центр?

— Не один, а три: один в Кишиневе, другой в Киеве, а третий в Петербурге, т. е. один в армии Витгенштейна, другой в армии Сакена, а третий здесь. Главой этого союза был Никита Муравьев, с которым вот что в Москве сделали...

— Да ведь правительство знало об этом союзе?

— Знало, по крайней мере, до некоторой степени.

— Что же оно его не уничтожило, прямо и ясно?

— Вот подите, прямо и ясно не уничтожало, а лиц, которых подозревало, как участвующих в нем, преследовало. Всех понемножку выгоняли или из службы, или из столицы. Слушайте. Сушков... не помню его имени, но родной брат писателя, Николая Васильевича Сушкова, шикал в театре одной актрисе, его взяли и посадили в крепость. Пробыл он там недолго, всего три дня, а все-таки посадили в крепость.

Я сделал какой-то знак удивления.

— Вы удивляетесь? А с Катениным, если хотите, поступили еще лучше. Он тоже шикал в театре—его преспокойно взяли и выслали вон из Петербурга, с тем, чтобы он более не в'езжал, и сделал это Милорадович, без всякого высочайшего повеления.

— Да разве Милорадович был такой дурной человек?

— Нет, но безалаберный, взбалмошный. Он, уже выславши Катенина, подал доклад государю, что выслал и не велел в'езжать. Что-ж государь? Написал на докладе: «Хотя за такую вину и не следовало бы высылать из столицы, но, судя по образу увольнения полковника Катенина из службы, утверждаю». А какой же, спросите, это о б р а з у в о л ь н е н и я? Да никакого. Катенин был уволен по прошению, чисто, без всяких запинок, а знали, что он

офицеры Кошелев, Гагин и Семенов, которые все как-то ускользнули от преследований следственной комиссии. Носились слухи, что и все молодые генерал-ад'ютанты государя, составлявшие его блистательный ореол,—два брата Орловы, Киселев, Сипягин, Меньшиков, Потемкин и другие, или были членами этого общества, или покровительствовали ему, но об участии Грибоедова я что-то не слыхал, точно так же, как доселе ничего не знал о дуэли на Кавказе между ним и сорванцом Якубовичем, бывшим тогда сотоварищем моим по университетскому пансиону». (Примечание Поливанова).

принадлежит к тайному обществу и рады были к чему-нибудь придраться, чтобы выбросить человека вон из столицы, или из службы. В Москве, в 1818 году, в самое то время, когда там родился нынешний государь, был собран гвардейский полк из взводов всех гвардейских полков [1]. Никита Муравьев был обер-квартирмейстером этого отряда и его, за какую-то самую пустую ошибку в линии войска на параде, посадили под арест и высидел он три недели [2]. Разумеется, он сейчас же подал в отставку. А Катенин высидел у себя в деревне довольно долго, пока, наконец, случайно государь не проехал через эту деревню и не простил его, т.е. не разрешил ему в'езда в столицу [3]. Все, говорю вам, что в то время ни касалось театра было чрезвычайно трудно, за всем этим наблюдали, подглядывали, подслушивали... При театре даже был явный, официальный, публичный фискал, шпион...

— Как так?

---

[1] «В 1817—18 г.г. в Москве был не сводный полк, а целый отряд по батальону из каждого пешего гвардейского полка и по дивизиону из каждого кавалерийского, что составило 6 батальонов и 6 дивизионов, а всего, считая с артиллерией до 10-ти тысяч человек. Я сам был в этом отряде батальонным ад'ютантом павловского полка». (Примечание Поливанова).

[2] Этот отряд был выслан в начале августа 1817 года из Петербурга в Москву для присутствования на закладке храма Христа Спасителя и оставался там около года, по случаю пребывания в Москве высочайших особ. Проводив С. Н. Бегичева до Ижор, Грибоедов писал приятелю из Петербурга и между прочим упоминает в письме от 4 сентября и автора примечаний к этой статье М. М. Поливанова: «Прежде всего прошу Поливанову сказать свинью. Он до того меня исковеркал, что я на другой день не мог владеть руками, а спины вовсе не чувствовал. Вот каково водиться с буйными юношами».

[3] Катенин был действительно уволен от службы не совсем-то ловко: поводом к этому было подозрение в принадлежности к тайному обществу, а выставленною причиною—придирка цензуры к его переводу Расиновой «Гофолии» и его дерзкие возражения против цензурного комитета. После, действительно, ему был воспрещен в'езд в столицу, и он провел года три или более в костромской своей деревне под надзором полиции. При вступлении на престол Николая I он снова был принят на службу, с определением в кавказский корпус и там провел 12 или 13 лет—без наград, без повышений и даже без полка; наконец, совершенно расстроенный и полупомешанный был уволен от службы с награждением чином генерал-майора. Это была самая огневая и взбалмошная натура, но поэт в душе и отличный чтец». (Примечание Поливанова).

— Да так. Он назывался р е к в и з и т о р, и должность его, которая состояла в том, чтобы подслушивать, что говорилось между актерами и даже между писателями, пьесы которых ставились на сцену, и доносить, была определена прямо по штату. Эту «честную» должность занимал в то время какой-то итальянец, промотавший очень большое, по тогдашнему, состояние—тысяч 200 капитала. Фамилию его я теперь не могу припомнить. Мы же принимали в театре самое горячее участие, мнение наше имело вес, и мы любили поставить на своем, но времена были такие, что я перестал ходить в театр вовсе, я был молод, горяч и, разумеется, не стерпел бы, если бы дирекция стала выставлять какую-нибудь бездарность на счет человека даровитого: вступился бы непременно и нажил бы себе хлопот. Грибоедову же было горя мало: пошмыгать между актрисами, присутствовать при высаживании их из карет (тут-то всего легче и можно было нажить себе хлопот), пробраться за кулисы—это было первым его наслаждением. И он непременно втесался бы в какую-нибудь историю и непременно сидел бы в крепости, если бы не его ангел-хранитель, который так и блюл его, так и ходил за ним,—это был князь Александр Одоевский, погибший впоследствии по 14-му декабря. Боже мой! Отрадно вспомнить, что за славный, что за единственный человек был этот князь Александр Одоевский. 21 года, мужчина молодец, красавец, нравственный, как самая целомудренная девушка, прекраснейшего, мягкого характера!.. Он никогда не оставлял Грибоедова одного в театре, просто не отходил от него, как нянька, и часто утаскивал его от заманчивого под'езда силой, за руку. Почти всегда, прямо из театра, они приезжали прямо к нам,—я жил тогда с родственницей моей, Варварой Семеновной Миклашевичевой, которая любила обоих—и Одоевского, и Грибоедова—как родных сыновей,—и всегда Грибоедов, смеясь, говорил Одоевскому: «Ну, развязывай мешок, рассказывай», потому что непременно было что-нибудь забавное... Все строгости и глупости по театру уничтожились сейчас же со вступлением на престол Николая.

После нескольких перемен разговора речь коснулась прямо «Горя от ума».

— Знаете ли, Андрей Андреевич, — начал я: — я так много в жизнь свою с ним возился и прежде, когда был помоложе, так часто вставлял в разговор стихи из него, что раз одна очень

умная дама сказала мне такое слово, которого я никогда не забуду: «il parait que c'est votre évangile».

— Вы думаете, что я этому удивляюсь, — отвечал Жандр: — нисколько. А я так вот вас собираюсь удивить вещью точно в таком же роде. Знаете ли, что сказал о «Горе от ума», не самому, правда, Грибоедову, а Булгарину, один купец, с бородой, но человек, который любил читать, вообще любил просвещение. «Ведь это, Фаддей Венедиктович, наше светское евангелие». Каково это вам покажется?

— Что же он хотел этим выразить?

— А то, что если в евангелии настоящем правила нравственности чисто духовной, так в «Горе от ума» — правила общественной, житейской нравственности...

Потом разговорились мы к чему-то, что Грибоедов был лично храбр.

— А знаете ли, — сказал Жандр: — что он был порядочно суеверен, и это об'ясняется, если хотите, его живой поэтической натурой. Он верил существованию какого-то высшего мира и всему чудесному. Раз приходит ко мне весь бледный и расстроенный. «Что с тобой?» — «Чудеса да и только, только чудеса скверные». — «Да говори, пожалуйста». — «Вы с Варварой Семеновной все утро были дома?» — «Все утро». — «И никуда не выходили? — «Никуда». — «Ну, так я вас обоих сейчас видел на Синем мосту». — Я ничему сверхестественному не верю, и рассмеялся над его слювами и тревогой. — «Смейся, — говорит, — пожалуй, а знаешь ли, что со мной было в Тифлисе?» — «Говори».— «Иду я по улице и вижу, что в самом конце ее один из тамошних моих знакомых ее перешел. Тут, конечно, нет ничего удивительного, а удивительно то, что этот же самый господин нагоняет меня на улице и начинает со мной говорить. Как тебе покажется?.. Через три дня он умер». — «Стало быть, и мы с Варварой Семеновной умрем?» — «Ничего не знаю, а только ты ей не сказывай»... — «Пустяки, братец»... — и в самом деле вышли пустяки: видел он нас на Синем мосту в 1824 г., Варвара Семеновна умерла в 1846 г., а я, как видите, до сих пор жив. Но он всему этому верил. — «Знаешь ли ты историю одного немецкого студента? Она записана в актах». — «Расскажи». — В Германии был один молодой человек, который ни во что не верил... Раз ночью является к нему какая-то женщина, говорит ему, чтобы он покаялся, потому что через три дня умрет, и умрет — ровно

в полночь, когда она снова явится. Он рассказал об этом происшествии своим товарищам, и те, чтобы избавить его от страха, придумали вот что: один из них согласился нарядиться в женское платье, и стал похожим на женщину-привидение, как описывал ее студент. В назначенный этой женщиной вечер товарищи собрались к студенту и минут за пять до полуночи явился наряженный. — «Да куда же твоя женщина пропала? Ба! Да вот она», сказали они, указывая на вошедшего в это время переодетого товарища. «Нет, — отвечал студент, — это товарищ, а не она, а вот она» ...и он указал в другую сторону, где стояло настоящее привидение. В это самое время часы на городской башне пробили полночь — и студент тут же и умер».

— Однако, как же вы, Андрей Андреевич, об'ясняете то, что Грибоедов видел вас с Варварой Семеновной на Синем мосту или своего знакомого в Тифлисе?

— Очень просто. Галлюцинацией. Конечно, есть вещи очень странные, и одну из этих странных вещей я вам сейчас расскажу. Тут дело было уже не с одним человеком, не с Грибоедовым на Синем мосту или в Тифлисе, а с двумя совершенно разно поставленными лицами. В подлинности этого факта сомневаться невозможно, потому что я сам не только исследовал, но должен был его исследовать. Дело было с той же самой Варварой Семеновной Миклашевичевой, о которой сейчас шла речь. У нее был один сын, Николай, которого она очень любила, и который умер восьми лет от роду. Она его горько оплакивала и всегда по ночам очень долго о нем молилась. Раз ночью — это было летом — она стоит перед иконами, молится о нем и вдруг слышит, что у будочника (против самой ее квартиры была будка) голос ее сына очень громко спрашивает: «Который час?» Малютка несколько пришепетывал и по этому одному и, наконец, по самым звукам голоса она не могла ошибиться. Она бросается к окну, отворяет его, слышит, как будочник отвечает: «Третий; да что ты, этакой маленький, по ночам шатаешься?» — видит, очень ясно видит своего сына, видит, как он перешел от будки улицу к ее воротам и у самых ворот пропал. Боясь, не ошиблась ли она, не было ли у ней все это действием слишком сильно настроенного воображения, она разбудила людей, послала к будочнику спросить: видел ли он мальчика, говорил ли с ним? Оказалось, что видел и говорил. Когда я приехал (меня в то время не было в Петербурге), она мне все рассказывает и для

того, чтобы удостоверить меня в подлинности факта, просит, чтобы я сам спросил будочника. Будочник этот был в то время переведен куда-то к Александро-Невской лавре. Я поехал, отыскал его, при ней расспрашивал: все оказалось верно и точно, видел и говорил.

— Странно. Впрочем, мне Степан Никитич рассказал о Варваре Семеновне еще одну странность, заставляющую думать, что эта женщина отличалась даром какого-то провидения, предвидения, ясновидения, или какого хотите видения, в котором, однако, не было ничего общего с нашими какими бы то ни было видениями, принимаемыми хоть в смысле предчувствий. Она не то что предузнала, а просто, без всяких оснований, без всяких данных узнала о приезде Степана Никитича в Петербург.

— Сущая правда. Вот как было дело. Не только я не ждал в Петербург Степана Никитича, с которым мы, по общей нам лености, и переписывались редко, но и сам он после говорил, что собрался в Петербург вдруг и приехал в него как бы случайно. В одно прекрасное утро сижу я у себя в кабинете и занимаюсь делами до отправления на службу, как вдруг входит Варвара Семеновна и говорит мне: «Знаешь ли, Андрей Андреевич, ведь Степан Никитич в Петербург приехал». — «От кого вы это знаете?» — «Да ни от кого, а говорю тебе, что приехал». — «Может быть, это вам только так кажется?» — «Нет, я тебе это наверное говорю...». Отправляюсь на службу, проходит час-другой времени, входит ко мне Степан Никитич. — «Здравствуй, говорю, друг любезный, добро пожаловать, я о твоем приезде знал сегодня утром». — Тот на меня глаза уставил... «Не от кого, — говорит, — тебе было знать: я только что приехал и ни с кем не видался, прямо к тебе». — «А я тебе говорю, что знал». — «Да от кого же? — «От Варвары Семеновны». — «А она от кого знала». — «А ни от кого...».

— Точно так рассказывал мне этот факт и Степан Никитич.

— А вот еще с Варварой Семеновной случай, по характеру подходящий к последнему, но еще, если хотите, замысловатее. Я вам уже говорил, что она очень любила Александра Одоевского. 4 декабря 1825 г., в день ее ангела Одоевский приезжает ее поздравить прямо с караула, — в мундире, в шарфе, одним словом, во всем том, в чем следует офицеру быть на карауле. Пробывши с полчаса, он уехал. «Что это за странность, — го-

ворит мне Варвара Семеновна, только что тот скрылся за дверь, — в каком это чудном костюме приезжал князь Александр?» — «В каком же чудном? Он с караула, поспешил к вам, и приехал во всей форме». — «Помилуй, в какой форме: я бы не удивилась, если бы он и во всей форме приехал, а то он удивил меня, что надел вовсе не мундир; на нем был какой-то серый армяк, казакин или зипун»... Через несколько дней, по милости происшествий декабря 14-го князь Александр был действительно в армяке...

— Вам более не нужны, Андрей Андреевич, — сказал я, вставая, — «черновая» Грибоедова и портрет его?

— Нет, не нужны.

— Похож портрет?

— Не очень.

— Как же это? Марья Сергеевна сказала мне [1], что похож; я показывал его Петру Каратыгину, тот говорит: «похож», но, главное, когда я привез этот портрет князю В. Ф. Одоевскому, он долго держал его в руках и несколько раз повторил: «Очень похож, очень похож».

— Пусть все это так, но только вы всему этому не вполне доверяйте. Я не скажу, чтобы в этом портрете не было решительно никакого сходства, — оно, конечно, есть, но сходство это не выражает вам вполне, не передает вам Грибоедова. Я сейчас об'ясню вам это примером. С меня нынешний год списал масляными красками портрет один молодой человек, бедняк, ученик Бруни, и просил у меня позволения выставить этот портрет на выставке академии; я согласился. Там, на выставке, многие не только меня узнавали, но находили, что в этом портрете большое со мной сходство, между тем этим портретом недовольны ни я, ни жена моя, ни все мое семейство: мы все находим, что он непохож. Так и с портретом Грибоедова: сходство, конечно, есть, но не слишком близкое, не художественное... Прежде всего замечу, что Грибоедов в то время, к которому относится этот

---

[1] Из записанных Д. А. Смирновым рассказов М. С. Дурново о Грибоедове в печати известны только отрывки. См., например, в его статье «Биографические известия о Грибоедове» («Беседы...», стр. 7): «Генерал-бас (т. е. гармонию) знал он (Грибоедов) в совершенстве», говорила мне сестра его Марья Сергеевна»;—другое воспоминание ее, записанное Смирновым, см. ниже.

портрет, был гораздо худее в лице, и наконец, глаза... Разве этот портрет передает выражение его глаз? Нисколько. Вот беда, — я рисовать не умею, — а то бы я нарисовал Грибоедова, как живого, потому что вижу его перед собой — вот как вас вижу...

V

Рассказы Жандра о подробностях дуэли Шереметева с Завадовским. — Роль Истоминой, Грибоедова и Якубовича в столкновении Шереметева с графом Завадовским. — Разъяснение слов Каверина, сказанных, после дуэли. — Дуэль Грибоедова с Якубовичем на Кавказе. — Рана Грибоедова. — Свидетельство Жандра о полном участии Грибоедова в заговоре 14 декабря. — Разъяснение выражения Грибоедова «о ста человеках прапорщиков». — Порядок приема в члены тайного общества. — Пользование казенными печатями для сношений между думами. — Зеленая книга. — Желтая книга. — Благоприятные для Грибоедова показания главарей декабристского движения.

Сегодня вечером (3 июня), после бесполезной и бестолковой моей поездки в Павловск к Сосницкому, я отправился опять к Жандру. Он говорит, что вся литературно-общественная история из-за «Липецких Вод» князя Шаховского, которую так хорошо знает Сосницкий, ему вовсе незнакома. Странно. Взамен этого он мне рассказал сегодня много любопытного о Грибоедове и, главное, вообще о заговоре 14 декабря.

— Как вам известны подробности Грибоедовской дуэли? — спросил он меня.

Я рассказал, прибавя, что слышал все это от С. Н. Бегичева и от доктора Иона.

— Так, но не совсем так. Степана Никитича в это время в Петербурге не было, а я был, и Грибоедов прямо с дуэли приехал ко мне. Василий Шереметев жил с Истоминой совершенно по-супружески — вместе, в одном доме. Они иногда вместе и выезжали, например, к князю Шаховскому, у которого была обязанность — приискивать всем хорошеньким, выходящим из театральной школы, достаточных и приличных «покровителей». Это была милая и совсем не бездоходная обязанность, — за свои хлопоты Шаховской брал порядочные деньги. Одним словом, эта обязанность была надежный капитал, всегда дающий верный и прибыльный процент. Все им покровительствуемые красавицы и их счастливые обожатели уже и смотрели на Шаховского, как на своего патрона, обращались к нему во всех своих ссорах, неприятностях и проч. Он мирил, ладил, устраивал, все обходилось ладно и клейко, по-домашнему. Шереметев, шалун, повеса, но человек с отлично-добрым и благородным сердцем, любил Истомину со всем

безумием страсти, а стало быть и с ревностью. И в самом деле она была хорошенькая, а в театре, на сцене, в танцах, с грациозными и сладострастными движениями — просто прелесть!.. Шереметев с ней ссорился часто и, поссорившись и перед роковой для него дуэлью, уехал от нее [1]. Надо заметить, что скорее он жил у нее, чем она у него. Истомина, как первая танцовщица, получала большие деньги и жила хорошо... Грибоедов, который в то время жил вместе с графом Завадовским, бывал у них очень часто, как друг, как близкий знакомый. Завадовский имел, кажется, прежде виды на Истомину, но должен был уступить счастливому сопернику... Тем на этот раз дело и ограничилось. Поссорившись, Шереметев, как человек страшно влюбленный, следил, наблюдал за Истоминой: она это очень хорошо знала. Не знаю уж почему, во время этой ссоры Грибоедову вздумалось пригласить к себе Истомину после театра пить чай. Та согласилась, но зная, что Шереметев за ней подсматривает, и не желая вводить его в искушение и лишний гнев, сказала Грибоедову, что не поедет с ним вместе из театра прямо, а назначила ему место, где с ней сейчас же после спектакля встретиться — первую, так называемую Суконную линию Гостиного Двора, на этот раз, разумеется, совершенно пустынную, потому что дело было ночью. Так все и сделалось: она вышла из театральной кареты против самого Гостиного Двора, встретилась с Грибоедовым и уехала к нему. Шереметев, наблюдавший издалека, все это видел. Следуя за санями Грибоедова, он вполне убедился, что Истомина приехала с к е м-т о в квартиру Завадовского. После он очень просто, через людей, мог узнать, что этот к т о-т о был Грибоедов. Понятно, что все это происшествие взбесило Шереметева, он бросился к своему приятелю Якубовичу с вопросом: что тут делать?

«Что делать, — ответил тот, — очень понятно: драться разумеется, надо, но теперь главный вопрос состоит в том: как и с кем? Истомина твоя была у Завадовского — это раз, но привез ее туда Грибоедов — это два, стало-быть, тут два лица, требующих пули, а из этого выходит, что для того, чтобы никому не было обидно, мы, при сей верной оказии, составим un partie carré, — ты стреляйся с Грибоедовым, а я на себя возьму Завадовского».

---

[1] Наоборот, А. И. Истомина уехала от Шереметева к своей подруге Азаровой, как это было выяснено следствием.

— Да помилуйте, — прервал я Жандра, — ведь Якубович не имел по этому делу решительно никаких отношений к Завадовскому. За что же ему было с ним стреляться?..

— Никаких. Да уж таков человек был. Поэтому-то я вам и сказал, и употребил это выражение: «при сей верной оказии». По его понятиям, с его точки зрения на вещи, тут было два лица, которых следовало наградить пулей, — как же ему было не вступиться? Поехали они к Грибоедову и к Завадовскому об'ясняться. Шереметев Грибоедова вызвал. «Нет, братец, — отвечал Грибоедов, — я с тобой стреляться не буду, потому что, право, не за что, а вот если угодно Александру Ивановичу (т. е. Якубовичу), то я к его услугам».

Partie carré устроилось. Шереметев должен был стреляться с Завадовским, а Грибоедов с Якубовичем. Барьер был назначен на 18 шагов с тем, чтобы противникам пройти по 6 и тогда стрелять. Первая очередь была первых лиц, т. е. Шереметева и Завадовского. Я забыл сказать, что в течение всего этого времени Шереметев успел помириться с Истоминой и как остался с ней с глазу на глаз, то вдруг вынул из кармана пистолет и, приставивши его прямо ко лбу, говорит: «Говори правду, или не встанешь с места, — даю тебе на этот раз слово. Ты будешь на кладбище, а я в Сибири, — очень хорошо знаю, да, что же... Имел тебя Завадовский, или нет?» Та, со страху ли, или в самом деле правду, но, кажется, сказала, что имел [1]. После этого понятно.

[1] В деле дуэли Завадовского с Шереметевым сохранилась малоизвестная в печати выписка—о ее причине—из показаний лиц, причастных к дуэли: «Камер-юнкер Завадовский об'яснил производившим следствие, что причиною сего поединка было то, что танцорка императорского театра Истомина, переехавши от Шереметева на собственную квартиру, по приглашению его, Завадовского, была у него на короткое время, о чем Шереметев, узнав, об'явил ему причину неудовольствия, вызывая драться на смерть. Танцорка же Истомина показала, что она у Шереметева проживая около двух лет, давно намеревалась по беспокойному его характеру и жестоким с нею поступкам отойти от него; наконец, рассорясь с нею 3 числа сего месяца, сослал ее от себя прочь, почему она и перешла на особую квартиру, но когда она была 5 числа сего же месяца в понедельник в танцах в театре, то знакомый как ей, так и Шереметеву ведомства государственной коллегии иностранных дел губернский секретарь Грибоедов, часто бывавший у них по дружбе с Шереметевым и знавший о ссоре ее с ним, позвал ее с собой ехать к служащему при театральной дирекции действительному статскому советнику князю Шаховскому, к коему по благосклонности его нередко езжала, но вместо того привез ее на квартиру Завадов-

что вся злоба Шереметева обратилась уже не на Грибоедова, а на Завадовского, и это-то его и погубило... Когда они с крайних пределов барьера стали сходиться на ближайшие, Завадовский, который был отличный стрелок, шел тихо и совершенно спокойно. Хладнокровие ли Завадовского взбесило Шереметева, или просто чувство злобы пересилило в нем рассудок, но только он, что называется, не выдержал, и выстрелил в Завадовского, еще не дошедши до барьера. Пуля пролетала около Завадовского близко,

---

ского, но не сказывая, что его квартира, куда вскоре приехал и Завадовский, где он по прошествии некоторого времени предлагал ей о любви, но в шутку или в самом деле, того не знает, но согласия ему на то об'явлено не было; с коим посидевши несколько времени, была отвезена Грибоедовым на свою квартиру, но на третий день приехал к ней Шереметев, просил у ней прощения и приглашал возвратиться к нему, но она, не желая сего, намерена была в тот же день ехать к князю Шаховскому, но Шереметев просил ее, чтобы ехать в его экипаже, но когда она согласилась, то он вместо того привез ее к себе и, показывая на пистолеты, говорил, что ежели не останется у него, то он застрелит себя. Видя его в таком чистосердечном раскаянии и не желая довести до отчаяния, осталась у него, после чего в продолжение двух дней он спрашивал, что не была ли она у кого-нибудь в то время, когда не жила у него, стращая при этом, что ежели она не скажет, то он ее застрелит; она принуждена была на третий день признаться, что была у графа Завадовского. Он, будучи доволен ее признанием, тотчас пошел с сей квартиры, но при выходе из оной встретился с ним лейб-гвардии уланского полка корнет Якубович, с коим он и ушел, а часа через два опять возвратился. С того времени Шереметев был доволен и покоен, сказывая ей, что он все знает о бытности ее у Завадовского и что все сие решено уже. Но сверх ее чаяния в понедельник 12 числа приезжает Якубович и сказывает ей, чтобы она ушла куда-нибудь с квартиры, так как много соберется офицеров, ибо Шереметев ранен, почему она и препровождена была в особую квартиру, о поединке же ничего не знает.—Губернский секретарь Грибоедов ответствовал, что ее пригласил ехать единственно для того только, чтобы узнать подробней, как и за что она поссорилась с Шереметевым, и как он жил до сего времени за неделю на квартире Завадовского, то и завез на оную, куда приехал и Завадовский, но об'яснялся ли он ей в любви, не помнит, но после отвез ее в квартиру.—Граф Завадовский сперва производившим следствие об'яснил, что оная Истомина была у него по приглашению его, а потом и вторично ответствовал, что он ее в театре на лестнице лично приглашал к себе, когда она оставит Шереметева, побывать в гостях у него, но с кем она приехала к нему, не знает и о любви, может быть, в шутках говорил и делал разные предложения, но на очной ставке с Грибоедовым о приглашении ее приехать к себе ответствовал, что ошибся, принявши визит Истоминой на свой счет.—

Корнет Якубович, уже предназначенный к отставке по высочайшему

потому что оторвала часть воротника у сюртука, у самой шеи... Тогда уже, и это очень понятно, разозлился Завадовский. «Ah,— сказал он, — il en voulait à ma vie. A la barrière!» Делать было нечего, — Шереметев подошел. Завадовский выстрелил. Удар был смертельный, — он ранил Шереметева в живот. Шереметев несколько раз подпрыгнул на месте, потом упал и стал кататься по снегу. Тогда-то Каверин [1] и сказал ему, но совсем не так, как вам говорил Ион: — «Вот тебе, Васька, и редька!» — это не имеет никакого смысла, а довольно известное выраженье русского простолюдья: «Что, Вася? Репка?» Репа ведь лакомство у народа, и это выражение употребляется им иронически в смысле: «что же? вкусно ли? хороша ли закуска?» Якубович, указывая на Шереметева, обратился к Грибоедову с из'яснением того, что в эту минуту им, конечно, невозможно стреляться, потому что он должен отвезти Шереметева домой... Они отложили свою дуэль до первой возможности, но в Петербурге они стреляться не могли, потому что Якубовича сейчас же арестовали и прямо из-под ареста послали на Кавказ. Они действительно встретились с Грибоедовым на первых же порах его приезда в Тифлис и стрелялись. Ермолов несколькими минутами не успел предупредить дуэли, пославши арестовать обоих. Грибоедов, как и Шереметев же, не выдержал и выстрелил, не дошедши до барьера. Якубович стрелял отлично и после говорил, что он на жизнь Грибоедова не имел ни малейших покушений, а хотел, в знак памяти, лишить его только руки. Пуля попала Грибоедову в ладонь левой руки около большого

повелению по представлению цесаревича Константина Павловича, был немедленно же арестован за участие в дуэли Шереметева, но при допросе не выяснил причин дуэли, заявив лишь, что «поступок Завадовского не делал чести благородному человеку», подробности же ссоры не хочет пояснить, «дабы не показать пристрастия к Шереметеву и не снять личины с Завадовского». За что же Шереметев имел злобу, «Завадовскому спрашивать было нечего, потому что причину сего лучше их знал».—Об Ионе и Каверине в следствии нет ни слова.

[1] «Каверин (как мне рассказывал еще в 1841 году С. Н. Бегичев) был лицо замечательное и характерно-типическое в отношении к своему времени—красавец, пьяница, скакун и такой сорви-голова и бреттер, каких мало. Он служил когда-то ад'ютантом у Бенигсена и в бытность наших войск за границей проказил в Гамбурге до того, что был целому городу и околотку известен под именем красного гусара. Бенигсен должен был после спровадить с рук долой эту удалую голову, от которой житья не было». (Примечание Д. А. Смирнова).

пальца, но, по связи жил, ему свело мизинец, и это мешало ему, музыканту, впоследствии играть на фортепиано. Ему нужна была особая аппликатура. Шереметев жил после дуэли три дня [1].

— Очень любопытно, Андрей Андреевич,—начал я,—знать настоящую, действительную степень участия Грибоедова в заговоре 14 декабря.

— Да какая степень? Полная.

— Полная?—произнес я не без удивления, зная, что Грибоедов сам же смеялся над заговором, говоря, что 100 человек-прапорщиков хотят изменить весь правительственный быт России.

— Разумеется, полная. Если он и говорил о 100 человеках прапорщиков, то это только в отношении к исполнению дела, а в необходимость и справедливость дела он верил вполне [2]. На этом-то основании, вскоре после дуэли своей с Якубовичем, он с ним был «как ни в чем не бывало», как с единомышленником. А выгородился он из этого дела действительно оригинальным и очень замечательным образом, который показывает, как его любили и уважали. Историю его ареста Ермоловым вы уже знаете; о бумагах из крепости Грозной и судьбе их—тоже. Но вы, верно, не знаете вот чего. Начальники заговора или начальники центров, которые назывались думами, а дум этих было три—в Кишиневе, которой заведывал Пестель, в Киеве—Сергей Муравьев-Апостол и в Петербурге—Рылеев, поступали в отношении своих собратьев-заговорщиков очень благородно и осмотрительно: человек вступал в заговор, подписывал и думал, что уже связан одной своей подписью; но на деле это было совсем не так: он мог это думать, потому что ничего не знал, подпись его сейчас же истреблялась,

---

[1] По документальным данным, штабс-ротмистр кавалергардского полка В. В. Шереметев 2-й скончался на другой день после дуэли, т. е. 13 ноября, в пять и три четверти часа пополудни.

[2] Это свидетельство близкого друга А. С. Грибоедова о том, что поэт вполне разделял с декабристами веру в необходимость и справедливость их дела, весьма замечательно. Его смущали, повидимому, лишь неорганизованность дела и излишняя болтливость и пошлость некоторых членов, но, конечно, несмотря на весь свой скептицизм и холодный ум, Грибоедов (как и Пушкин) нашел бы в себе, без сомнения, достаточно энтузиазма и сил, чтобы 14 декабря, если бы он был в это время в Петербурге, стать в ряды своих друзей и товарищей Рылеева, Одоевского, Кюхельбекера, Бестужева и многих других, а не остаться в стороне, не примыкая ни туда, ни сюда, как думает это В. Розанов (см. его «Литературные Очерки», изд. И. Перцова. Спб. 1899, стр. 192—200).

так что в действительности был он связан одним только словом. Надо вам сказать, что в первом своем зародыше, вначале, это был заговор чисто военный, т. е. между одними только военными. Сноситься заговорщикам было очень удобно, несмотря на дальность расстояний: Александр Бестужев был старшим ад'ютантом главного штаба [1], имевшего сношения с штабами армий. Там, в одном месте, был Сергей Муравьев-Апостол, в другом—Пестель, да и вообще ад'ютанты штабов все были в заговоре. Они преспокойно пользовались казенными печатями, делая какой-то условный знак чернилами у самой печати на конвертах. Все прочие конверты ад'ютантами распечатывались, а эти, конечно, прятались. У заговорщиков военных была Зеленая книга, в которую и вносились имена. Этот, сперва чисто-военный, заговор впоследствии расширился, в него вступило много отставных, даже купцов. Зеленая книга—это было в 1818 году во время сборного в Москве полка,—была уничтожена и заменена Желтой книгой [2]. В то время многие от заговора отстали, даже сам Никита Муравьев. Отстал в это же время и наш С. Н. Бегичев. Когда 14 декабря бунт вспыхнул, заговорщики были взяты, между ними, по непонятным причинам, Бестужев-Рюмин стал прямо указывать на Грибоедова, упирая все более на то, что Грибоедов с Сергеем Муравьевым-Апостолом жил сыздетства душа в душу... По этому только случаю Грибоедова и взяли [3]...

— Что же за выгода была в этом Бестужеву-Рюмину?— спросил я.—Что за цель, что за отрада?

— Не понимаю. Но мало того, что против Грибоедова не нашлось, как вы уже знаете, никаких доказательств,—в пользу его (вот что замечательно!) были свидетельства самих заговорщиков, потому что и Сергей Муравьев, и Рылеев, и Александр Бестужев (Марлинский), которые не могли уже в то время в чем нибудь сговариваться, стакиваться, сказали одно и то же, что

---

[1] «Бестужев никогда не был старшим ад'ютантом главного штаба, а ад'ютантом принца Александра Виртембергского, известного под именем Принца-Шишки». (Примечание Поливанова).

[2] «О Зеленой книге знали все, но только немногие знали, в чем состояло дело. Общим убеждением было, что это особая масонская ложа, членами которой были одни офицеры гвардии. О существовании Желтой книги я не слыхал». (Примечание Поливанова).

[3] Этот факт совершенно не подтверждается документально; см. показание Бестужева-Рюмина в пользу Грибоедова, опубликованное в работе П. Е. Щеголева «Грибоедов и декабристы».

«Грибоедов в заговоре не участвовал и что они не старались привлекать его к заговору, который мог иметь исход скорее дурной, чем хороший, потому что берегли человека, который своим талантом мог прославить Россию[1]. Таким-то образом Грибоедов выгородился совершенно... Разумеется, много помогли ему и Ермолов, и уже здесь, в следственной комиссии, Ивановский.

VI

Любовь Жандра к семейной жизни. — Баловство детей. — Жандр — пурист в русской речи. — Как записывал автор рассказы Жандра. — Сравнение с С. Н. Бегичевым.

Мне остается для полноты картины сказать несколько слов о Жандре—как человеке.

Человек, который был другом Грибоедова—настоящим, а не двусмысленным, как Булгарин, не может быть дурным человеком. Это надо принять за аксиому. Жандру около 70 лет, женился он поздно, и теперь «весь», по выражению его жены, «живет в своем семействе». Дети гораздо более вьются, трутся и вертятся около него, чем около матери. Старца (и это совершенно в духе старца), кажется, приводит в решительное восхищение то, что у него 2—3 месяца тому назад родился ребенок. Наш брат от такой благодати чуть не заплачет, а старческому самолюбию это льстит. Детей он балует страшно, они делают из него, что хотят. По зову ребенка старик встает и идет в другую комнату,—разумеется, за пустяками. Tout ce qui est trop—говорит пословица. Дочка его, лет 9-ти, что ли, ловкая, но такая подвижная и манерная, что хоть вот сию минуту прямо в любую труппу эквилибристов на канат. Я таких детей не люблю, а их, хоть и детской, но все-таки несколько нахальной, развязности не люблю еще больше. Актриса, теперь уж актриса. Что толку? Жандр сам признавался мне, что почти ничего не читает, кроме сенаторских записок да des choses prohibées, как, например, все Герценовское, интересующее теперь всякого. В отношении к языку он, как сам признавался, пурист. Например, я спрашиваю о Завадовском:

— Скажите, пожалуйста, что это была за личность?

— Ради бога не убивайте меня.

Я вытаращил глаза.

— Не говорите «личность», у нас под этим словом разумеется совершенно другое понятие.

---

[1] См. комментарии к воспоминаниям А. А. Бестужева.

— Да ведь это прямой перевод слова personnalité.

— То-то, что не прямой: personnalité—особа.

Старик, видимо, ошибается.

— Особа l'individu,—замечаю я.

— И personnalité.

Ну, бог с ним.

Вообще, он человек благородный и добрый,—по крайней мере ко мне был он чрезвычайно добр: дружески пенял мне, что я не уведомил его о моей болезни, сам навестил меня, спрашивал, не растрясла ли у меня, заезжего, моя болезнь казны... Вхожу к нему во второй раз после моей болезни,—и он отменяет только что отданное человеку приказание итти справиться о моем здоровье. А это: старик сидит на какой-то, и не очень удобной, кушетке, а я подле него в больших вольтеровских креслах, существовавших еще при Грибоедове, спрятавшись раз за которые, Жандр напугал Грибоедова, за что тот и назвал его школьником... Старик рассказывает, и при том такие вещи, которых, верно, другому не стал бы говорить, а у меня, без всякого зазрения совести, на коленях портфель с бумагой, а в руке карандаш; я, решительно без всякого приличия, записываю бегло перечнем все, что он говорит. Прощаясь, мы дружески обнялись и расцеловались. Последнее его слово было—поклон моей жене.

В Степане Никитиче до сих пор больше огня и душевной силы, хотя, вероятно, меньше физической, хотя он глух и руки у него сильно трясутся. В Степане Никитиче есть то, что

Мхом покрытая бутылка вековая
Хранит струю кипучего вина...

VII

Письмо Жандра к Смирнову от 25 сентября 1858 г. — Свидание с Жандром в конце февраля 1859 года. — Воспоминания о недавно умершем С. Н. Бегичеве и его дружбе с Грибоедовым. — Рассказ Смирнова, со слов Бегичева, о случае в католическом монастыре в 1814 году. — Свидетельство Жандра, в каком виде был автограф «Горя от ума», привезенный Грибоедовым в Петербург в 1824 году. — Многочисленные списки «Горя от ума». — Главный список А. А. Жандра, исправленный автором собственноручно. — Допрос Жандра государем. — О портфелях для бумаг. — О причине дуэли Чернова и Новосильцева и обстановка похорон того и другого. — Общие надежды на помилование декабристов. — Где похоронены тела повешенных.

В конце февраля 1859 года я снова приехал в Петербург. Само собой разумеется, что один из первых моих визитов был сенатору Жандру, который писал ко мне только одно письмо, но

самое обязательное. В письме этом, которое я прилагаю в подлиннике [1], были мне особенно дороги следующие строки: «не удивляйтесь и не сердитесь на меня, любезнейший, почтенный Дмитрий Александрович, что на три письма ваши, которые доставили мне истинное удовольствие, убеждая, что на свете есть еще люди, согретые человеческим сердцем,—я отвечаю так поздно. Для таких старых людей, как я, самое трудное дело писать, что бы то ни было... А я все лето писал, писал и писал...» Далее следовало исчисление его настоящих служебных трудов и следующее слишком важное для меня известие: «перебравшись на новую квартиру и перебирая мои бумаги, я нашел два письма незабвенного моего друга. Если удосужусь, то пришлю вам копии с них. Одно менее интересно, другое несравненно более. Оно писано к Варваре Семеновне, общему нашему другу, из Табриса незадолго до последнего от'езда Александра в Тегеран, следовательно незадолго до его смерти».

Нас как-то невидимо, но как-то чувствуемо соединяла мысль, что е г о уже нет, нашего общего друга, нашего дорогого Степана Никитича.

— Он умер,—сказал я.

Сенатор промолчал, но ему, видимо, было грустно.

— Он обещал мне при последнем свидании, все письма Грибоедова к нему в мою собственность,—продолжал я.

— Не знаю,—отвечал Жандр,—но я душевно сохраняю память об этом человеке,—не даром его так любил Грибоедов. Они много дурости наделали в молодости: во второй этаж дома в Брест-Литовске верхом на лошадях в'ехали на бал... Это были кутилы, но из них вышли замечательные люди. Степан Никитич был рыцарь благородства, и вы должны почитать себя совершенно счастливым, если сохранили несколько его писем.

— Вы рассказываете, Андрей Андреевич, как они в Брест-Литовске верхом во второй этаж на лошадях приехали. Да мало ли они так чудили. Я вам расскажу одну проделочку моего дядюшки: вы, вероятно, знаете, что в Брест-Литовске был какой-то католический монастырь, чуть ли не иезуитский; вот и забрались раз в церковь этого монастыря Грибоедов со своим любезным Степаном Никитичем, когда служба еще не начиналась. Степан

[1] Полный текст письма А. А. Жандра к Д. А. Смирнову от 25 сентября 1858 г. воспроизведен в примечаниях к первой публикации этой статьи в «Историческом Вестнике».

Никитич остался внизу, а Грибоедов, не будь глуп, отправился наверх, на хоры, где орган. Ноты были раскрыты. Собрались монахи, началась служба. Где уж в это время находился органист, или не посмел он согнать с хор и остановить русского офицера, да который еще состоял при таком важном в том крае лице, каким был Андрей Семенович Кологривов,—уж я вам передать этого не могу, потому что не догадался об этом спросить Степана Никитича, от которого слышал о всей этой проделке. Вы лучше моего знаете, что Грибоедов был великий музыкант. Когда по порядку службы потребовалась музыка, Грибоедов заиграл и играл довольно долго и отлично. Вдруг священнодейческие звуки умолкли и с хор раздался наш кровный, наш родной «Комаринский»... Можете судить, какой это произвело эффект и какой гвалт произошел между святыми отцами...

С Жандром мы видались часто. Раз он говорит мне: «когда Грибоедов приехал в Петербург и в уме своем переделал свою комедию, он написал такие ужасные брульены, что разобрать было невозможно. Видя, что гениальнейшее создание чуть не гибнет, я у него выпросил его полулисты. Он их отдал с совершенной беспечностью. У меня была под руками целая канцелярия: она списала «Горе от ума» и обогатилась, потому что требовали множество списков. Главный список, поправленный рукою самого Грибоедова находится у меня. Вы почерк его знаете,—сомнения не может быть никакого. Барон Корф просил у меня мой экземпляр для императорской Публичной библиотеки, но я не дал, потому что хочу, чтобы этот экземпляр сохранился в моем семействе» [1].

Несколько раз говорили мы о князе Александре Одоевском. «Князь Александр, — сказал мне Жандр, — после происшествия 14 декабря бежал, за ним был послан Василий Перовский, человек чрезвычайно благородный; он видел в Ораниенбауме следы его по снегу, когда тот побежал из дому в лес, но не решился его преследовать. Впрочем, его схватили. И я был схвачен в пальто, бобровой шапке (как давший свое пальто князю Одоевскому); в таком виде я был представлен императору, в пальто и в бобровой шапке. Государь спросил меня:

— Ты дал князю Одоевскому одежду?

---

[1] Семья А. А. Жандра передала этот автограф «Музею имени А. С. Грибоедова», находящемуся в Государственном историческом музее в Москве. Воспроизведен в академическом издании.

— Я.

— Ты участвуешь в заговоре?

— Нет. Но я всех их знаю.

— Ступай.

«После государь меня жаловал, и лент, и звезд было дано много, и нередко я имел так называемое с ч а с т ь е представляться Николаю Павловичу и обедать у него, особенно же часто в Петергофе, где я почти всегда живу летом, но никогда государь не сказал со мной ни одного слова; я видел милости, но видел и немилости, впрочем, мне все равно. Хоть мне дадут пятую, хоть шестую звезду, все это вздор. Я служил честно — и умру честно».

Раз я сидел у Жандра особенно долго; старик разговорился.

— Я помню те времена, когда без портфелей ходили... старые времена, вы их помнить не можете.

— Да в чем же бумаги-то носили, — спросил я.

— Да в бумагах же.

— А дождь, снег, ветер?

— Ну, так в платок завяжут, или в салфетку завернут, а о таких премудростях, как портфели, я слухом не слыхали, и видом не видали.

Я промолчал, потому что боялся, что отпущу глупость, вроде следующей: «Да, подлинно доисторические времена», и тем напомню старику его, действительно, преклонные лета, что не всегда бывает приятно. Жандр особенно любил говорить о всем, что относится к 14 декабря. Видимо, что он всем этим происшествиям сочувствует и судит о них, зная всю подноготную, как человек умный и благородный, т. е. осуждает их [1].

---

[1] «Этим выраженным здесь личным взглядом Д. А. Смирнова на дело 14 декабря можно об'яснить многие недомолвки и неясности в передаче данных об участии А. С. Грибоедова в декабристском движении. Узнав от друга его, А. А. Жандра, что действительная степень участия Грибоедова в заговоре 14 декабря была «полная», он даже не расспросил его, каковые же именно были политические взгляды А. С. Грибоедова. Был ли он республиканец или конституционалист. Ведь можно было, разделяя теоретически все крайние требования декабризма, совершенно не надеяться на их осуществление, и, с другой стороны, не зная даже программы, выполнять ее слепо, с тем самозабвением, которое проявил, например, В. К. Кюхельбекер. Не трудно, однако, догадываться, что Грибоедов, при всем складе ума своего, проницательного, критического и холодного par excellence, был сыном своего века, был «пламенным мечтателем в краю

— А вот я вам расскажу, как развивались перед 14 декабря партия аристократическая и партия либеральная. Всем известна история дуэли между Черновым и Новосильцевым[1]. До такой степени общество было настроено в смысле идей демократических и революционных, что все было против аристократии, которая, как плющ какой-нибудь около дерева, всегда и всюду вилась около престолов. Отец Чернова был генерал-майор; у него было семь сыновей и одна дочь. Я знавал ее, она была очень хороша, можно сказать, красавица. Новосильцев влюбился и, уже сосватавшись и бывши женихом девушки, так что он ездил с ней вдвоем по городу, должен был изменить по воле строгой и безумной матери своему слову; она не позволила сыну жениться, потому что у Черновой имя было нехорошо—Нимфодора, Акулина или что-то вроде этого. Из-за этого вышла дуэль. Старик-генерал Чернов сказал, что все его семь сыновей станут поочередно за сестру и будут с Новосильцевым стреляться, и что если бы все семь сыновей были убиты, то будет стреляться он, старик. Дело совершилось так: Новосильцев стрелялся с старшим Черновым. Оба были ранены на-смерть. Новосильцев умер прежде. Похоронный поезд его, как аристократа, сопровождало великое множество карет,—поверить трудно; это взбудоражило все либеральные умы; решено было, когда Чернов умер, чтобы за его гробом не смело следовать ни одного экипажа, а все, кому угодно быть при похоронах, шли бы пешком, — и действительно страшная толпа шла за этим, хотя и дворянским, но все-таки не аристократическим гробом — человек 400. Я сам шел тут. Это было что-то грандиозное.

Однажды Жандр спросил меня:

— Читали вы когда-нибудь донесение следственной комиссии?

— Никогда его даже и не видывал.

— Как жаль! Оно у меня было и куда-то запропастилось: ведь у меня такое множество всяких бумаг. Эта вещь, кажется, была писана для надувательства почтеннейшей публики, как будто публика — дитя. Однако, знаете ли, что в обществе была некоторая надежда, что Николай простит или хоть не так тяжко

вечных снегов», по собственному его признанию и выражению, и волна декабристского движения захватила бы его вместе с Рылеевым, Одоевским и Кюхельбекером, если бы обстоятельства не забросили его в глушь Кавказа в самый разгар событий». (Примечание Н. В. Шаломытова).

[1] См. С. Н. Шубинский. Исторические очерки и рассказы. Изд. VI, П. 1911 г.

накажет главных лиц заговора. Я в это не верил, — Николай никогда не прощал, и он их преспокойно повесил. В тот самый день, когда их повесили, некоторые из близких мне людей видели отца Рылеева. Он был весел. Вот, стало быть, как сильна была надежда... За верность этого факта я вполне ручаюсь.

— Где их вешали?

— В Петропавловской крепости.

— Вы были на этой человечественной церемонии, Андрей Андреевич?

— Нет, не был. Греч был. Церемония эта началась в 5 часов утра и к 6-ти все было уже кончено. Потом этих несчастных положили в лодку, прикрыли чем-то, отвезли на один пустынный остров Невы — Голодай, где хоронятся самоубийцы, и там похоронили. Мы на этот островок ездили...

— Что же вы там нашли?

— Ничего, кроме кустов, — никаких следов могил, только тут какой-то солдатик шатался... Мы его расспрашивать не стали.

— Да, — повершил я наш разговор, — и бысть тогда же речено про царя Николая:

Недолго царствовал, да много куралесил,
Сто семь в Сибирь сослал, да пятерых повесил.

VIII

Первое знакомство с Сосницким. — Воспоминание о помощи Грибоедова Сосницкому лекарствами и его визитах в 1815 году. — Случай при чтении у Н. И. Хмельницкого «Горя от ума» ее автором. — «Липецкие воды». — Гостеприимство и товарищество Сосницкого.

Утром 3 мая (1858), часов около девяти, отправился я к Сосницкому, живущему неподалеку от меня — около Большого театра, на Екатерининском канале.

Через служанку подаю хозяину следующую записку: «Д. А. Смирнов, владимирский дворянин, племянник знаменитого Грибоедова, желает иметь честь познакомиться с И. И. Сосницким» [1].

— Пожалуйте.

---

[1] Иван Иванович Сосницкий был сын капельдинера. Впервые выступил в 1811 году в молодой труппе кн. Шаховского. Первый большой успех имел в 1815 году в пьесе кн. Шаховского «Урок кокеткам или Липецкие воды» и в пьесе Грибоедова «Молодые супруги». Первенствующее положение Сосницкий приобрел с появлением на сцене «Горя от ума» (1829), где он играл и Чацкого, и Загорецкого, и Репетилова. Последняя роль — одно из лучших созданий артиста. О нем см. Сергей Бертенсон «Дед русской сцены. О жизни и деятельности Ивана Ивановича Сосницкого». П. 1916 г., стр. 40.

Почти у самых дверей передней встречает меня старик довольно высокого роста, седой, с живыми глазами и очень подвижными чертами лица.

Я рекомендуюсь. Он говорит обычное: «очень рад с вами познакомиться», но говорит это как-то непринужденно и особенно свободно. Я сразу вижу, что с этим человеком тоже как-то свободно... Но, боже мой, что это за любопытный человек! Это — живой архив и русского театра, и даже, частью, русского общества.

— Вы знали, Иван Иванович, дядю моего лично?

— Грибоедова-то? Еще бы... Я вам скажу, что я был ему одно время очень обязан. Когда он вышел в отставку из военной службы (это было в 1815 [1], кажется, году), я был тогда молодым человеком, жил в казенном доме и заболел. Грибоедов посещал меня очень часто, привозил мне лекарства, и все на свой счет.

— Грибоедов был вообще очень доброго характера.

— Да, но он бывал иногда строптив и вообще резок. Хотите, я вам расскажу один случай, бывший у меня именно перед глазами?

— Сделайте милость.

— Это было в 1824 г. Грибоедов приехал в Петербург с первыми [2] актами своей комедии, слух о которой уже ходил в народе. Раз встречается он у меня с известным комиком Хмельницким. Тот говорит: «Александр Сергеевич, познакомьте меня с вашей комедией, о ней говорят». Грибоедов согласился. «Приезжайте ко мне обедать, тогда и почитаем. Я соберу несколько человек общих добрых приятелей». Назначили день и час, и несколько человек собралось у Хмельницкого. Там были: Василий Каратыгин, Соц, я, другие и в том числе некто Василий Михайлович Федоров, человек очень умный, образованный, автор нескольких слезных и чувствительных драм, которые были когда-то во вкусе и духе своего времени и над которыми Федоров сам же смеялся первый, от души и очень остроумно. Грибоедов приехал, привез с собой свою рукопись и так как ее переписывал какой-то канцелярский чиновник, почерком казенным, крупным, то рукопись была довольно толста. Грибоедов положил ее на стол в гостиной. Федоров подошел, взял в руки тетрадь, да и говорит:

[1] А. С. Грибоедов уволен в отставку из военной службы приказом 25 марта 1816 г.

[2] Грибоедов привез в Москву первые два акта «Горя от ума», в Петербург же он приехал, имея все четыре акта в своем портфеле, правда, в черновой, московской их редакции.

— Эге! Таки увесисто. Стоит моих драм.

— Я глупостей не пишу, — резко и с сердцем отвечал Грибоедов, видимо, обидевшийся.

— Александр Сергеевич, я тут больше подшутил над собой, чем над вами, стало быть, больше обидел себя, а не вас.

— Да вы и не можете меня обидеть.

Резкость этого тона на всех нас, а особенно на хозяина, подействовала как-то неприятно. Мы старались, что называется, «сгладить» все это происшествие, — но не тут-то было: Грибоедов уперся и в нем, видимо, оставалось неприязненное чувство к Федорову.

Когда мы отобедали, подали кофе, Хмельницкий обратился к Грибоедову со словами:

— Теперь, Александр Сергеевич, можно бы, кажется, начать чтение?

— Я не буду читать, пока этот господин будет здесь, — отвечал Грибоедов, указывая на Федорова.

Федоров, видимо, переконфузился.

— Александр Сергеевич, — сказал он: — я ей-ей не думал вас обидеть.

— Да и не можете, я вам это уже говорил.

— Но видимо, что слова мои вам неприятны.

— Приятного в них, точно, ничего нет.

— Если вам неприятно, то я прямо прошу у вас извинения.

— Не нужно. А читать при вас я не буду.

— Так, стало быть, мне остается только уйти, чтобы не лишать других удовольствия слышать ваше сочинение.

— И благоразумно сделаете.

Федоров ушел. Через час времени Грибоедов начал чтение [1].

Разговор мой с Сосницким о «Липецких водах», см. в особом отделе «История Липецких вод» [2].

Сосницкий принял меня так просто, прямо и радушно, как я и выразить не могу.

— Пожалуйста, приходите ко мне запросто обедать; у меня простой русский стол, милости просим.

---

[1] Ср. выше воспоминания А. М. Каратыгиной и П. А. Каратыгина.

[2] В бумагах Д. А. Смирнова не сохранилась.

Разумеется, что я не отказался.

Я забыл вот что. Когда я проходил с хозяином ряд комнат (Сосницкий живет по-барски, как немногие в Петербурге), мне в одной комнате бросился прямо в глаза портрет М. С. Щепкина.— «А, — подумал я, — это отлично хорошо рекомендует хозяина, как человека: стало быть, тут нет соперничества, а товарищество».

В среду — это будет 7 мая — пойду обедать к Сосницкому.

IX

Мнение автора о ценности записок по театру И. И. Сосницкого и М. С. Щепкина. — «Липецкие воды». — Печатная война из-за них. — Стихи Грибоедова по этому поводу. — Нападки М. Н. Загоскина на Грибоедова в «Северном Наблюдателе». — «Лубочный театр». Отказ печатать эти стихи и 1000 списков их. Поездка автора к Сосницкому в Павловск 3 июня 1858 г. — Хлебосольство Сосницкого. — В вагоне железной дороги на обратном пути из Павловска.

Несчастная и продолжительная болезнь моя мне по всему очень много напортила и напутала. Не успел я прочесть всего по Публичной библиотеке, хотя все это было бы, может быть, просто уже роскошью. Но главное — напортила и напутала она мне именно в отношении к Сосницкому, потому что мне удалось видеть этого чрезвычайно замечательного человека только два раза — при приезде да при от'езде моем. Сосницкий,—как я очень справедливо написал как-то жене, — живая летопись не только русского театра, но в некоторой, разумеется, степени и русского общества. Сколько поколений, сколько идей, стремлений, верований, наклонностей общественных, сколько замечательных людей прошло перед его глазами! Он и Щепкин — да это два сущие клада. Говорят, что Щепкин написал записки, но хочет, чтобы они были изданы после его смерти, а Сосницкий, верно, ничего не написал, потому что сам мне признавался, что ленив до крайности... При том же жизнь артиста, даже в нашей смиренной верноподданнической России — жизнь по преимуществу свободная, веселая, живая, решительно антипатичная всему, что отзывается пером, терпеньем, кабинетным трудом. Когда этим господам писать? Им надо или играть или гулять... Напиши и издай свои записки Сосницкий, — он бы решительно обогатился: эту любопытную книгу, которая как бы ни была плохо написана, но по своему общественному социальному характеру была бы гораздо любопытнее «Семейной хроники» или «Первых годов Багрова-внука» Аксакова, раскупили бы нарасхват.

Сосницкий в молодости своей принадлежал не к сценической, а к балетной труппе, — он танцовал. На драматическую сцену выступил он в первый раз в «Липецких водах» князя Шаховского [1]. Я где-то записал, что в наше время трудно и поверить тому огромному успеху или уяснить себе разумно причину такого успеха, который имела в свое время эта из рук вон плохая комедия Шаховского. Это совершенно справедливо. Сосницкий об'ясняет причину ее успеха тем, что тут Шаховской подобрал все молодых, новых и свежих артистов и что при представлении ее в первый раз была оставлена натянутая, декламаторская дикция, которой придерживались даже и в комедии. Нет, этого мало. Видно (т. е. не видно, а надо думать), что комедия затронула какие-нибудь общественные личности (как при этом слове не вспомнить Жандра), потому что произвела такой фурор, такие горячие партии pro и contra, такую забавную печатную и письменную войну, покончennую стихами Грибоедова, которые, хоть и не вполне, но прочел мне С. Н. Бегичев. Они называются «Приказ Феба». Феб, которому из-за «Липецких вод» порядочно надоели, об'являет;

Что споры все о «Липецких водах»,
(В хулу, в похвалу, и в прозе и в стихах)
Написаны и преданы тисненью
Не по его веленью [2].

Вот как далеко зашло общественное движение и журнальная драка. Это у нас бывает редко и подобными фактами мы никак пренебрегать не смеем, да и не такое теперь время. Теперь очень дорого ценят всякий, хоть сколько-нибудь живой отголосок прошлого. Самые ясные следы этой журнальной драки можно найти в «Северном Наблюдателе» за 1817 год, журнале Загоскина, страшного и не совсем, кажется, честного поклонника Шаховского, журналиста и писателя жалкого, над которым довольно остроумно и резко смеялись в «Сыне Отечества» того же времени, а особенно один господин, какая-то «буква ъ» (о, блажен-

[1] «Урок кокеткам или Липецкие воды» поставлена в первый раз на сцене Малого театра 23 сентября 1815 г., а 29 сентября того же года на этой сцене шла первая пьеса Грибоедова «Молодые супруги», в которой главную роль играл тот же И. И. Сосницкий с знаменитой Е. С. Семеновой и Брянским.

[2] Стихотворение это называется «От Аполлона» и напечатано в «Сыне Отечества» 1815 г., ноябрь, № 45, стр. 267; Собр. соч. Грибоедова, т. II, стр. 40 (Смирнов цитирует неточно).

ные старые времена, времена Лужницких старцев, Ювеналов Правосудовых и Юстов Вередниковых!...), преследовавший Загоскина без пощады. Загоскин, как известно, никогда не отличался большими умственными способностями, а это для всякого антагониста подобного человека — некий клад, потому что стоит только задеть за живое подобного господина, и он сейчас же, к всеобщему удовольствию, примется бодаться приставленными ему рогами и никак не угомонится сразу, а все будет продолжать, — и, разумеется, что ни шаг, то как чорт в лужу... что ни шаг, то все больше и больше затесывается в болото. Случается иногда, что и эти господа сами задевают, затрагивают других и, конечно, расплачиваются очень горьким для себя образом. Так случилось с Загоскиным: он задел Грибоедова (безделица!), указавши в своем «Северном Наблюдателе» на два, по его мнению, плохие стиха в комедии Грибоедова «Своя семья» [1], сказавши, что...

. . . . . подобные стихи
Против поэзии суть тяжкие грехи...

Искра попала в порох. Грибоедов написал сейчас же свой «Лубочный театр» (который, спасибо ему, тысячу раз спасибо, мне доставил Сосницкий) и сгоряча привез его к кому-то из издателей журнала напечатать. «Помилуйте, Александр Сергеевич, — говорит ему издатель: — разве подобные вещи печатаются: это чистые, голые личности». «Так нельзя напечатать?» «Нет, никак нельзя». «Хорошо же». Через несколько дней по Петербургу через знакомых, знакомых знакомых и проч. и проч. разошлось около тысячи рукописных экземпляров «Лубочного театра». Загоскин был поднят на смех.

После тяжкой, трудной моей болезни, первый мой выход был к Сосницкому. Воздух, на который я не выходил так долго, произвел на меня сначала, как какое-нибудь наркотическое, одуряющее, опьяняющее действие... Сосницкий живет на даче в Павловске: что будешь делать? Я оставил у него письмо, о содержании которого не трудно догадаться. Через несколько дней получаю ответ, который здесь прилагаю [2]. Разумеется, я пошел за «Лубочным театром» сейчас же и с этой драгоценностью к Жандру. То, что сказал о «Лубочном театре» Жандр, записано у меня в другом месте.

---

[1] Ошибка; в «Молодых Супругах».

[2] В бумагах Д. А. Смирнова не сохранился.

Июня 3, по совету Иакинфа[1], я, собравши кое-как мои плохие силишки, сам отправился в Павловск... Неудачнее этой поездки редко даже и со мною, неудачным человеком, бывало. Начать с того, что я встретил самого Сосницкого на петербургском дебаркадере Царскосельской дороги, и это еще очень хорошо, потому что избавило меня от крайне горькой и редко кому известной необходимости отыскивать дачу. Если и в городе бывает подчас трудно отыскать иной дом, то едва ли что может сравниться с горем отыскивать дачи—и это всюду так, и около Москвы, и около Петербурга. Я все надеялся, что проведу с Сосницким целый вечер и, пожалуй, многого наслушаюсь. Не тут-то было. Приезжаем—у него толпа гостей, его давно ожидающих и уже во всех отношениях порядочно закусивших и «пропустивших»... Eine lustige Gesellschaft. Подали запросто такой славный обед, что, судя по петербургским ценам... видно, что Сосницкий живет хорошо, если может подавать такие обеды на неожиданное и довольно большое для холостяка число гостей—запросто. Я ничего не ел, ибо закусил прежде, по-своему, по-больному. С'ел, правда, кусок жаркого и таки влили в меня стакан красного вина. Шампанского, которого было много, я не пил: не люблю и боялся. Говорить о чем-нибудь, разумеется, никакой возможности. Сосницкий успел только мне подтвердить свои прежние слова о том, как Загоскин задел Грибоедова. Это подтверждение было мне тем особенно важно, что как ни внимательно просматривал я «Северный Наблюдатель»—не мог найти того, о чем два раза говорил мне Сосницкий... Надо хоть после, а добраться непременно, потому что это хороший факт в материалах для биографии Грибоедова; кроме того, Сосницкий вполне подтвердил мне справедливость слов Жандра о прежних трудных театральных временах, о том, как Сушков и Каратыгин высидели в крепости и проч. Но все это было при самом прощании. Мы расцеловались и обнялись. Раздосадованный неудачей, я был еще, кроме того, раздосадован тем, что мне пришлось возвратиться в Петербург, чуть не сидя на корточках, т. е. по крайней мере на самом кончике лавки. Вот как это случилось: я вошел в вагон поздно, места все заняты.—«Да где же?» спрашиваю я довольно сердито у кондуктора. «Да они должны сойти с места», говорит он, указывая на восьмилетнего мальчика... «Оставайся», говорит ему сидящая против него мать—

[1] Иакинф Иванович Шишкин, родственник Д. А. Смирнова, живший в Петербурге, литератор.

старая, скверная, какая-то стянутая, набеленная и нарумяненная харя с болонкой. Что тут прикажете делать? В драку что-ли, с дамой вступить? Пришлось faire bonne mine au mauvais jeu! «Ne vous inquiettez pas, m-me, nous serons trés bien avec votre petit tous les deux . . . Je suis moi-même père de famille». Какое к чорту très bien: совершенно très mal. И хотя бы харя сказала хоть слово любезности за это, одно из тех слов, которые ровно ничего не стоят и обозначают лицо, принадлежащим к порядочному кругу. Впрочем, после: «он вас беспокоит?»—«Нет-с, нисколько». Много было в вагоне и разных модниц—все почти с французскими языками и с собачкой. Таким образом, вернулся я в Петербург ни с чем [1], проклиная модниц, французский язык, а всего более рычащих и шипящих собачек...

Через несколько часов я еду. Сообщит ли мне что-нибудь Щепкин, для которого одного я заезжаю в Москву?

X

Воспоминания о первом знакомстве (26 апреля 1858 г.) с М. С. Щепкиным. — Первые представления «Горя от ума» на московской сцене. — Грибоедов об А. П. Ермолове. — Пушкин об истории Петра I. — Нецензурные замечания Грибоедова о Петре I. — О редакциях «Горя от ума». — Эпиграммы на критиков «Горя от ума». — Из истории текста «Горя от ума». — Щепкин о первой постановке «Горя от ума» на сцене Александринского театра.

Я приехал в Москву 25 апреля вечером и, после двух-часового отдыха у сестры моей, отправился к нашему знаменитому Щепкину. Говорю «знаменитому», потому что в современной России никто, за исключением разве великого хирурга Пирогова, никто, к какому бы роду деятельности не принадлежал, так не знаменит, как Щепкин. Говорю «нашему», потому что он—наше общественное достояние, наша собственность и наша гордость.

Замечу мимоходом, но кстати, что не нами началось, не нами и кончится, то, что масса всех более или менее просвещенных

---

[1] Впоследствии Д. А. Смирнов уже у себя в имении получил «нисколько не ожидаемый большой и толстый пакет» от И. И. Сосницкого. «В пакете письмо самое обязательное, и—драгоценность, корую вам поставлю себе обязанностью показать» (см. неизданное письмо Д. А. Смирнова князю В. Ф. Одоевскому от 6 декабря 1858 г. в рукописном отделении Государственной Публичной библиотеки). «Нашему комику И. И. Сосницкому я столько обязан, что и передать вам не могу», — пишет Смирнов ему же по этому поводу «il a deterrè pour moi de telles choses, qui ne sont connues de personne».

людей в России сознает свое единство, свое общение, свою взаимную связь только или в предметах, относящихся непосредственно к сфере человечественности, или в уважении, в симпатии к лицам и деятелям, выражающим своею деятельностью человечественное, прямо и честно ему служащим. Если это в большей или меньшей степени везде так, то всего более у нас, в России, вследствие причин, о которых разумеется очень не трудно догадаться. Еще при Петре Великом Пуффендорф, о котором Грибоедов очень хорошо заметил, что он «русских не на живот, а на-смерть бранит» [1], выразился так о видах и целях нашего правительства, говоря, что природным русским служить у иностранцев «не вольно, опасение бо имать Великий князь, дабы учение от прочиих стяжавше и укрепившиеся, вещей новых замышляти не начали» [2]. Так было при Петре первом, так, с некоторыми необходимыми вследствие времени изменениями, и при Александре втором.

Лет 12—13 тому назад Белинский очень справедливо заметил, что как ни бедна наша литература, но только в сфере ее мы сознаем самих себя, перестаем быть Иванами и Петрами, и чувствуем себя людьми. И еще, добавлю, мы чувствуем себя людьми в сфере любви и симпатии к лицам, проявляющим своею деятельностью человечественные начала и развивающим их в массе публики: ничего нет удивительного, что более 10.000 человек, и знакомых и незнакомых, перебывали у раненого Пушкина, что гроб Гоголя был осыпан цветами, что велика была общая привязанность к Крылову—таково во всяком порядочном человеке уважение и чувство какой-то особенной преданности к Щепкину.

Возвращаюсь к моему рассказу. К сожалению, я не застал в этот вечер, на который столько рассчитывал, Щепкина дома: он только что уехал в Дворянский клуб, любимый сборный пункт для тогдашних артистов. Я оставил ему записку на каком-то замасленном лоскутке с обозначением того, кто я, и что буду у него

---

[1] В «замечаниях, касающихся истории Петра I», найденных Д. А. Смирновым в «Черновой тетради»; см. академическое издание, т. III, стр. 92.

[2] «Введение в гисторию Европейскую чрез Самуила Пуффендорфа на немецком языке сложенное. Тоже чрез Иоанна Фридерика Крамера, на латинский преложенное. Ныне же повелением великого государя, царя и великого князя, Петра первого, всероссийского императора на российский с латинского Гавриилом Бужинским переведенное». Спб., 1718. Стр. 408.

завтра утром; мне никак не хотелось выехать из Москвы, не повидавшись с Щепкиным.

На другой день, ровно в 9 ч. утра, я был у него. Старик только что встал, и я несколько минут дожидался его, ходя по зале.

Наконец, в одной из боковых дверей ее показался Михаил Семенович, сделал ко мне вперед несколько шагов и остановился.

— Извините меня... я в халате.

. . . . . .

— Михаил Семенович,—начал я после того,—я, кроме удовольствия вас видеть, имел еще прямую, исключительную цель в том, чтобы видеться с вами. Как племянник Грибоедова и человек, можно сказать, страстно любящий и уважающий его память, я давно уже занимаюсь собиранием всяких о нем материалов...

Тут я довольно подробно рассказал о моих целях и плане моей будущей книги [1]. Старик слушал меня внимательно.

— Доброе дело,—наконец отозвался он—и знаете ли, какой я вам еще добрый совет подам?

— Не знаю какой, хотя и вперед уверен, что он будет добрый.

— Если вы напечатаете вашу книгу, то чем дешевле пустите ее в продажу, тем она будет популярнее, да, наконец, и сами-то вы тем больше получите денег.

— Я всегда это думал,—отвечал я старику—и вслед за этим продолжал: — помните ли вы, Михаил Семенович, что на том обеде, который вам давали ваши друзья перед от'ездом вашим за границу, в саду Погодина, вы, в ответной вашей речи на сделанные вам приветствия, прямо сказали, что многим обязаны двум знаменитейшим нашим комикам—Александру Сергеевичу Грибоедову и Николию Васильевичу Гоголю [2]. Я на обеде этом не был, речь вашу прочел только в печати и до сих пор не знаю: как ближе и вернее понимать эти слова ваши? Обязаны ли вы им как к о м и-

---

[1] Д. А. Смирнов рассчитывал издать отдельной книгой весь собранный им материал к биографии А. С. Грибоедова.

[2] Вот слова М. С. Щепкина, сказанные им 10 мая 1853 г. при проводах его за границу: «В тридцать лет много выбыло из общества, много прибыло вновь, и к числу первых с сердечной горестью и с глубоким уважением, скажу, принадлежат и наши два великих комических писателя. Им я обязан более всех; они меня, силою своего могучего таланта, так сказать, поставили на видную ступень в искусстве: это—Александр Сергеевич Грибоедов и Николай Васильевич Гоголь»... См. М. Щ(епкин). «Воспоминания о М. С. Щепкине».—«Исторический Вестник» 1900 г., № 8, стр. 462.

к а м-п и с а т е л я м или как людям гениальным и одаренным комическим взглядом на вещи, людям знакомым, которых беседа могла вам самим уяснить взгляд ваш на ваше дело, на ваше призвание? Одним словом, кому почли вы себя обязанным,—писателю, или вернее, его творению, книге или тетради, или человеку?

— Конечно, больше творению.

«Так и быть должно»—подумал я.

— Гоголя знал я хорошо, но с Грибоедовым я вовсе не был близко знаком [1], тем больше, что и самая комедия его дана на сцене уже долго спустя после его смерти.

— Я буду просить вас рассказать мне хотя начальную историю представлений «Горя от ума» на московской сцене.

— Извольте, расскажу, что могу и что помню.

— Стало быть, Грибоедов и не видал вас в той роли, которую вы прославили в роли Фамусова?

— Или которая, и совсем не поделом, прославила меня?

— Если бы я писал теперь по французски, то мог бы совершенно справедливо выразиться, que j'ai fait après cela la bouche béante et la mine égarée.

— Не поделом, я не Фамусов [2].

— Как вы не Фамусов?

---

[1] П. А. А р а п о в в своей «Летописи русского театра» (Спб, 1861 г., стр. 384), однако, говорит, что «в бытность свою в Москве Грибоедов читал с Щепкиным роль Фамусова и передал ему свои об'яснения относительно этой роли, как бы он желал, чтобы она была играна, когда будет разрешено «Горе от ума»; такие же наставления сделал Грибоедов и актеру Сосницкому в Петербурге, который впоследствии исполнял превосходно роль Репетилова». См. также «Рассказы М. С. Щепкина», записанные его сыном, в «Историческом Вестнике» 1898 г., № 10, стр. 215: «В разговорах об исполнении комедии «Горе от ума» Мих. Сем. говорил, что Александр Сергеевич Грибоедов в бытность свою в Москве читал с ним роль Фамусова и передал свои об'яснения относительно этой роли, как бы он желал, чтобы она была играна, когда будет разрешено давать «Горе от ума»; такие же наставления, по словам Мих. Сем., сделал Грибоедов и актеру И. И. Сосницкому в Петербурге относительно роли Репетилова».—Странно, что в своей беседе Смирнов и Щепкин обошли молчанием эти личные указания Грибоедова, данные знаменитому артисту, и не коснулись подробностей первого знакомства Щепкина с писателем.

[2] См. об этом же в издании «Горя от ума» И. Г а р у с о в а (Спб. 1875 г., стр. 249): «Щепкин, зная прототип (Ал-ей Федор. Грибоедов, дядя поэта), говорил: «Ну, какой я Фамусов? Фамусов—барин, а я что?», разумея свое не-дворянское происхождение».

— Нет, не Фамусов. Не забудьте, что Фамусов, какой он ни пошляк с известных точек зрения, как ни смешон он своим образом мыслей и действий — все-таки б а р и н, барин в полном смысле слова, а во мне нет ничего барского, у меня нет манер барских, я человек толпы, и это ставит меня в совершенный разлад с Фамусовым, как с живым лицом, которое я должен представить в яве, живо...

— Да этого никто никогда не замечал.

— А я всегда.

— Да, помилуйте,—продолжал я,—есть места, в которых вы—живой Фамусов. Я всегда, когда видал вас на сцене,—а видал я вас бог знает сколько раз,—дожидался того места, где, в разговоре с Скалозубом, вы начинаете:

... признайтесь, что едва
Другая сыщется столица, как Москва?

Ах, Михаил Семенович, как вы удивительно хороши тут бываете! Ноги, как-то вы, сидя, так расставите и руки на них положите с таким каким-то «степенством» и вместе отражением внутреннего удовольствия и даже чувства достоинства от того,

... что едва
Другая сыщется столица, как Москва,

что разве только слепой или человек, лишенный всякого эстетического чувства, не признает в вас настоящего Фамусова.

— Да, местами может быть я и хорош, но в этой роли нужно много осмотрительности. Знаете ли, что в этой роли я раз вовсе испортил дело даровитому, талантливому артисту, который изучил и исполнял свою роль добросовестно—Максимову [2], в роли Чацкого. Вот то-то... я давно играю и всегда скажу, как одно из главных правил сценического искусства, что н а т у р ы в р о л и н у ж н о н а с т о л ь к о, н а с к о л ь к о о т п у с т и л е е а в т о р. Я взял больше—и испортил, правда—не себе, а другому, да уж и это вина: портить было не надо! Вот как это случилось: в последнем акте, когда Чацкий разражается целым рядом упреков и тому, и сему, и всему...—надо вам сказать, что Максимов был в этом месте совершенно хорош...—я начал смеяться. Оно, если хотите, и ничего бы, потому что Фамусову могла наконец показаться, с его точки зрения на вещи, просто даже смешной горячая и рез-

---

[1] Алексей Михайлович Максимов (1813—1861), известный артист, выученик П. А. Каратыгина.

кая выходка Чацкого. Что же вышло? Начал я подсмеиваться, все больше и больше, тогда я был гораздо толще, чрево-то мое начало колыхаться, смех мой над выходкой Чацкого так пришелся кстати, так понравился публике, что начали аплодировать, да все громче и громче...

— Да может быть аплодировали Максимову?

— Нет, мне; я это очень хорошо знаю, и он это понял очень хорошо, потому что сконфузился... Дело его пропало, и это я ему испортил.

— Итак, Михаил Семенович, вы не были близко знакомы с Грибоедовым?

— Близко нет, но я встречал его в иных обществах, и никогда не забуду одной такой встречи, или лучше сказать, одних слов Грибоедова о Ермолове. «Я сказал в глаза Алексею Петровичу»—говорил Грибоедов—«вот что: зная ваши правила, ваш образ мыслей, приходишь в недоумение, потому что не знаешь, как согласить их с вашими действиями; на деле вы совершенный деспот».—«Испытай прежде сам прелесть власти»—отвечал мне Ермолов»,—«а потом и осуждай» [1].

— Да,—начал я,—Грибоедов был вообще не охотник до всякого рода самоуправств. Вы, верно, не мало удивитесь, Михаил Семенович, тому, что я вам сейчас расскажу. Теперь в моих руках находится одна ценная рукопись, это целая, довольно большая тетрадь, сборник самых разнообразных бумаг Грибоедова, одним словом,—всякая всячина и путевые заметки, и о персидских географах, и стихи, и замечания об ученых путешественниках по полуденной России и Крыму, и отрывки из знаменитой «Грузинской ночи», которую почитали вовсе погибшей, и замечания, относящиеся к истории и личности Петра Великого. Вот на них-то имен-

[1] См. об этом же упоминание вскользь у Н. В. Соколова в его «Заметках о М. С. Щепкине. Выдержки из дневника» («Библиотека для чтения» 1864 г., № 8, стр. 2): «Ярославль, 6 мая 1856 г. Щепкин говорил со мной... о значении связей, которому подчиняются даже люди, стоящие во главе образованного общества (В-кий, Шевырев); при этом он вспомнил слова А. П. Ермолова, сказанные Грибоедову»... Скорее всего можно отнести эти слова А. С. Грибоедова к 1823 году, когда он приехал в отпуск в Москву, где провел целый год, начиная с марта, за исключением летних месяцев. В 1823 году в марте М. Щепкин был уже в Москве и начал с мая свои спектакли в московском театре. Впрочем, Грибоедов пробыл весь почти зимний сезон 1823/24 гг. в Москве и мог тогда не раз встречаться со Щепкиным у кн. Вяземского, А. Н. Верстовского и др.

но желаю я остановить ваше внимание... Читаешь эти заметки, беглые, резкие, всегда смелые и нередко верные, и видишь, что Грибоедов не только не принадлежал к числу поклонников Петра, а разве совсем напротив...

«Не поздоровится от этаких похвал!»

— Ничего нет удивительного после того, что я вам, в свою очередь, расскажу,—отвечал Щепкин.—Вы знаете, что в последнее время своей жизни Пушкин принялся было за историю Петра Великого?

— Как же не знать! Преждевременная смерть помешала ему кончить этот труд...

— А я вам скажу,—перебил меня Щепкин,—что и без всякой смерти труд этот никогда не был бы кончен Пушкиным. Вот, что мне самому сказал Пушкин: «Я разобрал теперь много материалов о Петре и никогда не напишу его истории, потому что есть много фактов, которых я никак не могу согласить с личным моим к нему уважением [1].

Признаюсь откровенно, что я не без чувства внутреннего удовольствия выслушал эти слова Пушкина, переданные мне Щепкиным; мне приятно было удостовериться, что два гениальных наших писателя, отличавшиеся особенной верностью, меткостью взгляда на вещи, сошлись в одном общем взгляде на такое замечательное лицо, как Петр Великий. Тут, не говоря о всяких наших личных взглядах, было что-то, внушающее уважение к единству мнений т а к и х людей, как Грибоедов и Пушкин. Не могло же это мнение, в котором они, конечно, не сговаривались, составиться спроста, не из чего, без каких-либо основательных данных. Тогда в руках моих не было еще «Полярной Звезды» Герцена за 1857 год и я не знал еще ни его мнений о Петре, ни мнения о нем замечательнейшей из русских женщин Екатерины Романовны Дашковой, высказанного ею в ее разговоре с Кауницем в Вене [2].

---

[1] В дневнике надв. сов. Келлера в 1837 г., недели за три до смерти поэта, записаны слова Пушкина, сказанные ему об истории Петра I: «C'est un travail. tuant, si je le savais d'avance je ne m'en serais pas sharge» («это убийственная работа, если бы я знал об этом раньше, я бы за нее не взялся»); сочинения А. С. Пушкина под ред. П. Е ф р е м о в а. Спб., 1905 г. Т. VII, стр. 587.

[2] См. «Полярная Звезда» на 1857 год», издаваемая Искандером. Книжка 3. Изд. 2-е, пересмотренное автором. London, 1858 г. VII. Княгиня Е. Р. Дашкова, стр. 234—302.

— Да, замечания Грибоедова о Петре резки, цензура их верно у меня не пропустит [1] Да и вообще Грибоедов был резок и меток на слово. Мне говорили его современники и даже друзья, что иногда, в добрый час и под веселую руку у него так и сыпались эпиграммы и разные экспромты и, боже мой,—никто тогда этого не записывал, а теперь все это было бы драгоценностью.

— Знаете ли, что есть или хоть должны быть кой-какие из подобных материалов письменных у Марии Дмитр. евны Львовой-Синецкой [2]. Я постараюсь вам их доставить.

— Сделайте милость.

— Да тут по вашему Грибоедову все хлопочет один господин—Басистов [3]... Он и экземпляр комедии из театральной библиотеки достал.

— Г. Басистов писал ко мне. Я очень уважаю его стремление, но Грибоедов мне слишком близок. Г. Басистов с торжеством писал мне, что достал экземпляр комедии,—как она дается на сцене. Ну, и поздравляю его тем искреннее, что лучший в России экземпляр комедии мой; он сличен с автографом, находящимся у Степана Никитича Бегичева. Я вам уже говорил об этом. Но чтобы вы, Михаил Семенович, показания этого не приняли за так называемое на казенном языке «голословное», я вот сейчас же, не сходя с места, представлю вам доказательство. «Горе от ума» вы, конечно, знаете наизусть... Слыхали ли вы эти стихи, которые не можете не признать за грибоедовские уже по их складу, силе и блеску. Они находятся в первоначальном автографе и впоследствии выпущены Грибоедовым. Говорит Чацкий:

«И вот Москва! Я был в краях,
Где с гор верхов ком снега ветер скатит...»

---

[1] В публикации грибоедовских «Замечаний, касающихся истории Петра I», самим Смирновым были сделаны пропуски.

[2] Известная актриса М. Д. Львова-Синецкая (1795—1875), фаворитка Ф. Ф. Кокошкина, директора московских театров. К сожалению, бывшие у нее документы, касающиеся А. С. Грибоедова, остались неизвестными.

[3] Басистов, Павел Ефимович (1823—1882), известный педагог, автор «Хрестоматии для употребления при первоначальном преподавании русского языка». О самом Басистове и его издании «Горя от ума» см. в ст. Н. К. Пиксанова: «К литературной истории «Горя от ума». (Несостоявшееся издание комедии под редакцией П. Е. Басистова, 1857 г.). «Известия II Отделения Академии Наук», т. XVI (1911), кн. 2.

Я прочел все эти 8 стихов.

— Ах, какая прелесть! Какая прелесть!—заговорил старик, когда я кончил.

— Вы не знали этого?

— Нет, не знал.

— Судите же: если это доселе не знали вы, так как же узнает это и многое, что узнаете от меня вы—г. Басистов? «Горе от ума»—безделица. Шутит, изволите видеть: ныне за него герои типографии Кириллова и Толкучего рынка схватились. Пусть так, да я не этого прихода и знают ли, наконец, эти господа, что «Горе от ума», кроме своей, очень, конечно, любопытной, печатной истории, которую люди, занимающиеся литературой, всегда могут проследить по печатным источникам, как и я это делал, имело свою, еще любопытнейшую, непечатную историю, мне почти во всей подробности известную? [1]. Знаете ли вы, Михаил Семенович, маленький лоскуток этой истории—две современные появлению «Горя от ума» эмиграммы [2], обе направленные на одного из тогдашних критиков, забавного антагониста знаменитой комедии? Угодно, я вам прочту их?

— Пожалуйста.

— Извольте слушать.

1.

Пилад Белугин наш,
Михаил Дмитриев [3], умре.
Считался он в 9-м классе,
Был камер-юнкер при дворе
И камердинер на Парнасе.

2.

Собрались школьники, и вскоре
Пилад Белугин наш рецензию скропал,

---

[1] Историю первого печатного издания «Горя от ума» см. в фельетоне Н. В. Шаломытова «К 75-летию «Горя от ума» в печати» в «Русских Ведомостях», 1908 г., № 193.

[2] Первая эпиграмма приписывается С. А. Соболевскому, известному библиофилу и остряку, другу А. С. Пушкина.

[3] М. А. Дмитриев в «Вестнике Европы» 1825 г., № 65 и др. раскритиковал «Горе от ума» и задел Грибоедова, чем вызвал многочисленные на себя нападки в печати. Даже С. Н. Бегичев, лучший друг Грибоедова, нигде никогда не печатавшийся, прислал в Петербург А. С. Грибоедову тетрадку, содержавшую антикритику против Дмитриева. Грибоедов, однако, не допустил его «до личной, подлой и публичной схватки с Дмитриевым».

В которой ясно доказал,
Что «Горе от ума» не Дмитриева горе [1].

— Спешите мне их, непременно сейчас же спишите.

. . . . . .

— Вот вы,—продолжал он,—говорите об непечатной истории комедии. Конечно, вам она известнее, чем кому-нибудь другому, а ведь и вы из этой непечатной истории не знаете многого такого, что я знаю.

— Совершенно в этом уверен.

— Знаете ли, что одно слово из комедии, именно слово «опрометью», написанное Грибоедовым [2] так, что по метру стихов надо читать его «опро́метью» имело свою историю. На это слово нападали многие.

— Да, тогда были страшные пуристы и охотники до мелочной войны; до дуэлей на булавках...

— Слушайте же: раз дошло до того, что один господин говорит мне в театре: «Михаил Семенович, как это вам не стыдно: Грибоедов наврал, а вы без стыда повторяете...»

«Где это Грибоедов наврал?.. Любопытно узнать».

— «Да что это такое за слово, которое у нас, вслух всем, повторяется на сцене—«опро́метью»? Откуда такое слово? По-русски говорится «о́прометью».

— «Послушайте»—отвечал я господину—«трудно предположить, чтобы человек, который так знает русский язык и так владеет русским стихом, как Грибоедов, мог н а в р а т ь иначе, как умышленно. Таких слов, которые доведены метром стихов до необходимости неправильного их произношения, вы найдете в комедии не одно, а пять или шесть. Неужели вы думаете, что Грибоедов не умел бы с этими стихами справиться... А я так, напротив, думаю, что это сделано им не спроста, а для того, чтобы показать, что наше общество не умело говорить по-русски».

---

[1] П. Н. Арапов в своих заметках в изд. Серчевского: «Грибоедов и его сочинения» приписывает эту эпиграмму несколько в иной редакции А. С. Пушкину, но, кажется, и эта эпиграмма принадлежит С. А. Соболевскому.

[2] См. «Горе от ума», д. 2, явл. IX. Слова Скалозуба Софье:

«Ну! Я не знал, что будет из того
Вам ирритация. Опрометью вбежали.
Мы вздрогнули.—Вы в обморок упали...»

— Обратитесь, пожалуйста, Михаил Семенович к театральной истории комедии. Когда было в первый раз дано «Горе от ума»?

— На московской сцене в ноябре 1831 года—все, но оно прежде давалось по частям, актам, и сперва в Петербурге, а не в Москве [1].

— В 1831 году меня вызвали в Петербург для того, чтобы я сыграл роль Фамусова в полной комедии. Я поехал, да и попал в западню: появилась холера, учреждены были карантины, и я около двух недель высидел в таком карантине на станции... как-бишь ее? на Б начинается!.. Ну да там, где Ильмень-озеро. Я, от нечего делать, все ходил по берегу озера да учил мою роль, как вдруг в карантине получили известие о смерти великого князя Константина Павловича. Театры, разумеется, должны быть закрыты... Так я ни с чем и вернулся в Москву. В ноябре же этого года я играл всего Фамусова уже на московской сцене.

Я взглянул на часы. Было слишком половина одиннадцатого. Долее оставаться у Щепкина не представлялось мне никакой возможности: я хотел в то же утро выехать в Петербург.

— Еще раз прошу вас, Михаил Семенович, о бумагах Львовой-Синецкой...

— Постараюсь, постараюсь...

— Не забудете?

— Нет, на это я памятлив.

— Еще к вам просьба: подарите мне при будущем нашем свидании ваш портрет, если только почитаете меня за человека

---

[1] «Горе от ума», если не считать репетиций к несостоявшемуся представлению в СПБ. театральной школе (1825) и офицерского спектакля в Эривани в 1827 г. в присутствии самого автора, появилось впервые на сцене С.-Петербургского Большого театра 2 декабря 1829 г. в бенефисе Вальберховой-большой (сцена из 1-го действия). Полностью комедия была поставлена лишь 26 января 1831 года на сцене Большого театра, а в Москве—27 ноября 1831 года.

[2] Станция, название которой запамятовал М. С. Щепкин, действительно на Б. Это—Бронницы, где под Москвой, по случаю холеры в городе, был устроен двухнедельный карантин для выезжающих. Щепкин просидел там с 22 июня по 2 июля, так как 3 июля уже был обратно в Москве. См. письма об этом М. Щепкина к И. И. Сосницкому от 17 июня, 24 июня и 8 июля 1831 г. «Записки и письма М. С. Щепкина», стр. 176—178. Что же касается Ильмень-озера, то или тут изменила совсем память Щепкину, или Д. А. Смирнов его не понял.

мало-мальски порядочного, хотя уже потому, что я серьезно занимаюсь Грибоедовым.

— Извольте, с удовольствием.

— Я, конечно, мог бы купить его, но, признаюсь вам откровенно, мне хочется его от вас, от того, кто,—что бы вы ни говорили,—прославил роль Фамусова.

— Очень рад.

— Я думаю быть в Москве в 20-х числах мая.

— Только, пожалуйста, не 21-го. Мы проводим этот день близ Шахова, в деревеньке... А то я все в Москве.

Мы расстались—до свидания...

XI

Басистов — собиратель материалов о Грибоедове. — Друзья Грибоедова. — Одоевский о Грибоедове. — Жихарев о Грибоедове. — Толстой американец и Грибоедов. — Воспоминания Щепкина об обеде у Нащокина. — Пушкин на обеде Нащокина. — История водевиля Грибоедова и Вяземского «Кто брат, кто сестра». — Смирнов о своих «Материалах для биографии А. С. Грибоедова».

В конце мая уведомил я Щепкина письмом из Петербурга, что проеду Москву между 1-м и 8-м июня и остановлюсь в ней на несколько часов—только за тем, чтобы видеться с ним.

Я выехал из Петербурга 5-го прелестнейшей весной и в 8 ч. утра 6-го, самосквернейшей осенью, полубольной, измученный и усталый, приехал в Москву. В половине 10-го я был уже у Щепкина. Старик показался мне что-то не в духе—как-то мрачен, скучен. Причина этого об'яснилась впоследствии.

— Получили вы, Михаил Семенович, мое письмо из Петербурга?

— Нет, письма я никакого не получал, а вчера вечером виделся в клубе с Ленским, который обедал вместе с вами в Павловске у Сосницкого и, по поручению вашему, передал мне, что вы у меня на-днях будете. Вот я вас и поджидал, да только нерадостной должен встретить вас вестью: я ведь ничего не достал вам у Синецкой.

— Ничего нет?

— Напротив, есть, да только в руках-то у нас нет: Басистов выпросил и до сих пор не возвращает.

— Опять Басистов! Оригинальный господин!.. Догадала же его нелегкая поступить вопреки умной пословице: «не спросясь броду, не суйся в воду». Нашел, к кому адресоваться и просить

материалов по Грибоедову,—ко мне. Знаете ли, Михаил Семенович, это мне напоминает один забавный анекдот 20-х годов. Случился он с армейским офицером. Был этот офицер на балу, танцует с одной дамой... Дама ли она, девица ли, господь знает, а одета как девица, что всегда дозволено даме молодых лет. Понравилась она ему, очень понравилась... Говорят, армейские офицеры сердцем довольны слабы, а умом не всегда крепки. Танцует наш офицер со своей дамой и раз, и два, и три, да так в нее влюбился, что, наконец, говорит ей: «сударыня, позвольте узнать к кому надо адресоваться, чтобы просить руки вашей?»—«Да я думаю»—отвечает дама—«всего лучше к моему мужу».—Вот так-то и Басистов со своими обращениями ко мне по Грибоедову.

Старик и все бывшие в комнате от души рассмеялись.

— Я право был бы очень благодарен тому доброму человеку, который внушил бы г. Басистову или, по крайней мере, передал ему, что гораздо лучше совокупить все материалы по Грибоедову в одних руках, а как все главные материалы находятся не только не у г. Басистова, но у одного меня, к тому же после моих поездок они очень пополнились, так уж лучше бы не мешать одному осуществить то, что он хочет.

. . . . . .

— Однако, Михаил Семенович, я ничего не успел сказать вам о моей поездке в Петербург. А я как-то почитаю нравственно обязанным вам о ней передать. Я, конечно, думал, что меня примут там недурно, но не мог думать, что меня примут и так ласково, и так радушно; с такой готовностью содействовали моему делу все, решительно все, к которым я имел какое-либо отношение по Грибоедову. Другу его, сенатору Жандру был я почти что домашним человеком; он рассказал мне очень, очень много любопытного как о Грибоедове, так и вообще о прежних временах, даже театральных, потому что ведь и он, и Грибоедов были страстные театралы. Иван Иванович [Сосницкий] принял меня как нельзя радушнее и доставил мне драгоценность, которую без него я не знал бы, где найти: «Лубочный театр» Грибоедова. Дело в том, что Загоскин в сердцах против Грибоедова вздумал его задеть в своем «Северном Наблюдателе», указав, как на плохие два стиха в комедии Грибоедова «Своя семья» и имел еще неосторожность выразиться о них словами Крюковского, автора трагедии «Пожарский», что—

«Подобные стихи
Против поэзии суть тяжкие грехи»[1].

Грибоедов ведь не любил, чтобы его затрагивали, и у него с его зоилами была расправа такая же как у Пушкина:

«Он по когтям узнал меня в минуту,
Я по ушам его как раз...»

Он написал «Лубочный театр», в котором довольно резко выставил всю литературную деятельность Загоскина, и сгоряча привез эту пьеску к кому-то из издателей журнала, чтобы ее напечатали. Издатель, разумеется, отказался от этого наотрез, говоря, что тут чистые личности и что подобных вещей не печатают. Этот отказ, должно быть, раздражил Грибоедова еще более, потому что в течение нескольких дней по Петербургу разошлась т ы с я ч а рукописных экземпляров «Лубочного театра». Я возобновил старое знакомство с князем Владимиром Федоровичем Одоевским, который обещал мне все свои о Грибоедове бумаги и все воспоминания, говоря, что последние у него гораздо любопытнее первых. Бумаг его в Петербурге не было: они сохраняются за 150 верст, в выборгском его имении. Послать за ними теперь не было никакой возможности: князь сказал, что отыскать их может только один камердинер, а тот ему необходим, потому что князь очень болен и скоро едет в Эмс (теперь он давно уже уехал)[2]. Тут я сам сильно захворал и таким образом и бумаги, и воспоминания кн. Одоевского остались у меня делом будущего,—я должен был все это отложить до предполагаемой мной или в сентябре, или в октябре вторичной поездки в Петербург. Бывший сенатор Жихарев обещал мне записку о Грибоедове, написал ее, да писарь его надул, он не прислал мне ее в срок и я должен был уехать, поручивши получение ее одному родственнику, который, верно, от Жихарева не отвяжется до тех пор, пока тот своего обещания не выполнит[3].

---

[1] В подробном рассказе о «Лубочном театре» в «Беседах общества любителей российской словесности» (вып. 2, М. 1868 г., стр. 12) Д. А. Смирнов, со слов М. Н. Загоскина, приписывает эти слова Мизантропу. Замечания Загоскина относились не к «Своей семье», а к «Молодым супругам», комедии Грибоедова, откуда приводились и стихи.

[2] См. письмо Д. А. Смирнова к кн. В. Ф. Одоевскому от 3 декабря 1858 г. в «Русской Старине» 1904 г., № 8, стр. 425—428.

[3] Из ненапечатанного письма Д. А. Смирнова к кн. В. Ф. Одоевскому от 6 декабря 1858 г., хранящегося в рукописном отделении Госу-

— Я Жихарева давно знаю — заметил Щепкин. Это двусмысленный, даже черненький человек. Хотите ли я вам расскажу, как жестоко обрезал его граф Толстой-Американец? Это было при мне.

— Сделайте милость, тем более, что Жихарев говорил мне о графе Толстом-Американце.

— Что же он вам говорил? Верно, не с большой охотой?...

— Нет, ничего... Он говорил только, что Толстой-Американец... Ведь это была забубенная головушка. Недаром Крузенштерн должен был его, сбившегося почти что с кругу, высадить у Берингова пролива... Что Толстой-Американец, узнав, что Грибоедов так метко отхлестнул его стихами:

«Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист»,—

хотел вызвать его за это на дуэль. Но как Грибоедова было вызвать невыгодно, потому что он иных шуток не допускал, да и вообще был человек, не имевший привычки отступать перед чем бы то ни было, то отсоветовали ли Толстому, или другим каким либо образом, или само собой это дело уладилось, только все обошлось мирно и благополучно.—Что же о Жихареве?

— А вот что. Пушкин, который меня любил, приезжая в Москву, почти всегда останавливался у Нащокина, и я, как человек и Нащокину знакомый, редкий день не бывал у них. Прихожу к ним раз обедать и вижу, что кроме своей семьи, два посторонних лица—Жихарев и Толстой-Американец. За обедом Жихарев, не совсем-то вежливо, начал читать прямо в глаза Толстому стихи о нем из «Горя от ума» [1]. ...Толстой был человек умный, очень

дарственной Публичной библиотеки, видно, что С. Жихарев «обещал все выдержки из дневников своих, касающихся Грибоедова, и—обещание сдержал».

[1] И А. С. Пушкин дважды задел гр. Фед. Ив. Толстого-«американца», когда был с ним в ссоре. Вот его эпиграмма 1820 г.:

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь, понемногу,
Он загладил свой позор,
И теперь он, слава богу,
Только что картежный вор.

умный. Он не только не рассердился, но даже не показал ни малейшего вида неудовольствия. Кажется и довольно бы? Нет, Жихарев не пронялся и после обеда стал опять читать эти стихи. На этот раз Толстой рассердился. Он в это время ходил по комнате, и когда Жихарев кончил, Толстой перед ним остановился и спрашивает у других, указывая на него: «Что, чорен Жихарев?»—Вы знаете, какой он черномазый... «Чорен»—отвечает Нащокин.—«Ну, так представьте же себе, что он еще блондин перед своей душой» Так Жихарев гриб и с'ел [1].

— Вы говорите, что Жандр рассказал вам кое-что о старых театральных временах, а Сосницкий о некоторых литературно-театральных сплетнях. И я вам кое-что расскажу. Вы знаете ли, что Грибоедов вместе с Вяземским написал водевиль «Кто брат, кто сестра»?

— Слышал я об этом водевиле только мельком, никогда его не читал и вовсе не знал об участии в этом деле кн. Вяземского.

— Как же! Они вместе написали, а музыку к куплетам написал Верстовский. Каченовский, разбирая в своем «Вестнике Европы» представление этой пьесы, сказал, что пьеса ровно никуда не годится, а музыка премиленькая и что из сочетания такой пьесы с такой музыкой выходит чистое—«mèssaliance». Так, кажется...

К нему же относятся стихи 55—58 в послании к Чаадаеву 1821 г.:

Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор,
Отвыкнул от вина и стал картежный вор.

Впоследствии Пушкин, как известно, помирился с Толстым, который был его сватом у Гончаровых. См. С. Л. Толстой. Ф. И. Толстой-Американец. Изд. ГАХН, М., 1927 г.

[1] Вероятно, описываемый обед у Нащокина происходил в 1836 г. О Щепкине пишет Пушкин жене из Москвы 6 мая 1836 г.: «Пошли ты за Гоголем и прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву, прочесть Ревизора. Без него актерам не спеться. Он говорит, комедия будет карикатурна и грязна (к чему Москва всегда имела поползновение). С моей стороны, я тоже ему советую; не надобно, чтоб Ревизор упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в Петербурге».—К этому же году относится и совет Пушкина знаменитому артисту писать свои записки. Он даже собственной рукой написал их начало: «17 мая 1836. Москва. Записки актера Щепкина. Я родился в Курской губернии Обоянского уезда в селе Красном, что на речке Пенке...». О Толстом-Американце см. «Рассказы М. С. Щепкина»—«Исторический Вестник» 1898 г., № 10, стр. 217.

Я, ведь, ни одного иностранного языка не знаю, и это ставило меня иногда в пресмешные положения. Нужно мне было, например, возвращаться из Парижа в Россию [1] и, разумеется, хотелось примкнуть к кому-либо из наших русских, знающих языки. Я с этой странной просьбой адресовался в наше посольство, которое ко мне очень благоволило и сейчас же приискало мне нужного попутчика... Кого бы вы думали? Николая Николаевича Муравьева [2], генерал-губернатора Восточной Сибири. Тот принял мое товарищество очень охотно и так был со мной мил и предупредителен, так возился и ухаживал за мной от самого Парижа вплоть до самой Москвы, что мне ей-ей было даже совестно. «Какой же мало-мальски путный русский»—сказал он,—«отказался бы сделать услугу—Щепкину!»

— Возвращаюсь к «mèssaliance». Это слово крепко укололо кн. Вяземского и, через месяц с небольшим, он, издавая «Бахчисарайский фонтан» Пушкина [3], разругал Каченовского. Из всего этого вышла презабавная литературная, печатная и письменная, побранка, кончившаяся, наконец, таким куплетом Писарева в другом водевиле:

Известный журналист Графов
Задел Мишурского разбором;
Мишурский, не теряя слов,
На критику ответил вздором.
Пошли писатели шуметь,
Кричать, браниться от безделья,
А публике за что терпеть
В чужом пиру похмелье?

. . . . . .

— Михаил Семенович,—начал я,—я не знаю, как благодарить за ваш ласковый, радушный, добрый прием. Или, лучше сказать, я знаю, чем могу посильно вас благодарить: буду благодарить, если вы позволите, как племянник Грибоедова и человек, близко поставленный к лицам, бывшим близкими Грибоедову, о чем я уже говорил вам; я знаю многое из его биографии, что редко кому известно и имеет интерес не только в отношении к Грибоедову, но интерес общий. Я даю вам слово, что в первый же раз, как буду

---

[1] В 1853 году.

[2] Муравьев-Амурский.

[3] См. «Бахчисарайский фонтан» Александра Пушкина. М. 1824. Вместо предисловия «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова». Стр. I—XX.

в Москве, явлюсь к вам как-нибудь вечерком и буду читать у вас кое-что из моих «Материалов для биографии А. С. Грибоедова».

— Очень, очень обяжете.

— Об одном только буду просить вас, Михаил Семенович, чтобы лишних ушей не было...

— Если вы найдете, что даже мое семейство тут может быть лишним, так и его не будет.

— Этого я, конечно, не найду. А чтобы, по пословице, не откладывать того до завтра, что можно сделать сегодня, я расскажу вам всю историю участия Грибоедова в заговоре 14 декабря.

Я стал рассказывать. Когда я дошел до того места, что и Рылеев, и Пестель, и Александр Бестужев (Марлинский) заодно сказали, что Грибоедов в заговоре не участвовал и что они не старались привлекать его к заговору, потому что берегли в нем человека, который мог своим талантом прославить Россию,—на глазах старика показались крупные слезы, сбежавшие потом по его благородному, старческому лицу.

— Теперь пока прощайте, уважаемый Михаил Семенович, я после тяжкой очень болезни спешу домой, меня ждут там с нетерпением.

— И я вас не задерживаю, потому что сам сейчас уеду: сегодня, в час, привезут тело моего сына [1], умершего за границей.

Мы простились в начале 1-го часа, а в начале 5-го я выехал из Москвы.

Сущево, июня 17, 1858 г.

---

[1] Дмитрия, магистра Московского университета. См. прилож. 1-е к «Ежегоднику императорских театров» 1894/95 г., стр. 57; письмо М. С. Щепкина к В. И. Уколову от 8 июня 1858 г.

К. А. Бороздин

НИНА АЛЕКСАНДРОВНА ГРИБОЕДОВА

К. А. Бороздин в 1850-х годах проживал на Кавказе в качестве чиновника для поручений при губернаторе Н. П. Колюбакине, а затем в должности окружного начальника в Мингрелии. Его перу принадлежит книга «Закавказские воспоминания. Мингрелия и Сванетия с 1854 по 1861 год», выпущенная в издании Суворина в 1885 году. В эту книгу не вошли его воспоминания о Н. А. Грибоедовой, напечатанные отдельной статьей в «Петербургских Ведомостях» 1883 г., №№ 31, 32 и 34. Несколько упоминаний о Н. А. Грибоедовой, имеющиеся в «Закавказских воспоминаниях» (стр. 14—19 и 68), были использованы им в статье, и поэтому нами не воспроизводятся.

Перу того же К. А. Бороздина принадлежат воспоминания о Лорис-Меликове, Н. Н. Муравьеве и многих других деятелях Кавказа, опубликованные им на страницах «Исторического Вестника» и «Русского Вестника»; см. С. Р. Минцлов. «Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке». Новгород. 1912 г. Вып. II и III, стр. 147—148.

Если для полноты и рельефности биографий многих замечательных деятелей часто необходимы вводные биографии личностей, близко к ним стоящих, то биография Грибоедова осталась бы невполне законченною, если бы в ней опущен был хотя краткий очерк личности его жены, заслуживающей известности, как по своему высоконравственному образу, памятному всем знавшим ее лично, так и по трогательным и глубоким чувствам любви и преданности к памяти мужа, которого она пережила на тридцать лет. Воспоминание о ней в особенности уместно теперь, когда пятидесятилетняя годовщина со дня кончины Грибоедова во многих местах нашего отечества чествуется русским обществом, и сообщаемые нами биографические о ней заметки, полагаем, не будут лишены современного интереса.

Нина Александровна Грибоедова была урожденная княжна Чавчавадзе—этого старинного рода грузинских князей, в особенности выдвинувшихся вперед за последние два царствования царей грузинских, Ираклия II и Георгия XII.

Отец Нины Александровны, единственный сын Герсевана Чавчавадзе, заботам которого Грузия обязана присоединением к России, князь Александр, родился в Петербурге, получил прекрасное по тогдашнему образование и, вступив в военную службу, участвовал в отечественной войне 1812 года. Перейдя затем в кавказские войска, командовал славным нижегородским драгунским полком, занимал видные административные посты и с замечательными качествами общественного деятеля соединял горячую любовь к своей родине и блестящее дарование поэта. Не говоря о многих оригинальных его произведениях, можно указать на несколько элегий и стансов Пушкина, прелестно переложенных им на грузинский язык; к ним тогда же прилажены были напевы грузинские, и до сих пор они остаются любимыми романсами грузинских девушек. Но главная заслуга князя Александра заключалась в том, что он успел дом свой сделать прочным звеном между обществом грузинским и русскими людьми, ехавшими служить на Кавказ. Владеющий в совершенстве своим родным языком, настолько же, как и русским, уважаемый и любимый русскими и туземцами, князь был не только прекрасным толмачом между двумя об'единившимися политически, но дотоле совершенно чуждыми одна другой и по языку и по своей истории, национальностями, но и живым проводником их полного слияния. В доме его царило широкое гостеприимство, а хозяин и хозяйка носили на себе ту особенную печать радушия, которая памятна и до сих пор старикам, проведшим юность свою в Тифлисе. Князь Александр довершал в полной мере дело, начатое его отцом. Герсеван политически приурочил Грузию к России, а сын его, благодаря своему личному характеру, сблизил грузин с русскими. Всякий русский, занесенный на дальнюю чужбину, дышал у него родным воздухом; всякий грузин шел к нему с душою нараспашку; тут они встречались и научались понимать и любить друг друга.

После всего сказанного становится понятным, что Грибоедов, переведенный в 1822 г. из миссии в Персии в Тифлис чиновником по дипломатической части при Ермолове, не мог не познакомиться с домом Чавчавадзевых. Он вскоре близко сошелся с князем Александром, который, как сам поэт, более других мог понять и оценить его личность, и между ними установилась самая искренняя, самая теплая дружба. На глазах Грибоедова росла и воспитывалась старшая дочь князя Чавчавадзе, Нина (родившаяся в 1812 году, ноября 4); он был зачастую репетитором ее уроков

музыки; она привыкла не считать его чужим, не стеснялась с ним в детской своей беседе, тем самым обнаруживая все прекрасные качества своих способностей и характера, и в первую пору своего полного расцвета вызвала в душе его сильное и глубокое чувство любви, присущее лишь человеку, вступившему в возраст зрелости. Грибоедов женился, когда ему было 33 года, а Нине Александровне не было еще и шестнадцати. Она была в полном смысле красавица: стройная, грациозная брюнетка, с чрезвычайно приятными и правильными чертами лица, с темнокарими глазами, чарующими всех добротою и кротостью. Грибоедов иначе не называл ее, как «Мадонной Мурильо».

Письма его к Булгарину, относящиеся к этой эпохе, исполненные искренности и задушевности, живо рисуют настроение поэта, при котором он решился на столь серьезный шаг, как женитьба. «Это было 16 [июля 1828 г.]», —пишет он, — «В этот день я обедал у старой моей приятельницы (Ахвердовой), за столом сидел против Нины Чавчавадзе (второй том Леночки) [1], все на нее глядел, задумался, сердце забилось; не знаю, беспокойство ли другого рода, по службе, теперь необыкновенно важной, или что другое придало мне решительность необычайную; выходя из-за стола, я взял ее за руку и сказал ей: «Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous dire». Она меня послушалась, как и всегда, верно думала, что я ее усажу за фортепиано, вышло не то; дом ее матери возле, мы туда уклонились, вошли в комнату, щеки у меня разгорелись, дыхание занялось, я не помню, что я начал ей бормотать, и все живее и живее; она заплакала, засмеялась, я поцеловал ее, потом к матушке ее, к бабушке, к ее второй матери, Праск. Ник. Ахвердовой, нас благословили, я повис у ней на губах во всю ночь и весь день, отправил курьера к ее отцу в Эривань с письмами от нас обоих и от родных. Между тем, вьюки мои и чемоданы изготовились, все вновь уложено на военную ногу. Во вторую ночь я без памяти от всего, что со мною случилось, пустился опять в отряд, не оглядываясь назад... В Гумрах же [Александрополь] нагнал меня ответ от князя Чавчавадзе-отца, из Эривани; он благословил меня и Нину, и радуется нашей любви. Хорошо ли я сделал? Спроси милую мою Варвару Семеновну и Андрея. Но не говори Родофиникину, он вообразит себе, что любовь заглушит во мне чувство других обязанностей. Вздор!

---

[1] Жена Булгарина.

Я буду вдвое старательнее за себя и за нее. Потружусь за царя, чтобы было чем детей кормить».

В следующем письме он говорит: «По возвращении из действующего отряда сюда, в Тифлис, 6 августа, я занемог желтою лихорадкою. К 22-му получил облегчение, Нина не отходила от моей постели, и я на ней женился».

Всякому знакомому с Востоком и в особенности с тогдашнею Персией, понятно то тягостное настроение души, которое испытывал Грибоедов перед тем, чтобы отправиться к своему новому важному посту полномочного министра. Перед ним была, как и сам он выражается, в тех же местах — «политическая ссылка». И, действительно, человеку, привыкшему все сердце и душу полагать в то дело, которому он служит, нельзя было спокойно относиться к предстоявшей ему, быть может надолго, деятельности в среде уже знакомой, в высшей степени душной и тягостной своим коварством, лживостью, фанатизмом, невежественностью. Вдобавок Персия тогда только что вышла из войны с нами, покончившей весьма прискорбным для нее трактатом туркманчайским (участие в нем и самое деятельное принимал Грибоедов), и если затаенное чувство злобы побежденных было бессильно по отношению к самой России, то для политических ее агентов оно не могло не обещать ряда серьезных опасностей. Грибоедов сознавал это вполне; но сердце его отдалось сильнейшему и прекраснейшему чувству.

Из немногих отрывочных воспоминаний о Грибоедове людей близких к нему, в том числе и П. А. Каратыгина, видно, что с своим громадным талантом поэта, художника и сердцеведа-сатирика, он соединял чрезвычайно разносторонние знания. Он был и прекрасный музыкант и владел в совершенстве несколькими европейскими языками, близко знаком был с Востоком и при всем этом был человеком в высшей степени общительным и симпатичным. Ему всего полгода пришлось вкушать счастье с Ниной Александровной, но и этого короткого промежутка времени было достаточно для беспредельно полюбившей его женщины, чтобы в прекрасной ее душе навсегда и неизгладимо запечатлелся его гениальный образ...

Когда Грибоедов, в последних числах декабря 1828 г., поехал в Тегеран, откуда он рассчитывал вернуться много-много через месяц и откуда он уже не возвратился, Нину Александровну он оставил в Тавризе на пятом месяце беременности. Но что такое

Тавриз, как и всякий персидский город, по отношению к европейской женщине? Буквально тюрьма!

С открытым лицом она не смеет показаться на улицу, правоверные мусульмане, страшась соблазнительного примера своим женам и революции в своих гаремах, закидают ее камнями. Вся жизнь ее должна поэтому проходить в четырех стенах посольского дома и разнообразиться свиданиями с такими же пленницами из других европейских миссий. Хорошо еще, если они есть там; а если нет? — что и часто случается. — Но к счастью для Нины Александровны, она нашла приятное знакомство в семействе английского консула: его жена и несколько взрослых дочерей полюбили молоденькую Грибоедову, как родную, и дня не проходило, чтобы они не сходились и не наполняли досуги музыкой, чтением, рукоделием, беседою. Кроме того, у Нины Александровны гостил родственник ее, отставной драгунский капитан, князь Роман Чавчавадзе, носивший ее когда-то на руках, любивший ее как родную дочь и присланный сюда ее отцом в качестве пестуна, имеющего необыкновенный дар вносить с собою повсюду веселость и смех своим юмором и остроумными затеями. Грибоедов любил его без памяти, был давнишним его приятелем и, уезжая в Тегеран, был покоен за жену, оставляя ее на таких руках.

А между тем, как ни был симпатичен и забавен Роман, как ни было любезно семейство консула, разлука с мужем все более и более становилась тягостною и в особенности в положении беременности. Прошел месяц... было несколько писем, суливших скорое возвращение, и затем они прекратились. Об'ясняли это скверными дорогами Персии, неустройством почтовых сообщений и тому подобными благовидными предлогами и вдруг... пришло известие о катастрофе, постигшей Грибоедова... К счастью, успели скрыть его от Нины Александровны и замаскировали комбинацией, придуманной князем Романом. Чиновник миссии, привезший известие, по наставлению Романа, уверил Нину Александровну, что Грибоедов здоров, но до того занят, что не имел времени написать к ней ни строчки, а поручил ему передать ей на словах, что дела задержат его в Тегеране надолго, и потому он просит ее возвратиться в Тифлис к своей матушке и ожидать там его приезда. Требовалось много уменья и ловкости всех окружавших бедную женщину, чтобы разыгрывать с нею эту грустную, но необходимую для ее же благополучия мистификацию; сердце-вещун не

менее того шептало ей, что от нее утаивают что-то мрачное и роковое, она колебалась и не знала, на что решиться; но получив письмо от отца, бывшего тогда правителем Армянской области (нынешней Эриванской губернии), в котором он писал ей все то же, что говорили в Тавризе, и уведомлял, что выехал к ней навстречу в Джульфу, она склонилась на поездку.

До Тифлиса довезли ее благополучно и сдали на руки матери. Конечно, и тут ничем не могли ее успокоить: время шло, писем попрежнему не было от Грибоедова, что не могло не казаться ей неестественным при испытанной ею горячей его любви; тревоги ее все более и более росли, и, наконец, совершенно случайно она натолкнулась на ужасную истину. Жена графа Паскевича, тогдашнего главноуправляющего Грузией, двоюродная сестра Грибоедова, заехала однажды к Нине Александровне в то время, когда матери ее, княгини Саломе Чавчавадзе, не было дома, стала, конечно, говорить об отсутствующем Грибоедове и о молчании его, запуталась в своих словах под учащенными вопросами встревоженной Нины Александровны и кончила тем, что, расплакавшись, нехотя раскрыла несчастной женщине так долго и тщательно скрываемое от нее. С тою сделался страшный истерический припадок и на другой день она разрешилась недоношенным ребенком. Неосторожность светской болтуньи лишила Н. А. даже счастья быть матерью. Поистине, можно сказать, судьба чересчур жестоко отнеслась к этому молодому, лишь начавшему свою жизнь существу. Шестнадцатилетняя вдова осталась на всю жизнь верна памяти своего мужа; она обрекла себя служению этой святыне и, не отрываясь от той среды, в которой родилась и жила, свято выполнила свой обет. А сколько претендентов являлось на ее руку [1]. В числе их многие приносили ей, вместе с блестящими личными качествами, и высокое положение общественное и богатство, и громкое имя, — но никому не подарила она своей склонности. Для нее не было имени выше Грибоедова, и все блестящие претенденты казались ей бледными перед тем гениальным образом, который она постоянно носила в своей душе.

Тело Грибоедова перевезла она в Тифлис и похоронила на горе св. Давида. Более величественного места нельзя было выбрать для могилы нашего знаменитого писателя и выбор этот был сделан Ниной Александровной потому, что гора св. Давида была любимым

[1] О претендентах на руку Нины Александровны до и после ее замужества см. в воспоминаниях Н. Н. Муравьева.

местом прогулок Грибоедова. На могиле она поставила часовню, а в ней памятник, изображающий молящуюся и плачущую перед распятием женщину — эмблему ее самой; на памятнике следующую надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской; но для чего пережила тебя любовь моя».

Когда случалось Нине Александровне проживать в Тифлисе, редкую неделю не взбиралась она пешком, на крутую гору св. Давида, для того, чтобы навестить драгоценный для нее прах...

Но как же, спросят, сложилась затем жизнь этой женщины, недоступной для всех претендентов на ее руку? — Она посвятила ее родным, друзьям, знакомым и сделала из нее, если можно так выразиться, одно сплошное благотворение.

До супружества сестры своей, Екатерины Александровны [1], вышедшей замуж за владетеля Мингрелии, Давида Дадиани, она выезжала с нею в свет; затем воспитывала меньшую сестру Софью Александровну, впоследствии баронессу Николаи; а когда у брата ее Давида стали подрастать дети, она взяла к себе на воспитание третью дочь его Елену [2], чрезвычайно слабую и болезненную девочку, и с нею не расставалась до своей кончины: положительно можно сказать, что она выходила и взлелеяла этого ребенка. Нина Александровна везде была необходима: и в доме отца в Тифлисе, и в доме брата в Кахетии, и в доме сестры, княгини Дадиани, в Мингрелии. То был ангел-хранитель всего семейства, а в то же время и существо, которому поклонялись все служившие тогда на Кавказе, начиная от главноуправлявших и наместников до самых маленьких чинов. Она носила с собою какой-то особенный ореол благодушия, доступности, умения войти в нужды каждого и делать эти нужды других всегда своими.

В манерах ее не было и тени суетливости, приторности и сантиментальности, столь свойственных огорченным вдовушкам; она вполне обладала изящною простотою тона, составляющею секрет женщины самого высокого круга и воспитания, и всем этим нехотя подкупала всякого. Отказа в ходатайствах своих она не слыхала ни от кого из высокопоставленных; это было всем известно и ее осаждали просьбами. Она за всех хлопотала. Нашалит ли юноша-воин и ему грозит что-нибудь серьезное, он отпра-

---

[1] Ее портрет и сведения о ней имеются в книге К. А. Бороздина: «Закавказские воспоминания».

[2] Ныне в супружестве за генералом Астафьевым. (Примечание К. А. Бороздина).

вляется к Нине Александровне и рассказывает ей все откровенно; та его пожурит очень серьезно, сама же все-таки отправится куда следует, хотя к самому наместнику, и дело устраивается. Надо ли попасть в отряд, идущий в дело, а попасть не так легко— желающих бездна, избранных же немного, — обращаются к ходатайству Нины Александровны, и та опять хлопочет и улаживает. Все обиженные, все ищущие помощи и защиты находили в ней себе самого деятельного за них адвоката; она не умела отказывать никому в своем ходатайстве. Зато вряд ли можно иметь более популярности, чем та, которою пользовалась она на Кавказе, где память о ней сохранилась и до сих пор во всех слоях общества.

А сколько было безнадежно влюбленных в нее юношей и не-юношей. Сколько писалось и посвящалось ей разных посланий в стихах и сочинялось всякого рода музыкальных пьес.

Материальные средства Нины Александровны были весьма ограничены: приданое свое она давно раздала, а из 2.000 руб. пенсии, получаемой ею после мужа, половину наверное тоже раздавала, так что была весьма далека от прихотей и роскоши. Когда жену и семейство брата ее постигла известная катастрофа — плен Шамиля — и брат ее нуждался в деньгах для выкупа, она просила наместника выдать ей в ссуду вперед пенсию за пять лет и, получив эти 10 тыс., отдала их тотчас же брату. В 1853 году сестра ее Дадиани овдовела; муж ее, владетель Мингрелии, скончался полный сил, лет сорока, от острой, скоротечной болезни, помешавшей ему сделать необходимые распоряжения на случай смерти. Кроме забот о воспитании четверых малолетних сирот, у княгини остались на руках дела по управлению владением, по имуществу детскому, и все это происходило в то время, когда Мингрелия вошла уже в район театра только что начавшейся восточной войны. Нина Александровна тотчас же поспешила к сестре, чтобы, по крайней мере, облегчить ей заботы о детях, и погостила у ней почти полтора года. К этой-то эпохе и относится знакомство автора настоящих заметок с Ниной Александровной: ему привелось более года прожить с нею под одной кровлею и ежедневно пользоваться ее беседою.

В статье своей «Омер-паша в Мингрелии», помещенной в июне и июле 1873 г. в «Военном сборнике», сгруппировал я воспоминания свои о проведенных мною в той стороне трех годах восточной войны. Из этой статьи читатель может узнать, что команди-

рованный канцелярией наместника кавказского для ведения переписки правительницы Мингрелии и вместе с тем для воспитания двух ее сыновей, я был, так сказать, временным членом семьи княгини Дадиани, и, таким образом, состоялось знакомство мое с Ниной Александровной Грибоедовой, гостившей у своей сестры, а новая и совершенно чуждая для меня среда, в которой я разом очутился, способствовала сближению этого знакомства. В те времена попасть прямо из Петербурга в Мингрелию было резким переходом. По тогдашнему общественному своему складу и местным обычаям страна эта была каким-то археологическим отломком средневекового феодализма с целой градацией сословий, подчиненных одно другому, с своим особенным этикетом, совершенно детскими интересами, возведенными в серьезный культ, в роде охоты на зайцев и лисиц, чистки оружия, ухода за лошадьми, натаскивания собак и проч., и проч.; полнейшее равнодушие ко всему творящемуся за пределами своего уголка и, за весьма редкими исключениями, совершенное незнание какого-либо другого языка, кроме своего родного диалекта. Уголок, настолько девственно сохранившийся от всякого прикосновения к нему цивилизации, мог бы, пожалуй, доставлять тогда интересный материал для летучих набросков туриста, отыскивающего диковинки; но жить в нем и быть деятелем человеку совершенно новому — было иное дело. Ему на всяком шагу нужны были: толкование, раз'яснение, руководство для того, чтобы уживаться с людьми, ладить с ними, не вызывая в них, совершенно нехотя, неудовольствия. Всякий, кому случалось проходить подобный процесс ознакомления с совершенно чуждою средою, поймет меня. Конечно, года через два-три отношения мои к той же среде стали совершенно иные, взгляд мой на туземцев во многом изменился; они меня поняли и я их понял, благодаря тому, что местный язык сам собою ко мне навязался, а затем завязались со многими из них самые дружеские отношения. Но самое трудное тут было, как и во всем — начало, и мои первые шаги похожи были на шаги человека, играющего в жмурки. Вот при каких условиях и обстановке привелось мне познакомиться с Ниной Александровной и найти в ней самую благосклонную руководительницу и истолковательницу всего для меня нового, непонятного и казавшегося мне диким в среде туземной. Нечего и говорить о том, что между туземцев она пользовалась полнейшим их обожанием, в совершенстве говорила их языком и своею всегдашнею приветливостью

не только не давала чувствовать им своего превосходства, но и возвышала до одного уровня с собою. Наш европейский кружок был весьма невелик. Он состоял из самой княгини, Нины Александровны, воспитательницы дочери княгини м-ль Берг, доктора С. А. Суханова и меня. Княгиня до того завалена была с утра до вечера всякого рода делами, что редко уделяла нам свои досуги, поэтому кружок наш группировался преимущественно около ее сестры.

Нине Александровне было тогда 42 года, но по наружности своей она замечательно сохранилась и казалась далеко моложе своих лет; многие молодые женщины могли бы еще и тогда позавидовать прекрасным ее волосам, черным, как вороново крыло, и совершенно сохранившимся зубам; а глаза ее, кажется, никогда не могли состариться: столько было в них выражения доброты, приветливости и ясности душевной; цвет лица у нее был матово-бледный; росту она была немного выше среднего; всем ансамблем своей личности она производила такое впечатление, что лучшего сравнения ее, как то сделал сам Грибоедов, с мадонной Мурильо, нельзя было приискать.

Беседа с нею велась как-то особенно легко и приятно. Она не была ни ханжой, ни скучной моралисткой, ни синим чулком и всегда охотно отзывалась на шутку и веселость в разговоре. Для меня особенно драгоценно было встретить знакомство в ней с Москвою и ее обществом, где она прожила целый 1846 г., поехав туда на свадьбу брата своего Давида, женившегося на княжне Анне Ильинишне Грузинской. У нас много нашлось общих знакомых из московского общества, отчего и разговор о Москве становился для нас интереснее. В Москве она впервые встретилась с родною сестрою Грибоедова, Марьей Сергеевной Дурново, знакомой ей дотоле лишь по письмам. Они сошлись как родные сестры, конечно, горько поплакали при воспоминании о дорогом им покойнике, и с тех пор между ними шла самая сердечная и искренняя переписка.

Любимым ее воспоминанием было все относящееся до Александра Сергеевича, и она охотно о нем рассказывала. В этих простых сердечных рассказах рисовался человек сильный душою, умеющий собою владеть и казаться наружно спокойным и равнодушным, но вместе с тем в высшей степени пылкий и страстный. Он не умел и не мог ничего делать наполовину: на своем последнем политическом посту он был глубоко проникнут сознанием

его важности и усиленно работал. Во все без исключения близкие ему интересы он посвящал свою молоденькую жену, умел становиться при истолковании их на уровень ее юных понятий; но в особенности любил он заниматься с нею музыкой, был учителем строгим и старался воспитать ее вкус классической школой. Много знала Нина Александровна пьес и его собственной композиции, весьма замечательных оригинальностью мелодии и мастерскою обработкою, — она охотно их играла любящим музыку. Из них в особенности была хороша одна соната, исполненная задушевной прелести; она знала, что эта вещь была моя любимая и, садясь за фортепиано, никогда не отказывала мне в удовольствии ее прослушать. Нельзя не пожалеть, что пьесы эти остались незаписанными никем: Нина Александровна унесла их с собою.

Зимою 1854 и 1855 годов, княгиня переехала из летней своей резиденции, Горди, в м. Квашихоры, и наша жизнь значительно оживилась соседством лагеря гурийского отряда. Оттуда стали ездить к нам многие офицеры, из которых особенно близкими нашему кружку сделались: майор Иллодор Дмитриевич Ивин, батальонный командир куринского полка, и Александр Иванович Поливанов, разжалованный из ротмистров уланского полка и сосланный на Кавказ за дуэль с Гербелем. В эту же зиму государь его помиловал; ему было все возвращено, и он снова вернулся в Петербург. Оба они, Ивин и Поливанов, служившие прежде в гвардии, были люди хорошего тона и за свои личные качества пользовались общим уважением; излишне было бы говорить о впечатлении, произведенном на них Ниною Александровной, да и они ей очень понравились. В числе лагерных гостей наших не обошлось и без комического типа: то был полковник N полка С. А. О., чистейший представитель той глубокой армейщины, которая так знакома была в те времена нашим провинциальным городам, селам и весям; своими выкрутасами, расшаркиваниями, подходцами и особенною какою-то декламацией в разговоре сильно напоминал он собою Скалозуба, и, представленный Нине Александровне, пустил в ход весь свой осадный арсенал. Можно себе представить, какая тут выходила забавная комедия. Принимая неизменную ко всем любезность Грибоедовой за особенную к нему благосклонность, вызванную его личным очарованием, он лез из кожи, чтобы быть еще очаровательнее, и нужно было, действительно, иметь благодушие Нины Александровны, чтобы снисходи-

тельно выслушивать эти монологи. К счастью для нее он ездил только по воскресеньям.

В марте месяце посетил княгиню новый тогда наместник Н. Н. Муравьев; он был старинный приятель и Нины Александровны и даже родственник их по первой своей жене, урожденной Ахвердовой. Николай Николаевич приехал на Кавказ один, и когда должна была переехать его семья, еще не было решено, а потому он увлекал от нас Нину Александровну, прося ее быть хозяйкой на его официальных вечерах, обедах, балах в Тифлисе. Она была всем нужна.

В апреле месяце, действительно, и она собралась в Тифлис, главным образом, для свидания с братом и женой его, возвратившейся с детьми из плена Шамиля. Мы провожали ее до первой станции целою кавалькадой; в числе сопровождавших был и Ивин, который видел ее в последний раз. Осенью этого же года, при переправе Омер-паши через Ингур, Ивин, приняв команду 11-м линейным батальоном, после того как старшие его полковники Званбай и Иосселиани были убиты, был вскоре и сам ранен штуцерною пулею в колено; шесть недель страдал он от этой раны и скончался в Кутаисе, в доме Н. П. Колюбакина. Все знавшие его от души скорбели об утрате достойного человека. В письмах своих, которыми удостаивала меня Нина Александровна, постоянно посылала она ему свои поклоны; а когда дошла до нее весть о том, что он ранен, она сама к нему писала и прислала целый тюк нащипанной ею корпии.

В 1856 году, по случаю коронации, княгиня Дадиани поехала в Москву и пригласила с собою и Нину Александровну. После коронации прожили они, по милостивому приглашению государя, целый год в Петербурге и в мае 1857 г. вернулись в Тифлис. Тут давно уже чувствовалось отсутствие Грибоедовой, ее ждали с нетерпением и в особенности младшая сестра ее, баронесса Софья Александровна Николаи, незадолго до ее приезда сделавшаяся матерью первенца-дочери, названной именем тетки, Ниною. Мне привелось быть в это время на несколько дней в Тифлисе, и, конечно, я был и у Нины Александровны. Она была вполне здорова, чрезвычайно довольна своею поездкою, выговаривала мне, зачем я отказался ехать с ними в Москву. По обыкновению была весела, приветлива, рассказывала много о коронации, о милостивом приеме государя и государыни, о Петербурге, который видела в первый раз. Жила она в квартире барона Николаи, и у нее всякое утро

бывали положительные рауты, весь Тифлис спешил у ней перебывать, и затем ей самой предстоял целый ряд выездов, обедов, вечеров, в честь ее готовившихся. Мне и в голову не могло притти в тот день, когда я пришел с нею проститься перед выездом в Кутаис, что я вижу ее в последний раз...

А между тем, вот что случилось. Силы младшей ее сестры восстановились, и она переехала в деревню — июньская жара выгоняла уже всех из Тифлиса; Нину Александровну нетерпеливо ждали уже в Цикандал, к брату Давиду, в Кахетию; торопили ее оттуда письмами, и она уже собиралась выехать и отправила часть своих вещей вперед, как вдруг нежданно-негаданно посетила Тифлис, кажется, никогда небывалая в нем и страшная гостья — холера. Одной из первых и немногих жертв ее сделалась Нина Александровна...

Она болела двое суток и, несмотря на все усилия докторов спасти ее, все оказалось напрасным. Она скончалась 25 июня 1857 г., 45-ти лет от роду, и кончина е была так внезапна, что ни брат, ни сестры не поспели к ней в Тифлис. Ближайшим из родственников, находившихся при ней, был князь К. Л. Дадиани, брат покойного владетеля Мингрелии, он ей и закрыл глаза. Ее похоронили рядом с мавзолеем Грибоедова, где она заранее приготовила себе место, и в это последнее жилище провожал ее буквально весь Тифлис [1].

Так покончила свои дни женщина, еще полная сил, дорогая всем, кто ее только знал. О ней нельзя было не плакать, то было существо редко встречавшееся на белом свете: она вся преисполнена была любовью. Как грузинка, она показала выполнением данного ею обета, на какое глубокое чувство христианского самопожертвования способна грузинская женщина во имя любви. Для этого ей не понадобилась ни монашеская ряса, ни келья. Не разрывая связей с той средой, в которой она родилась и жила, всю себя посвятила она ее служению. Больше всего на свете дорожила она именем Грибоедова, и своею прекрасною, святою личностью еще ярче осветила это славное русское имя.

29 января 1879 года. С.-Петербург.

---

[1] О ней см. еще очерк А. П. Берже «Нина Александровна Грибоедова»—«Русская Старина» 1883 г., № 6, стр. 659—663.

НЕСОБРАННЫЕ РАССКАЗЫ О ГРИБОЕДОВЫХ РАЗНЫХ ЛИЦ

В периодической печати, в некоторых мемуарах деятелей литературы и искусства начала XIX века и, наконец, в ряде историко-литературных сообщений, посвященных отдельным периодам биографии Грибоедова, было опубликовано несколько рассказов о Грибоедове, записанных со слов его друзей, а также несколько отрывочных воспоминаний лиц, знавших Грибоедова.

Эти материалы не только до сих пор не собраны воедино, но и не все зарегистрированы библиографически и нередко совсем не введены в научный оборот. Между тем, эти высказывания современников о Грибоедове, несмотря на свою дробность, почти всегда выявляют какую-нибудь новую и нередко неожиданную сторону в жизни и творчестве Грибоедова. В будущей монументальной биографии автора «Горя от ума» эти материалы найдут себе достойную оценку и место. Нашей задачей явилось собрание воедино этих дробных публикаций; по возможности, приводим их в хронологической последовательности.

Ценные штрихи для биографии Грибоедова в студенческую пору его жизни, для характеристики его матери, отца, сестры, а главное для познания дворянского социального окружения А. С. в юношеские годы, дают недавно найденные материалы одного барского провинциального архива. Это, главным образом, рукописные воспоминания помещика Смоленской губернии В. И. Лыкошина и его родной сестры А. И. Колечицкой (в замужестве); наиболее ценные фрагменты из дошедших до наших дней материалов семейного архива этого дворянского гнезда были опубликованы Н. К. Пиксановым [1]. Приводим выдержки из этих воспоминаний, касающихся Грибоедова и его семьи, а также те страницы, которые ярко вырисовывают своеобразный уклад жизни тогдашнего Московского университета, т. е. бытовую среду Грибоедова-студента.

---

[1] «Грибоедов и старое барство». По неизданным материалам составил Н. К. Пиксанов М., «Никитские Субботники», 1926 г.

Вот выдержки из «Записок» В. И. Лыкошина:

«Самый любимый родственный дом [семьи Лыкошиных] был Хмелита Алексея Федоровича Грибоедова [1]; это была великолепная каменная усадьба в Вяземском уезде [Смоленской губернии], верстах в тридцати от Казулина; но у отца была усадьба—Никольское близ Хмелиты, и когда летом приезжало семейство Грибоедовых в Хмелиты,—и мы переезжали в Никольсоке, где помещались в старом флигеле и в амбарах, а каждое послеобеда в прогулках наших сходились мы с молодежью Грибоедовых, а по воскресеньям целый день проводили в Хмелите. Алексей Федорович был беспечный весельчак, разорявшийся в Москве на великолепные балы [2], и в деревне жил на широкую руку, без расчета, хотя и не давал праздников. У него была от первого брака с кн. Одоевской дочь Елизавета Алексеевна, вышедшая впоследствии за Паскевича, князя Варшавского; вторая жена его, рожденная Нарышкина, никогда не приезжала в Хмелиты. Для воспитания дочери был учитель l'abbè Baudet, арфист, англичанин Адамс и рисовальный учитель, немец, Майер, чудак оригинальный.

Сестра Ал. Фед., Анастасия Федоровна, также по мужу Грибоедова, — мать поэта и дочери, известной по Москве своим музы-

---

[1] В бумагах А. С. Грибоедова А. Н. Веселовским была найдена следующая замечательная характеристика А. Ф. Грибоедова, озаглавленная «Характер моего дяди»: «Вот характер, который почти исчез в наше время, но двадцать лет тому назад был господствующим, характер моего дяди. Историку предоставляю об'яснить, отчего в тогдашнем поколении развита была повсюду какая-то смесь пороков и любезности; извне рыцарство в нравах, а в сердцах отсутствие всякого чувства. Тогда уже многие дуэллировались, но всякий пылал неопределимою страстью обманывать женщин в любви, мужчин — в карты или иначе; по службе начальник уловлял подчиненного в разной подлости обещаниями, которых не мог исполнить, покровительством, неосновательным ни на какой истине; но зато как и платили их светлостям мелкие чиновники, верные рабы-спутники до первого затмения! Об'яснимся круглее: у всякого была в душе бесчестность и лживость на языке. Кажется, нынче этого нет, а может быть и есть; но дядя мой принадлежит к той эпохе. Он, как лев, дрался с турками при Суворове, потом пресмыкался в передних всех случайных людей в Петербурге, в отставке жил сплетнями. Образец его нравоучений: «Я, брат!..».— В А. Ф. Грибоедове часто видят прототип Фамусова; см. академическое издание сочинений Грибоедова, т. II, стр. 338—339.

[2] В одном из писем К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу от февраля 1810 года, читаем: «Сегодня ужасный маскарад у г-на Грибоедова, вся Москва будет»—«Русская Старина», 1870 г., № 1.

кальным талантом, — с детьми и их учителем Петрозилиус с женою, проводила также лето в Хмелите; она была истинный друг нашей матери и доказала это на деле, как видно будет из дальнейшего рассказа. Кроме того, приезжали гостить и другие сестры Грибоедова, и племянницы его Полуехтовы, веселая компания, любившая поврать — как они сами о себе выражались — и придумывавшие разные штуки над приезжавшими соседками и живущими в доме иностранцами, которых вместе с нашими собиралась порядочная колония разноплеменных суб'ектов. Веселое это было время нашей юности [1].

...В 1805 году мать начала думать об определении нас в учебное заведение и решилась на Московский университет, который в недавнем времени был преобразован, и в ноябре мать повезла меня и брата Александра в Москву; нам сопутствовал и Мобер, который должен был жить при нас: профессор Маттеи согласился принять нас к себе в дом пансионерами, с нашим гувернером за 1.200 р. ассигнациями в год. В назначенный день с'ехались к нам к обеду профессора: Гейм, Баузе, Рейнгард, Маттеи и три или четыре других... За дессертом и распивая кофе, профессора были так любезны, что предложили Моберу сделать нам несколько вопросов; помню, что я довольно удачно отвечал, кто был Александр Македонский и как именуется столица Франции и т. п. Но брат Александр при первом сделанном ему вопросе заплакал. Этим кончился экзамен, по которому приняты мы были студентами, с правом носить шпагу; мне было 13, а брату 11 лет [2]. Пока мать

---

[1] А. И. Колечицкая, сестра Лыкошина, сделала к этому месту следующее дополнение: «Сестра Алексея Федоровича, Анастасия Федоровна Грибоедова же, и по мужу, была лучшим другом нашей матери. Ее сын, известный творец превосходной комедии «Горе от ума», Александр Серг. Грибоедов, женился на кн. Чавчавадзе, был посланником в Персии и там убит, защищая людей своих от ярости фанатической черни.—Сестра его, Мария Серг., вышла за Дурново, талантливого музыканта-любителя, так как она сама была лучшей ученицею Фильда и на арфе играла замечательно хорошо. (См. стр. 81 первого тома моих записок; там же и о m-lle Göze, моей гувернантке, сестре m-me Petrosilius). Другие сестры Алексея Фед. Грибоедова были: Алекс. Фед. Тинькова и Елиз. Фед. Акинфиева». Упоминаемый текст первого тома записок Колечицкой в печати неизвестен.

[2] Этим рассказом подтверждается тот необычайный факт, что в студенты Московского университета допускались дети 11—13 лет. Сам Грибоедов был принят именно 11-ти лет.

оставалась месяца два в Москве, мы ходили с Мобером на лекции в университет. Первую лекцию слушали у профессора русской словесности Гаврилова; он заставлял переводить со славянского псалом: «На реках Вавилонских»; можно посудить, как отчетливо умел я это сделать, когда не знал русского правописания! Проф. Гаврилов, заметя это, посадил меня подле старшего казенного студента Дмитриевского, которому поручил за нами следить; а вместе с тем, его [Гаврилова] наняла мать приходить давать нам уроки на дому; сестре же Марье, между тем, профессор словесности Aviat давал вместе с нами уроки литературы, а Loustot — рисования.

По от'езде матери перешли мы на пансион к Маттеи, пользующемуся европейской известностью по глубокому знанию греческого языка; этот старик был деканом словесного факультета; весьма добродушный, простой в обращении; я как теперь вижу его высокую фигуру, его высокий лоб, умные и добрые черты его лица. Жена его, добрая и умная женщина, и две красивые дочери, Амалия и Каролина, напоминали немецкие семейные типы Августа Лафонтена. Маттеи в свободные минуты давал нам первоначальные уроки латинской грамматики, но как это занятие мало соответствовало его филологической знаменитости, то он довольно небрежно этим занимался.

Мы были первый образчик дворянских детей, обучающихся не на казенный счет в Университете; да еще в одно время с нами были пансионерами у профес. Фишера Перовский Алексей и Коваленский. Потом по примеру нашему привезли для определения нашего И. Д. Якушкина и Бунакова, которых пристроили у проф. Мерзлякова. Скоро после того и некоторые из москвичей стали посылать на лекции детей с гувернерами, которые, как и наш Мобер, присутствовали в классах; так приходил с Петрозилиусом на лекции и Александр Грибоедов.

Мы поручены были родственному надзору его матери, добрейшей Анастасии Федоровне [1], у которой большею частью проводили праздничные дни, а она часто приезжала к нам осматривать, все ли

---

[1] Характеристика А. Ф. Грибоедовой сильно приукрашена Лыкошиным и Колечицкой; различные документальные данные рисуют Анастасию Федоровну как властную женщину и жестокую помещицу (имеются интересные неизданные материалы о восстании крепостных в Костромском имении Грибоедовых, происшедшем из-за жестокости А. Ф.: эти документы печатаются в особом исследовании Н. К. Пиксанова).

около нас в порядке. Тогда же приходили на лекции кн. Ив. Дмит. Щербатов и двоюродные его братья — Мих. и Петр Чаадаевы с гувернером-англичанином, князья — Алексей и Александр Лобановы, два брата — графы Ефимовичи [Ефимовские] и другие[1]. Много приятных воспоминаний оставило мне это время, проведенное на университетских скамьях. Устройство Университета в то время было отлично от настоящего: здание нового университета было тогда принадлежностью Пашкова, с садом, наполненным разными диковинами, а флигель по Никитской занят был под имп. театр. В так называемом теперь старом Университете залы бель-этажа были аудиториями для студентов; в большой средней ротонде была конференц-зала, а в боковом отделении направо от входа с Моховой была церковь; под нею была квартира ректора Страхова. Верхний этаж занят был дортуарами казенных студентов и классами гимназистов. Близ самого Университета был корпус больницы, а вслед за оным по Никитской — дом Мосолова, занимаемый профессором естеств. истории Фишером, где была и его аудитория; неподалеку же в переулке — анатомический театр, где проф. Гольбах преподавал астрономию, а Рейс — химию. Обыкновенно собирались мы на лекции в 8 часов утра и оканчивали в 12, чтобы после обеда опять слушать от 3 до 5 часов. Я слушал лекции политической экономии у Шлецера, философии — у Рейнгарда, римского права — у Баузе, гражданского права — у Цветкова, естественной истории — у Фишера, логики — у Брянцева, эстетики — у Сохацкого, русской словесности — у Гаврилова, французской литературы — у Aviat de Vattoy, английского языка — у Перелогова, который по билетам приходил к нам на дом повторять английские уроки и математику; поэзии — у Мерзлякова, русской истории — у Каченовского. Но самые интересные были лекции экспериментальной физики у ректора Страхова; это были публичные лекции, и аудитория устроена иначе, чем в других залах: полу-

[1] Необычный факт появления в 1805 году в общей массе бедных московских студентов-разночинцев блестящей группы представителей знатных и богатых дворянских родов об'яснялся тем, что в 1804 году университет был преобразован и состав его профессоров был обновлен и расширен пятнадцатью новыми профессорами; с другой стороны, для получения первого чина по государственной службе требовался известный образовательный ценз. Но скоро это явление исчезло, так как для аристократической молодежи было создано особое привилегированное учебное заведение — Царскосельский лицей, основанный в 1811 году.

круглая, амфитеатром возвышались скамьи слушателей, каждый ряд отделен перегородкой с пюпитрами, и Страхов, преподаватель красноречивый, хорошо усвоивший по тогдашнему времени свой предмет, обставленный разными физическими инструментами, об'яснял нам законы электричества, магнетизма и пр. весьма увлекательно. Лекции истории всеобщей проф. Черепанова, преподававшиеся по Шреку, были иногда забавны по его об'яснениям, вроде следующих: «М. государи, с позволения вашего, Семирамида была великая б..», — и когда нам надоест, бывало, слушать эти глупости, мы как школьники зашаркаем ногами, и профессор-добряк, рассердясь, уходит. Старик Гейм со своею статистикою всякий раз лишь отворит дверь, начинает на скором бегу к кафедре бормотать под нос себе лекцию, так что начало ускользало от нас и не могло быть записано на тетрадях наших. Какая галлерея оригиналов!!!

Пробыв несколько месяцев на пансионе у Маттеи, Моберу надоело быть некоторым родом в зависимости у старого немца, который, впрочем, нисколько не был взыскателен. Вследствие этого он уговорил мать позволить нанять особую квартиру и хозяйство поручить ему. Первая нанятая была в Газетном переулке, в доме Троицкого подворья, потом перебрались на Кисловку в дом Калашникова; прислали нам из деревни повара и лакея с женою-прачкою, в лошадях мы не имели нужды, потому что жили вблизи от Университета; в каждое воскресенье и по праздникам присылали за нами экипаж, кто-нибудь из родных: Ан. Фед. Грибоедова, Аграф. Федотовна Татищева, Полуехтовы, Акинфьевы, Праск. Ал. Ушакова, барон Корф, женатый на Нат. Алекс. кн. Вадбольской, приходившейся нам как-то дальней родственницею.

Всего приятнее нам было бывать у Анастасии Федоровны, которая нежными попечениями заменяла нам мать, и сын ее Александр был особенно дружен со мною; у них, кроме праздничных и вакационных дней, в которые мы совсем к ним перебирались, был два вечера в неделю танц-класс известного всей Москве Иогеля[1], у которого и мы брали уроки, и эти вечера были для нас настоящими bals d'enfants, не подобные нынешним, где все делается для выставки и где под предлогом детей танцуют и взрослые. Дом Грибоедовых был под Новинским, с большой открытой раллереей к площади; можно посудить, как счастливы мы были,

[1] О нем говорит Лев Толстой в «Войне и мире».

когда на святой, во время известного катания, мы толпились на этой галлерее в куче ровесников и взрослых, собиравшихся смотреть, что происходило под Новинским. В доме же бабушки Татищевой бывали тоже танц-классы и множество молодых кузин, а как я с первой молодости был очень влюбчив, то и нашел здесь себе предмет обожания в кузине-княжне Грузинской Дарье Леоновне, которая была немного постарее меня.

Здесь надо заметить, что в первом десятилетии этого века москвичи еще отличались хлебосольством и радушным приемом даже дальних родных, приезжающих из провинции; бывало в праздничный день несколько карет приезжало за нами, и нельзя было выбирать, куда веселее ехать, потому что прочие родственники сочли бы наш отказ за неуважение и, конечно, пожаловались бы на нас за это родителям, — и потому надо было наблюдать строгий черед. У старой тетки Ушаковой с'езжались мы иногда с ее родственниками наших лет, Ушаковыми, из которых Василий Аполлонович впоследствии сделался известен в литературном мире своими повестями [1]. Нынче кто станет заботиться приголубить мальчиков-студентов, да еще и с неразлучным гувернером? Теперь и взрослые, хотя год не ходи, никто и не взыщет. Но в то время менее было экономических расчетов, а жили привольнее, не было таких утонченных прихотей, роскоши, но барство как-то ярче проглядывало во всей обстановке жизни; толпы слуг, прилично одетых, вежливой внимательностью показывали, что довольны своим состоянием и за честь считают служить своим господам; экипажами не щеголяли, но щеголяли упряжью: в чинах статского советника и выше иначе не ездили, как цугом, шестериком с двумя форейторами, лошади в шорах, кучера и вершники в ливреях и треугольных шляпах, никогда менее двух лакеев на запятках, а иногда и три. Одни купцы ездили парой. И, несмотря на хлебосольство, на содержание огромной дворни и большого числа лошадей в городе, мало имений заложено было в Опекунскоом совете, и редко о ком говорили, что долги его неоплатны.

Вакационное время летом мы всегда ездили проводить в деревне у родителей. Мобер и какой-нибудь студент из немцев нам сопутствовали, в то же время и Хмелита Грибоедовых наполнялась приезжими родными, и мы, переезжая в Никольское, были с ними неразлучны.

[1] В. А. Ушаков был лично знаком с Грибоедовым; о нём см. в комментариях к воспоминаниям Кс. Полевого.

Но ни праздничные развлечения в Москве, ни приятная вакационная жизнь в деревне не мешали мне серьезно заниматься наукою, я с любовью предавался учению и полтора года по вступлении в университет стал готовиться выдержать экзамен на степень кандидата, которая давала право носить мундирный воротник, шитый золотом, и чин губернского секретаря. Между тем, я приготовлял к публичному акту диссертацию на заданную тему о великом переселении народов. Добрый профессор Aviat предложил в мое распоряжение свою французскую библиотеку, и я схватился обеими руками за Гиббона; по-латыни я плохо знал, потому писал диссертацию на русском. Один из старых казенно-коштных студентов, Словиковский, выпросил у меня посмотреть мое совсем уже приготовленное сочинение, перевел его целиком на латинский язык, и получил золотую медаль, а я, потому, что писал на русском, получил только похвальный отзыв, — вот черта моей юношеской наивности! Впрочем, пробежав недавно эту диссертацию, которая хранится в моих бумагах, я откровенно скажу, что она похвального отзыва не заслуживала. В ту пору куда как незрелы были понятия о способах исследования исторических фактов!.. Экзамен на степень кандидата выдержал я хорошо; тогда не было таких строгих научных требований, о публичных диспутах и помину не было. Анастасия Федоровна [Грибоедова] непременно хотела, чтоб и сын ее вместе со мной экзаменовался, и как он не оттоваривался, она настояла на своем. Нас обоих в конференц-зале экзаменовал тогдашний ректор Гейм в присутствии наших гувернеров — Мобера и Петрозилиуса; без хвастовства скажу, что я гораздо лучше Грибоедова отвечал, и вместе с ним провозглашены мы были кандидатами [1]. Как чванился я моим шитым воротником! Как польстил моему юношескому самолюбию вопрос очень миленькой девицы, с которою я танцовал на свадебном бале Пав. Вас. Вакселя: «Не камер-юнкерский ли это мундир?».

Чем более припоминаю, тем менее нахожу сходства в тогдашнем московском обществе полвека назад с чертами, так ярко схваченными позже Александром Грибоедовым в его «Горе от ума»!

---

[1] В «кандидаты словесных наук Московского университета» Грибоедов был произведен 3 июня 1808 года; аттестат на звание кандидата 12-го класса был выдан ему 29 июня (по послужному списку, хранящемуся в Сенатском архиве); см. Сергей Белокуров. А. С. Грибоедов. (Новые документы к его биографии).—«Русское Обозрение» 1895 г., № 3, стр. 384.

Наши знакомства и родственные связи были у нас обоих одни и те же, но я нигде в то время не встречал ни Фамусовых, ни Репетиловых, ни всех этих комических типов, за верность которых ручается громкая слава, заслуженная этой комедией, — так изменилось все после 1808 года, [когда] я расстался с Москвою и с Грибоедовым, с которым мне привелось столкнуться уже в Петербурге на службе.

Легко доставшаяся мне ступень кандидата еще сильнее пришпорила мою учебную деятельность, и я задумал приготовиться к получению в следующем году степени магистра, которая давала право на чин титулярного советника, но Мобер положил этому препятствие. Отдавая полную справедливость его строгой заботливости о нашей нравственности, не могу вместе с тем не заметить, что его узкое понимание испортило мое служебное поприще: он вбил себе в голову, что я слишком о себе возмечтаю, если в таких молодых летах шагну так далеко, и потому всеми зависящими от него средствами стал мешать мне приготовиться к осуществлению моего честолюбивого стремления и вместе с тем стал хлопотать у родителей, чтобы нам оставить университет. И зимою 1808 года мы вышли с братом Александром, который получил звание действительного студента, и мы поехали в деревню, где застали приехавшую к нам из Орловского имения тетку Пр. Фил. Якушкину с двумя дочерьми. Она поддержала мои жалобы на Мобера, который и был отпущен, но мы уже не могли возвратиться в университет, откуда и получили наши аттестаты в начале следующего года.

Летом 1809 года новая церковь наша была окончена и стали готовиться к освящению трех престолов нижнего яруса, мать поехала в Москву для закупки утвари церковной и взяла меня с сестрами, Марьею и Настею, с собою. Это было в июне... В Москве остановились мы в доме двоюродного брата, Мих. Мих. Грибоедова, на Кисловке; здесь почти ежедневно посещала нас добрая Ан. Фед. Грибоедова с Александром, о котором здесь кстати несколько слов еще: в ребячестве он нисколько не показывал наклонности к авторству и учился посредственно, но и тогда отличался юмористическим складом ума и какою-то неопределенною сосредоточенностью характера. Вспоминаю одну из его детских шалостей: в одно прекрасное утро он вздумал остричь наголо свои брови, которые были очень густы, и за это ему порядочно досталось от матери. Отца его мы почти никогда не видали, он или

жил в деревне далеко от семьи, или, когда приезжал в Москву, то проводил дни и ночи за азартною игрою вне дома, и расстроил сильно имение» [1].

Этим исчерпываются наиболее содержательные записи Лыкошина о семье Грибоедовых и его пребывании в Московском университете.

В «Моих записках» А. И. Колечицкой, найденных в том же семейном архиве, также сохранилось несколько любопытных записей о Грибоедовых. Несмотря на то, что «Мои записки имеют форму дневника, записи здесь не поденные, а сводные, так что под определенным числом неожиданно пересказываются события нескольких предшествующих дней или даже лет. Французские записи приведены в переводах:

«10 августа 1822 г. Казулино. Мы отправились летом с Пьером, Аничкою и сестрою Лизою в Москву; первое время стояли в доме священника старого Вознесенья, отца Иосифа, умного старика, любившего говорить по-французски, и случалось, что, обходя с кадилом церковь, куда собирался весь beau-monde московский, он говорил: «pardon, mesdames». Он был моим духовником по совету нашей доброй, родной Анаст. Фед. Грибоедовой, которую от младенчества привыкли уважать, как друга маменьки, и имевшей самое нежное попечение о братьях, когда они ходили в университет. Я чаще всего бывала у нее; помню, в один день, она позвала меня обедать, и я нашла у нее большое общество. Вдруг входит молодой человек в очках, которого мне трудно было узнать, как Александра Грибоедова, товарища нашей юности, а ему невозможно было неожиданно догадаться, что я та, которую он знал девочкою; но мать его, с ее обычной живостью, воскликнула: «Александр, как же это ты не узнаешь дочь Мироньи Ив. Лыкошиной?!». Тогда он подошел ко мне и стал расспрашивать о братьях [2]. Сестра его, Марья Сергеевна, лучшая музыкантша Москвы, ученица Фильда, проводила все дни за фортепьяно и арфою [3]. Однажды, когда я с нею ездила на концерт Шемановской,

---

[1] Об отце писателя до наших дней почти совершенно никаких известий не сохранилось; показание Лыкошина тем более ценно, что свидетельствует о скрытой семейной драме в семье Грибоедовых.

[2] Эта встреча произошла, вероятно, в 1818 году, когда Грибоедов, после долгого отсутствия, вновь побывал в Москве, между 3 и 10 сентября, перед от'ездом на Восток.

[3] Этим показанием современницы вновь подтверждается музыкальная репутация М. С. в Москве, и то, что она была ученицей Фильда (это оспаривалось в биографической литературе).

польской пианистки с большим талантом, случилось на мою беду, что я с утра, забыв о вечернем концерте, продолжала пить свой битер-васер, предписанный Мудровым [1], и когда Марья Сергеевна заехала за мной, я беспечно поехала, но вдруг к моему ужасу в самый разгар концерта чувствую действие горькой воды. Пока поют итальянцы, я забываю беду, но как скоро Шемановская начинает серьезную пьесу, не столько меня интересующую,—я погибаю; смотрю кругом, не увижу ль знакомого мужчину, который проводил бы меня к карете, но в толпе никого различить не могу. Кой-как доживаю до конца концерта, но тут моя спутница, встречаясь с разными знакомыми, перекидывается любезностями, я стою, и мне еще хуже, нежели сидя. Наконец-то попадаю я к себе домой, счастливая уже тем, что не случилось худшего. На следующий концерт уже не я, а сестра Лиза, поехала с кузиною...

5 ноября 1826 г. Казулино. (По-французски). Время от времени мы проводили несколько летних месяцев в Никольском, красивом поместьи, находящемся в 25 верстах от дома; там мы пользовались большей свободой, чем в Казулине: так как дом был очень мал, то мы помещались в других строениях, что позволяло нам вдоволь бегать во дворе и прилегающем к дому хорошем лесу, и веселились мы от всего сердца. Г-жа Грибоедова, родственница и подруга мамаши, также приезжала из Москвы на лето к своему брату, жившему в нескольких верстах от Никольского, и мы были неразлучны. В Хмелите, прекрасном имении, мы всегда находили многочисленное общество; мы совершали прогулки, устраивали parties de plaisir, барышни Грибоедовы были превосходными музыкантшами, и никто еще тогда не предполагал, что одна из них сделается такой важной дамой. В доме находилась одна молодая особа, Юлия Capeble, которую я очень любила и с которой вела продолжительную переписку. Что касается Александра Грибоедова, он был в то время в университете, как и мои братья...

25 марта 1829 г. Грустная весть дошла до нас о бедственной кончине милого нашего Александра Грибоедова. Мы так недавно радовались его назначению посланником в Персию, блистательному пути, открывшемуся его замечательным способностям, он так недавно женился на молоденькой Нине, княжне Чавчавадзе, по любви, и вот в нынешнем январе он убит в Тегеране раз'яренной чернью, за неосторожность кого-то из его лю-

[1] Известный медик, профессор Московского университета.

дей, вздумавшего поднять покрывало проходившей женщине, чтобы посмотреть на ее лицо; Александр Сергеевич, услыша шум, сошел на улицу, чтобы унять волнение, и сам сделался жертвою фанатизма! Милый, умный Александр, как мне жаль его! Я писала о нем и его семье на стр. 12 и 99 этого тома, в воспоминаниях юности нашей, — тогда он был только веселый, резвый юноша, потом товарищ братьев в университетской жизни и не обещал еще того высокого таланта, который показал, написав бессмертную свою комедию «Горе от ума», которой многие стихи вошли в пословицы и так верно изображают Москву того времени. Бедная мать его, Анастасия Федоровна! С какою нежною любовью, с какою неусыпною, исключительною заботою она пеклась о воспитании сына [1] и дочери, и в ту минуту, как видела труды свои, увенчанные таким блестящим успехом, она лишилась таким ужасным образом того, что было бы славою ее старости. У него осталась молоденькая жена, урожденная княжна Чавчавадзе, на которой он только что женился в Грузии...

26 февраля 1834 г. (По-французски). Я виделась с бедной m-me Грибоедовой, она так несчастна, так одинока, что мое сердце терзалось. Я люблю и уважаю эту женщину,—такую добрую, такую благотворительную, со всеми ее особенностями; она еще принадлежит к числу тех несчастных существ, столь редких, которые сочувствуют горю и радостям себе подобных...

1 января 1840 г. Вчера у Труб... я познакомилась с П. А. Бестужевым [2], меньшим братом Марлинского, он рассказывал нам о своих несчастных путешествиях по Азии, о Грибоедове, которого он знал в Грузии и который называл его своим приемышем. Он очень привязан к брату, и я боялась слишком много расспрашивать о нем».

---

[1] Несмотря на свой резкий и деспотический характер, А. Ф. Грибоедова, несомненно, относилась к сыну с большою любовью. Сохранилось любопытное письмо ее от 13 июня 1828 года к Булгарину, которое начинается так: «Милостивый государь, Фаддей Венедиктович. Не имея чести быть с вами знакома, но по праву дружбы моего сына с вами, отношусь к вам точно как к своему... Прошу, мой почтенный, не охладевайте вашу к нему дружбу... Не оставляйте его, ради бога, вашим вниманием, вашими советами...»; см. Т. А. Сосновский (П. П. Каратыгин), «А. С. Грибоедов». — «Русская Старина» 1874 г., № 5, стр. 300—301.

[2] В Пушкинском доме Академии Наук СССР хранятся неизданные воспоминания Петра Бестужева.

Мельком вспоминает о семье Грибоедовых в допожарной Москве Е. П. Янькова в связи с семьей Пушкина:

«Виделись мы [с бабушкой Пушкина Марией Александровной Ганнибал] еще у Грибоедовых... В 1809 или 1810 году Пушкины жили где-то за Разгуляем, у Елохова моста, нанимали там просторный и поместительный дом... Я туда ездила со своими старшими девочками на танцовальные уроки, которые они брали с Пушкиной-девочкой, с Грибоедовой (сестрою того, что в Персии потом убили)... Мальчик, Грибоедов, несколькими годами постарше его [Пушкина], и другие его товарищи были всегда так чисто, хорошо одеты, а на этом [Пушкине] всегда было что-то и неопрятно, и сидело нескладно [1].

Нижеследующие два мемуарные высказывания также связаны со студенческими годами Грибоедова и принадлежат свидетелю этой эпохи жизни Грибоедова—В. В. Шнейдеру, учившемуся в Московском университете в одни годы с Грибоедовым.

В 1860 году в статье Л. Н. Майкова [2], на ряду с неизданными материалами из эпистолярного наследия Грибоедова, опубликованными им, обращали на себя внимание дробные «показания г-на N», проливающие свет на бытовые источники студенческой жизни Грибоедова. Этот г. N, как вскоре оказалось, был В. В. Шнейдер, в те годы уже заслуженный профессор Петербургского университета. Его показания, вкрапленные в начало статьи Майкова, и являются первым нижеследующим отрывком.

Второй отрывок весьма ценен как косвенный показатель одного из источников духовного развития юноши-Грибоедова. История этого отрывка такова.—В «Русском Архиве» 1875 г. (№ 9, стр. 44) в исследовании А. Н. Попова «Москва в 1812 году» к фразе: «сохранилось сказание, что император вместе с бароном Штейном посетил мастерскую Леппиха» было сделано следующее примечание: «Заслуженный профессор Петербургского университета В. В. Шнейдер в 1812 году был студентом Московского университета и репетитором при двух других студентах (моложе его), знаменитом потом Грибоедове и Панине. Он много рассказывал об этом времени любопытных подробностей. Один из его рассказов о Леппихе [3] помещен в приложениях

---

[1] «Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений», записанные и собранные ее внуком Д. Благово. П., 1885 г., стр. 460—461.

[2] Л. Н. Майков. «Заметки об А. С. Грибоедове» в Сборнике, издаваемом студентами императорского петербургского университета. П., 1860 г., вып. II, стр. 235—236.

[3] Немецкий ученый, по поручению Александра I занимавшийся под Москвой в период войны 1812 года различными экспериментами по вопросам приспособления воздухоплавания для военных целей.

к этой главе».—Приведенный нами второй отрывок и является этим «рассказом», который при сопоставлении с одним отрывком из воспоминаний Бегичева (см. выше стр. 6—7) сразу об'ясняет, о каком Штейне там идет речь. Указание Шнейдера на то, что он встретил барона Штейна у входа в квартиру профессора Буле и показание Бегичева, что «Буле познакомил С Штейном Грибоедова, подтверждает то, что Штейн, о котором Грибоедов, по словам Бегичева «рассказывал мне с удовольствием о беседах их с Штейном», и есть тот знаменитый общественный деятель и прусский министр иностранных дел, который сыграл такую крупную роль в 1812 году в России. Факт бесед барона Штейна с юношей-Грибоедовым может служить показателем степени развития А. С. и, несомненно, мог сыграть немалую роль в духовном его росте.

«А. С. Грибоедов родился 4 января 1795 года, первоначальное образование он получил в родном семействе сперва под руководством матери, Настасьи Федоровны, женщины очень просвещенной, а потом под наблюдением иностранцев-гувернеров. Первым из них был известный ученый и энциклопедист Петрозилиус, вторым—Богдан Иванович Ион. Последний—человек очень ученый, образованный, дал Александру Сергеевичу классическое образование. В 1811 году превосходно приготовленный Грибоедов поступил на юридический факультет Московского университета [1]. Но Ион продолжал жить у Грибоедовых и всегда сопровождал своего воспитанника на лекции; это было тогда в обычае у молодых людей богатых фамилий. Уже в это время Грибоедов говорил по-французски, немецки, английски и итальянски [2] и оказывал наклонность к серьезному чтению. Это чтение, вместе с университетскими лекциями, стало впоследствии главным основанием его образования. Будучи студентом, Грибоедов с Ионом читал латинских классиков; любимыми его писателями были комики Плавт и Теренций. Однажды он не поладил со своим наставником и вместо Иона просил одного из своих товарищей, г. N [В. В. Шнейдер] [3] помочь ему в чтении Плавтова «Хвастливого Воина». При

[1] Судя по материалам Московского отдела архива главного штаба, Грибоедов был произведен в кандидаты прав Московского университета 15 июня 1810 года.

[2] Это — показание, принадлежащее г. N. (В. В. Шнейдеру).—(Примечание Л. Н. Майкова).

[3] Г. N (В. В. Шнейдер), сообщивший нам все эти сведения (за что приносим ему полную нашу благодарность), был коротким знакомым Грибоедова. Г. N (В. В. Шнейдер) специально изучал римское право и латинскую филологию. (Примечание Л. Н. Майкова).

этом случае г. N [В. В. Шнейдер] убедился, что латынь коротко знакома Грибоедову, и г. N [В. В. Шнейдеру] приходилось об'яснять Александру Сергеевичу только некоторые особенности Плавтова языка.

Благодаря знанию древних языков, Грибоедов почти один из русских был в состоянии следить за лекциями немецких профессоров, читавших по-латыни. Не довольствуясь университетскими лекциями, он частным образом слушал эстетику у профессора Буле на немецком языке.

Литературные занятия будущего автора «Горя от ума» начались еще в университете. Нередко читал он своим товарищам стихи своего сочинения, большею частью сатиры и эпиграммы. Однажды, в начале 1812 года, он прочел Иону и г. N [В. В. Шнейдеру] отрывок из комедии, им задуманной; это были начатки «Горя от ума». Это известие, сообщенное г. N [В. В. Шнейдером], по нашему мнению, так важно, что для полной достоверности требует нового подтверждения, но во всяком случае оно правдоподобнее рассказа г. Булгарина о сне, виденном Грибоедовым в Персии и подавшем ему повод к созданию знаменитой комедии».

Вот второе свидетельство В. В. Шнейдера:

«В то время я жил на хлебах у купца, торговавшего сукном, Данкварта... 15 июля [1812 года], в день собрания у дворянства и купечества в залах Слободского дворца, утром в часу первом, после уроков латинского языка в одном из домов, возвращаясь домой, я вышел на Ордынку, которая была наполнена народом и вдали увидал приближающуся к нам коляску: это ехал император. Я вышел на средину улицы, чтобы ближе на него посмотреть; когда коляска проезжала мимо, я увидал, что рядом с государем сидел человек в черном фраке и со звездой, в котором я узнал барона Штейна.

Вот почему я узнал в спутнике императора б. Штейна. Перед тем за несколько дней я был у профессора Буле. Входя в его квартиру, я встретил одного неизвестного мне человека. Когда я вошел к профессору, он мне сказал: «как жаль, что вы не пришли ко мне несколькими минутами ранее: вы бы имели удовольствие найти у меня нашего знаменитого соотечественника, барона Штейна». Он был его товарищем по университету и потому, приехав в Москву, посетил его [1].

[1] Штейна дает И. И. Тургенев: «Россия и русские».

Это обстоятельство помогло мне сейчас же узнать в спутнике императора барона Штейна. Я поспешил возвратиться в тот дом, где давал уроки, и с балкона в зрительную трубу мы наблюдали, как коляска государя проехала калужскую заставу и направилась на дачу Репнина [1]...

Когда потом я возвратился домой, за обедом я рассказал об этом хозяевам, и что видел в самой близи императора. Данкварт сказал: «А я едва-едва не столкнулся с ним». Он находился на даче Репнина в то время, когда туда приехал император вместе с б. Штейном. Затем начался разговор, который возбудил мое любопытство, так что я начал просить Данкварта, чтобы он взял меня с собою, когда поедет на Репнинскую дачу. «Это невозможно, — отвечал он на мою просьбу, — туда пускают по билетам, а у меня только один билет для меня лично». — «Но возьмите меня с собой, как вашего мастерового». — «Да, это можно», отвечал он мне.

Действительно, через несколько дней я отправился с ним на Репнинскую дачу...

Пока мой хозяин находился в саду, а я рассматривал окружавшие меня предметы в доме, ко мне подошел живой, несколько рябоватый господин и с улыбкою сказал: «Вы слишком любопытны, молодой человек». Я отвечал, что приехал с Данквартом и что я его рабочий. «Рабочий! — заметил он, — а кто каждый день гуляет по Ордынке с Грибоедовым и Паниным? Вы из университета». Я покраснел и смутился до такой степени, что, кажется, не нашелся, что отвечать. Моя молодость и смущение вероятно произвели хорошее впечатление на моего собеседника; он улыбаясь сказал мне: «Ну, немец немца не выдаст, только никому ни пол-слова не говорите о том, что вы здесь были и что услышите». Это был доктор Шеффер, который и рассказал мне, что здесь приготовляется воздушный шар, которого движения посредством крыльев можно направлять по произволу. Он подымет ящики с разрывными снарядами, которые, будучи сброшены с высоты на неприятельскую армию, произведут в ней страшное опустошение» [2].

---

[1] Дача Репнина находилась в 6 верстах под Москвой. Здесь Леппих производил свои эксперименты; см. «Бумаги о Леппихе» — «Русский Архив», 1875 г., № 9, стр. 44—46.

[2] Знакомство Грибоедова с Штейном можно датировать второй половиной июля 1812 года, так как 26 июля по призыву правительства к студентам Московского университета Грибоедов поступил в гусарский полк.

К апрелю-маю 1818 года относится следующее ценное свидетельство А. С. Стурдзы, в те годы крупного чиновника Министерства иностранных дел, на глазах которого Грибоедов колебался в выборе места своей дипломатической службы:

«Я знал Грибоедова при самом начале деятельности его на поприще словесности и службы. Подобно Батюшкову, он домогался должности дипломатической; и с этой целью искал моего знакомства. Светлый ум, крутой нрав и сметливая физиономия Грибоедова полюбились мне. Пользуясь тогдашним положением моим при министерстве иностранных дел, я вступился, сколько мог, за благородного искателя, и предложил ему на выбор должности канцелярского чиновника в Филадельфии и Тегеране. Грибоедов колебался; я указывал ему беспристрастно на относительную важность этих посольств, измеряемую связью каждого из них с прямыми выгодами России. Мне хотелось, чтобы он предпочел Америку Персии, потому только, что более надеялся на правила и образ мыслей нового начальника этой отдаленной миссии, барона Тейля, с которым я подружился на зимних бивуаках 1812 года, при Березине. Однакож, я познакомил Грибоедова лично не только с ним, но и с ст[атским] сов[етником] Мазаровичем; оба они находились в столице и собирались в путь, каждый сообразно своему назначению. Грибоедов сам решил участь свою и отправился в Персию. По заключении туркманчайского мирного договора, Грибоедов приезжал на время в столицу, но забыл и даже не спрашивал обо мне. Ему везло: осыпанный царскими милостями, он уехал обратно в Тегеран—поверенным в делах, повидимому стремясь к новым заслугам и почестям; а в самом деле ожидала поэта жестокая насильственная смерть! Никогда в жизни не случалось со мною быть столь близким очевидцем при выборе самим страдальцем собственного таинственного жребия» [1].

В первый приезд Грибоедова в Тифлис — в октябре-ноябре 1818 года — с ним познакомился князь Е. О. Палавандов. В беседе с С. В. Максимовым он сообщил свои воспоминания о Грибоедове; они или рассказаны Максимову или записаны им — неточно (напр., эпизод с Петропавловской крепостью явно апокрифичен):

«Я как теперь вижу его [Грибоедова] большие выкатившиеся глаза и умные речи, которыми он очаровывал, будучи радушно

[1] А. С. Стурдза. «Беседа любителей русского слова и Арзамас в царствование Александра I». — «Москвитянин», 1851 г., № 21, стр. 19.

принят во всех лучших домах. Он—секретарь персидской миссии; он недавно исполнил поручение—переселял армян в Россию; он—чиновник по дипломатической части при великом Ермолове, что еще больше? Когда арестовали Рылеева, в его бумагах нашли письма Грибоедова. Ночью тайно схватили его и увезли в Петербург. Он успел оправдаться и вернулся назад с рассказами. Шопотом толковали о том, что в Петропавловской крепости сидел он, отделенный дощатою перегородкой, рядом с тем жидом, который держал по подряду почту для сношений Южного Общества Соединенных Славян с Северным Петербургским Тайным Обществом. Жид до того явно трусил, что неистовые порывы его оробелого духа не только были слышны, но и надоели соседу. Он стал высказывать всем свое твердое намерение написать комедию «Жид в тюрьме». Исполнил ли? [1]. Перед близкими людьми Грибоедов шутливо оправдал свою невинность и непричастность к заговору тем, что написал «Горе от ума» с прозрачными намеками, которые не умели-де понять, а в Чацком могли бы заподозрить любого либерала из вернувшихся из-за границы молодых гвардейцев того времени. [Грибоедов] весьма скоро выучился по-персидски. Аббас-Мирза (ум. 1833 г.), знаменитый тем, что оставил по себе 26 дочерей и 24 сына, также и тем, что бесплодно и безнадежно старался водворить в Персии европейское образование, получил за последнее стремление от Грибоедова похвальные стихи, написанные на чистом фарсицком наречии, и наградил его орденом Льва и Солнца [2]. По возвращении из Тифлиса, Александр Сергеевич выпросил у Паскевича позволение жениться. Ему, на счастье, досталась красавица Чавчавадзе, за которую раньше сватался племянник Ермолова, но суровый и строгий генерал не любил, чтобы в боевой армии его находились женатые офицеры, а потому не позволил и расстроил брак. Вот почему уцелела для Грибоедова эта красавица, Нина Александровна, которую он и увез с собою в Тегеран, отправившись туда посланником и на смерть.

Сестра его желала иметь землю с могилы брата, и я ее в мешочке вручил ей в Москве» [3].

---

[1] Грибоедов сидел не в Пе́тропавловской крепости, а на гауптвахте Главного штаба; о комедии «Жид в тюрьме» в грибоедовской литературе сведений нет; сообщение о ней явно недостоверно.

[2] Орден Льва и Солнца Грибоедов получил в конце 1828 года, когда приехал в Персию полномочным министром.

[3] С. В. Максимов. «Печерский князь». — «Русская Мысль» 1887 г., № 12, стр. 187—188.

К осени 1823 года можно предположительно отнести следующий рассказ о Грибоедове (отбросив, конечно, последнюю фразу, как явно апокрифическую), записанный некоей Новосильцевой:

«Московские старожилы помнят, вероятно, англичанина Фому Яковлевич Эванс, который прожил лет сорок в России и оставил в ней много друзей. Наше общество любило и уважало его. Он находился, между прочим, в приятельских отношениях с Грибоедовым и мы передаем с его слов следующий рассказ:

«Разнесся вдруг по Москве слух, что Грибоедов сошел с ума. Эванс, видевший его незадолго перед тем и не заметивший в нем никаких признаков помешательства, был сильно встревожен этими слухами и поспешил его навестить. При появлении гостя, Грибоедов вскочил с своего места и встретил его вопросом:

— Зачем вы приехали?

Эванс, напуганный этими словами, в которых видел подтверждение известия, дошедшего до него, отвечал, стараясь скрыть свое смущение:

— Я ожидал более любезного приема.

— Нет, скажите правду,—настаивал Грибоедов,—зачем вы приехали? Вы хотели посмотреть — точно ли я сошел с ума? Не так ли? Ведь вы уже не первый.

— Об'ясните мне, ради бога,—спросил англичанин,— что подало повод к этой басне?

— Стало быть я угадал? Садитесь; я вам расскажу с чего Москва провозгласила меня безумным.

И он рассказал, тревожно ходя взад и вперед по комнате, что дня за два перед тем был на вечере, где его сильно возмутили выходки тогдашнего общества, раболепное подражание всему иностранному и, наконец, подобострастное внимание, которым окружали какого-то француза, пустого болтуна. Негодование Грибоедова постепенно возрастало и, наконец, его нервная, желчная природа высказалась в порывистой речи, которой все были оскорблены. У кого-то сорвалось с языка, что «этот умник» сошел с ума, слово подхватили, и те же Загорецкие, Хлестовы, гг. N. и D. разнесли его по всей Москве.

— Я им докажу, что я в своем уме,—продолжал Грибоедов, окончив свой рассказ.—Я в них пущу комедией, внесу в нее целиком этот вечер: им не поздоровится. Весь план у меня уже в голове, и я чувствую, что она будет хороша.

На другой же день он задумал написать «Горе от ума» [1].

Интересное свидетельство сестры поэта — М. С. Дурново — к истории создания «Горя от ума» было записано с ее слов Д. А. Смирновым. В своем предисловии к «Горю от ума» Смирнов пишет:

«Несколько месяцев 1823 года провел Грибоедов в Москве, читал в дружеских обществах свою комедию и в то же время совершенствовал ее, вглядываясь в живые портреты... Это место биографии подтверждается следующим рассказом сестры Грибоедова, Марии Сергеевны, отношения к которой Грибоедова были самые дружественные, не только как к сестре, но как к образованнейшему и любящему другу. Грибоедов был чрезвычайно рассеян и беспечен, работая там, где бог приведет, и почти никогда не трудился прибирать свою работу, решительно не дорожа ею. Очень часто приходил он писать в комнату сестры и потом разбрасывал листы своей рукописи по разным углам дома, где ни попало. Комедия оставалась в то время (1823) еще тайною не только для публики, но и для большинства знакомых. Из числа их один, именно—как положительно говорила мне Мария Сергеевна—граф Виельгорский [2], перебирая раз ноты на рояле Марии Сергеевны, нашел лист, потом другой, третий, написанные стихами и рукою Грибоедова. На вопрос хозяйке, что это такое, она отвечала, желая замять дело: «Ce sont les folies d'Alexandre». Но было уже поздно—эти folies была часть «Горя от ума». Виельгорский почти насильно увез с собою найденные листы, и весть о новой комедии, а потом и самая комедия разлилась по публике» [3].

К этому же времени завершения замысла «Горя от ума» в Москве с Грибоедовым случился следующий анекдот, записанный М. Н. Лонгиновым [4]:

«В бытность Грибоедова в Москве, в 1824 году, он сидел както в театре с известным композитором Алябьевым [5], и оба очень

[1] «Грибоедов». Сообщила Новосильцева.—«Русская Старина» 1878 г., № 4, стр. 546.

[2] О графе М. Ю. Виельгорском Грибоедов писал, между прочим, Бегичеву в июле 1824 года в связи с «Горем от ума»: «Замечанием Виельгорского я тоже воспользовался».

[3] «Анекдоты». Из записной книги М. Н. Лонгинова.—«Русский Архив» 1863 г., стр. 981—982.

[4] Н. Шаломытов. Неизданное предисловие Д. А. Смирнова к «Горе от ума».—«Русская Старина» 1909 г., № 2, стр. 334—335.

[5] Грибоедов действительно был с А. А. Алябьевым в дружеских отношениях. Когда в следующем—1825 году—Алябьев вместе с Н. А.

громко аплодировали и вызывали актеров. В партере и в райке зрители вторили им усердно, а некоторые стали шикать, и из всего этого вышел ужасный шум. Более всех обратили на себя внимание Грибоедов и Алябьев, сидевшие на виду у всех, а потому полиция сочла их виновниками происшествия. Когда в антракте они вышли в коридор, к ним подошел полицмейстцер Ровинский, в сопровождении квартального, и тут произошел между Ровинским и Грибоедовым следующий разговор:

Р. Как ваша фамилия?—Г. А вам на что?—Р. Мне нужно это знать.—Г. Я Грибоедов.—Р. (Квартальному) Кузьмин, запиши.—Г. Ну, а как ваша фамилия?—Р. Это что за вопрос?—Г. Я хочу знать, кто вы такой.—Р. Я полицмейстер Ровинский.—Г. (Алябьеву) Алябьев, запиши...»

Журналист В. П. Бурнашев со слов генерала Скобелева опубликовал следующий рассказ о знакомстве Грибоедова — вероятно, весною 1824 года — с престарелой княжной В. П. Волконской, состоявшей в свое время фрейлиной при Екатерине II и жившей на Волконском пер., на Самотеке, близ Большой-Садовой:

«Княжна Варвара Петровна раз как то, когда у ней к обеду собралось не мало гостей, выражала громко желание познакомиться с Александром Сергеевичем Грибоедовым, причем сказала: «Обещал мне было племянник Поль, познакомившийся с Грибоедовым на Кавказе, привезти его ко мне; да вот, ветренник, как с цепи сорвался:—возьми, да и ускачи в Петербург». Вдруг, в это самое время внимание как княжны, так нас всех, привлек к себе на улице щеголевато одетый, повидимому очень порядочный молодой человек, который перед самыми окнами дома княжны упал и лежит без чувств. Произошла общая переполоха, во время которой княжна приказала людям своим бережно поднять молодого человека, который лежит, бедный, в обмороке, и внести его хоть на половину князя Михаила Петровича. Я поспешил выйти на улицу и помог лакеям на толстом одеяле поднять и перенести в дом больного молодого человека, который имел вид почти мертвеца. Но каково же было мое удивление, когда этот умирающий, едва успели внести

Шатиловым, сослуживцем Грибоедова по иркутскому полку, судился за избиение помещика Времева во время карточной игры, Грибоедов писал Бегичеву из Симферополя: «Не слыхал ли чего-нибудь о Шатилове и Алябьеве? Чем кончилось их дело?». Ср. А. В. Безродный. «К биографии композитора Алябьева».—«Исторический Вестник» 1905 г., № 4.

его в первую комнату, встает на ноги, просит слуг обчистить его фрак от пыли уличной, и, уверяя, что он выздоровел от одного только внимания княжны, умоляет нас представить ее сиятельству. И вот наш умирающий щеголь, целуя ручку княжны, сказал: «Я Александр Сергеевич Грибоедов, давно желавший иметь честь быть вам, княгиня, представлен; но спешный от'езд князя Павла в Петербург отнял к этому у меня всякую возможность. Между тем, желание быть участником вашего общества, княжна, было во мне так сильно, что я решился на эту проделку, в полной уверенности, что человеколюбие княжны Варвары Петровны, громко известное в Москве, не допустит меня в обмороке лежать на улице и отворит мне, больному, двери дома, в который здоровый я, может быть, не скоро бы попал! Простите мне, со свойственным вам великодушием, эту шалость!»—«Помилуйте,—отвечала княжна,—вы, Александр Сергеевич, премило вывели меня из затруднения, в какое поставил меня мой ветренник Поль, обещавший мне исполнить давнишнее мое желание, познакомить меня с автором «Горя от ума», и так второпях улетевший в Петербург, словно его только там недоставало». С тех пор Александр Сергеевич Грибоедов бывал в доме княжны на Самотеке очень часто и сделался почти домашним человеком. Вот в это-то время, — сказал Скобелев, — я воспользовался собственноручною авторскою рукописью, очень верною, которую привез Александр Сергеевич княжне, а княжна давала ее списывать многим своим знакомым, и в том числе мне, который однажды просидел в номере Московской гостиницы всю ночь напролет без сна над писанием этой вот самой копии. Знаю, по крайней мере, что она вернёшенька с подлинником.

Наднях мой хороший знакомый Ал. Матв. М—ский, мать которого была родной племянницей княжны Варвары Петровны, умершей в 1830 году, 74-х лет от роду, и хорошо знавший свою почтенную grand tante,—вполне подтвердил мне этот рассказ Ивана Никитича Скобелева, дополнив, что он сам из уст княжны слышал неоднократно об этом случае знакомства княжны Варвары Петровны Волконской с нашим знаменитым Грибоедовым» [1].

Любопытное свидетельство о встрече с Грибоедовым осенью 1825 года на южном берегу Крыма сохранилось в анонимном «Знакомстве с русскими поэтами», принадлежащем перу А. Н. Муравьева [2]:

---

[1] Петербургский старожил В. Б.(урнашев). «Забавный случай из жизни А. С. Грибоедова».—«Русский Мир» 1872 г., № 82.

[2] «Знакомство с русскими поэтами». Киев, 1871 г., стр. 9—10.

«Моя поездка на южный берег Тавриды дала мне случай познакомиться с знаменитым автором «Горя от ума». Это было осенью 1825 года. Об'ехав весь южный берег, я остановился на несколько дней в Симферополе, в то самое время, как был там Грибоедов, и даже в одной с ним гостинице. Однако, сколько я не желал с ним сойтись, мне говорили, что он недоступен для всех, исключая какого-то немецкого барона, давнего его приятеля. Случилось однажды ночью, что, встревоженный страшным сном, я громко вскрикнул, и на этот крик вбежал ко мне из соседнего номера сам Грибоедов. Тут только мы увиделись и сейчас же сошлись, по самой странности нашего знакомства. Потом вместе мы странствовали по Крыму и подымались на вершину Чатырь-Дага. Ему приятно было видеть до какой степени его комедия была у всех на устах, так как я часто повторял перед ним целые из нее тирады. Поэт в душе, посреди очарований Крыма, он возбуждал меня продолжать заниматься поэзией, но сердце его стремилось в Грузию, куда звала его и служба. Там он был страстно влюблен в прекрасную княжну Нину Чавчавадзеву, сестру будущей владетельницы Мингрелии, и давно уже желал ее руки. После многих препон ему, наконец, улыбнулось счастье: он получил место посланника в Тегеране и в то же время согласие родителей княжны. В полном упоении своего счастья, Грибоедов поскакал за посольскими инструкциями в Петербург, и на перепутьи в Москве, мне случалось еще однажды его увидеть и в последний раз».

---

1 июня 1824 года Грибоедов приехал в Петербург и в течение всего лета читал «Горе от ума» в литературных кругах. Сохранилось свидетельство о том, что в первый раз Грибоедов читал «Горе от ума» у Ф. П. Львова; в кавказских воспоминаниях декабриста А. С. Гангеблова, читаем:

«Однажды вечером по общему желанию нашего кружка, мною и Филюсофовым прочтено было «Горе от ума» по копии, снятой мною еще в Петербурге вскоре после того, как сам Грибоедов читал (как говорили, в первый раз) это свое творение у Фед. Петр. Львова» [1].

Дневник В. И. Ярославского дает возможность установить еще одного собеседника Грибоедова в Крыму [2]:

---

[1] А. С. Гангеблов. «Как я попал в декабристы и что за тем последовало».—«Русский Архив», 1886 г., № 6, стр. 249.

[2] В. И. Ярославский. «Записки».—Киевская Старина» 1887 г., № 11, стр. 525.

«В Крыму я имел также хороших для себя приятелей... Второй приятель—советник казенной палаты Николай Васильевич Сушков, известный по сочинениям в стихах и в прозе; у него в Крыму жил Грибоедов, сочинитель известной в стихах комедии «Горе от ума». Они с общего совета изобретали для нее действующие лица» [1].

Сам же Сушков припоминал впоследствии о крымской встрече с Грибоедовым:

«Несколько времени после дуэли и незадолго до мученической кончины своей в Персии, Грибоедов часто услаждал меня на чужой стороне, посреди татар, в Крыму, своею певучею разумною игрою на клавикордах; но прежней беглости в ней уже не было. Якубович отомстил Грибоедову за Шереметева—и ранил его» [2].

Летом 1828 г., вероятнее всего в мае месяце, М. И. Глинка встретился с Грибоедовым. В своих «Записках» он пишет об этом следующее [3]:

«Провел около целого дня с Грибоедовым, автором комедии «Горе от ума». Он был очень хороший музыкант и сообщил мне тему грузинской песни, на которую вскоре потом А. С. Пушкин написал романс: «Не пой, волшебница, при мне».

Этим исчерпываются почти все те разрозненные припоминания о Грибоедове, которые имеют какую-либо фактическую ценность для биографии автора «Горя от ума» [4]:

Декабриста В. К. Кюхельбекера связывала большая дружба с Грибоедовым; отрывочные показания об этом имеются в дневниках Кюхельбекера, которые он начал вести уже в ссылке с 1831 года. Имеющиеся здесь упоминания о Грибоедове приводим в последовательности записи их в дневнике.

---

[1] Действующих лиц «изобретать» они уже не могли, так как «Горе от ума» было давно написано.

[2] Н. В. Сушков. «Московский университетский благородный пансион и воспитанники Московского университета, гимназий его, благородного пансиона и дружеского общества». Изд. исправленное и пополненное. М. 1858 г., стр. 12—13.

[3] М. И. Глинка. «Записки». II., 1887 г., стр. 48.

[4] Несколько мелких записей о Грибоедове со слов дочери П. Н. Ахвердовой опубликовал Н. Шаломытов в статье «Грибоедов и музыка»—«Исторический Вестник» 1910 г., № 6, стр. 869 и др.; по имеющимся у нас сведениям, в Государственном театральном музее им. А. А. Бахрушина имеется рукопись воспоминаний дочери П. Н. Ахвердовой, выходящая вскоре из печати; поэтому записи Шаломытова не воспроизводим.

3 января 1832 года. Прочел 30 первых глав пророка Исаии. Нет сомнения, что ни один из пророков не может с ним сравниться силою, выспренностию и пламенем; начальные пять глав книги его вдохновений составляют такую оду, какой подобной нет ни на одном языке, ни у одного народа. (Они были любимыми моего покойного друга Грибоедова, и в первый раз я познакомился с ними, когда он мне их прочел в 1821 году, в Тифлисе) [1]

30 января. Получил письмо от матушки (ответ от 31 декабря), сто рублей денег и колпак ее собственной работы. Добрая моя старушка! Каждое слово письма ее дышет нежнейшею материнскою любовию! Бесценно для меня то, что она тотчас посетила друга моего Прасковью Николаевну Ахвердову [2], как только узнала, что Ахвердова в Петербурге; могу вообразить их разговор! Не раз они тут поминали и моего Грибоедова, в этом нет сомнения. Десять лет прошло с тех пор, как я с ними жил в Тифлисе—сколько перемен!

22-го апреля. Кончил описание путешествия Вальяна. Неприятное чувство, с которым Вальян впервые снова увидел жилища голландцев, напомнило мне моего Грибоедова: и он в Москве и в Петербурге часто тосковал о кочевьях в горах кавказских и равнинах Ирана,—где, посреди людей, более близких к природе, чуждых европейского жеманства, он чувствовал себя счастливым.

28-го июля. В замечаниях у Скотта пропасть такого, чем можно бы воспользоваться. Любопытно одно из этих замечаний о симпатических средствах лечения: «в наш магнетический век»,—говорит автор,—«странно было бы все эти средства считать вздором».

Грибоедов был того же мнения, именно касательно заговаривания крови.

14-го августа. На днях я припомнил стихи, которые написал еще в 1815 году в лицее. Вношу их в дневник для того, чтобы не пропали, если и изгладятся из памяти; мой покойный друг (Грибоедов) их любил.

---

[1] «Кюхельбекер служил в 1821 году на Кавказе, где приятелем его был Грибоедов, встретивший его у меня, и с первого взгляда принявший его за сумасшедшего»; см. Н. И. Греч. Записки о моей жизни. П. 1886 г., стр. 384.

[2] О ней см. в комментариях к воспоминаниям Н. Н. Муравьева.

Сажень земли — мое стяжанье,
Мне отведен смиренный дом:
Здесь спят надежда и желанье,
Окован страх железным сном;
Безмолвно все в подземной келье, и проч. [1].

7-го февраля 1833 г. Нападки М. Дмитриева и его клевретов на «Горе от ума» совершенно показывают степень их просвещения, познаний и понятий. Степень эта истинно не завидная. Но пусть, они в этом не виноваты: есть, однако же, в их статьях такие вещи, за которые их можно бы обвинить перед таким судом, которого никакой писатель, с талантом ли или без таланта, с обширными сведениями или нет, не должен терять из виду,—говорю о суде чести. Предательские похвалы удачным портретам в комедии Грибоедова—грех гораздо тягчайший, чем их придирки и умничанья. Очень понимаю, что они хотели сказать, но знаю (и знать это я очень могу, потому что Грибоедов писал «Горе от ума» почти при мне, мне первому читал каждое отдельное явление непосредственно после того, как оно было написано), знаю, что поэт никогда не был намерен писать подобные портреты: его прекрасная душа была выше таких мелочей. Впрочем, qui se sent galent qu'il se gratte! Завтра напишу несколько замечаний об этой комедии: она, конечно, имеет недостатки (все человеческое подвержено этому жребию), однако же, вовсе не те, какие г. Дмитриев изволит в ней видеть, и вопреки своим недостаткам, она чуть ли не останется лучшим цветком нашей поэзии от Ломоносова до известного мне времени.

«Нет действия в «Горе от ума»!—говорят гг. Дмитриев, Белугин [1] и братия. Не стану утверждать, что это несправедливо, хотя и не трудно было бы доказать, что в этой комедии гораздо более действия или движения, чем в большей части тех комедий, которых вся занимательность основана на завязке. В «Горе от ума», точно, вся завязка состоит из противоположности Чацкого прочим лицам; тут, точно, нет никаких намерений, которых одни желают достигнуть, которым другие противятся, нет борьбы выгод, нет того, что в драматургии называется интригою. Дан Чац-

[1] В. К. Кюхельбекер. «Дневник поселенца»—«Русская Старина». 1875 г., № 8, стр. 494, 501, 507, 524 и 525.

[2] Псевдоним А. Писарева. О нем и о Дмитриеве см. в комментариях к воспоминаниям П. А. Вяземского.

кий, даны прочие характеры, они сведены вместе, и показано, какова непременно должна быть встреча этих антиподов, — и только. Это очень просто, но в сей-то именно простоте—новость, смелость, величие того поэтического соображения, которого не поняли ни противники Грибоедова, ни его неловкие защитники. Другой упрек касается неправильностей, небрежностей слога Грибоедова, и он столь же мало основателен. Ни слова уже о том, что не гг. Писаревым, Дмитриевым и подобным молодцам было говорить о неправильностях, потому что у них едва ли где найдется и 20 стихов сряду без самых грубых ошибок грамматических, логических, рифмических, словом, каких угодно. Но что такое неправильности слога Грибоедова? (кроме некоторых и то очень редких исключений). С одной стороны опущения союзов, сокращения, подразумевания, с другой плеоназмы,—словом именно то, чем разговорный язык отличается от книжного. Ни Дмитриеву, ни Писареву, ни Шаховскому и Хмельницкому (за их хорошо написанные сцены), но автору 1-й главы Онегина, Грибоедов мог бы сказать то же, что какому-то философу, давнему переселенцу, но все же не афинянину,—сказала афинская торговка: «вы иностранцы»—«А почему?»—«Вы говорите слишком правильно; у вас нет тех мнимых неправильностей, тех оборотов и выражений, без которых живой разговорный язык не может обойтись, но о которых молчат ваши грамматики и риторики» [1].

24-го июля 1833 г. О разборе Катенина «Ольги» не пишу ни слова по двум причинам: этот разбор сделан Гнедичем и возражал на оный Грибоедов;—первый в последнее время моей светской жизни был со мною в ссоре, а второй мне более, чем друг [2].

2-го августа. О спорах Загоскина и Измайлова покойный Грибоедов очень хорошо сказал:

«Один напишет вздор,
Другой на вздор разбор;

---

[1] В. К. Кюхельбекер. «Дневник поселенца».—«Русская Старина», 1875 г., № 8, стр. 84—85.

[2] Об отношениях Кюхельбекера к П. А. Катенину см. в «Письмах П. А. Катенина к Н. И. Бахтину».—«Русская Старина», 1911 г.

А разобрать всего труднее,
Кто из обоих их глупее?» [1].

Впрочем, это относится к Загоскину «Наблюдателю» и автору «Богатонова»: но автору «Юрия Милославского» Грибоедов, который так живо чувствовал все прекрасное, конечно, отдал бы полную справедливость.

9-го августа. С наслаждением прочел я несколько явлений из комедии: «Своя семья», написанных Грибоедовым: в этом отрывке виден будущий творец «Горя от ума» [2].

12 мая 1840 г. Пережить всех—не слишком отрадный жребий! Высчитать ли мои утраты?

Гениальный, набожный, благородный, единственный мой Грибоедов; Дельвиг умный, веселый, рожденный кажется для счастья, а между тем несчастливый...

6 ноября. Баязет (Расина)—одна из любимых пьес Грибоедова.

16 января 1843 г. Сегодня я видел во сне Грибоедова. В последний раз, кажется, я его видел (также во сне) в конце 1831 года. Этот раз я с ним и еще с двумя мне близкими людьми пировал, как бывало в Москве. Между прочим, помню его пронзительный взгляд и очки и что я пел какую-то французскую песню.

25 мая 1845 г. Я тогда (в Грузии в 1821 году) только что начал знакомиться с книгами ветхого завета, которые покойный Грибоедов заставил меня прочесть.

27 мая. Скажу, что мы, т. е. Грибоедов и я, и даже Пушкин, точно обязаны своим слогом Крылову, но слог только форма, роды же, в которых мы писали, все же гораздо выше басни, а это не безделица [3].

ред. ин-та А.И. Герцена
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

[1] Об этой эпиграмме см. в письме С. Н. Бегичева от 23 марта 1825 года к В. К. Кюхельбекеру.—«Русская Старина» 1875 г., № 7, стр. 378.

В. К. Кюхельбекер. «Дневник поселенца».—«Русская Старина», 1883 г., № 7, стр. 113—114.

[3] В. К. Кюхельбекер. «Дневник поселенца».—«Русская Старина», 1891 г., № 10, стр. 73, 82, 96, 109 и 110.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

От редактора V

I. Грибоедов в воспоминаниях современников.

С. Н. Бегичев. Записка об А. С. Грибоедове 3
Е. П. Соковнина. Воспоминания о Д. Н. Бегичеве 16
Ф. В. Булгарин. Воспоминания о незабвенном А. С. Грибоедове 21
Его же. Как люди дружатся 43
Его же. Литературные призраки 48
Н. Н. Муравьев-Карсский. Записки 57
А. М. Каратыгина. Воспоминания 104
П. А. Каратыгин. Александр Сергеевич Грибоедов 109
П. А. Вяземский. Дела иль пустяки давно минувших лет . . 120
А. А. Бестужев. Знакомство мое с Грибоедовым. 133
Н. В. Шимановский. Арест Грибоедова. 143
Д. И. Завалишин. Воспоминания о Грибоедове 153
Д. В. Давыдов. Воспоминания о 1826 годе 175
К. А. Полевой. О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова 185
В. Н. Григорьев. Заметки из моей жизни 195
И. О. Симонич. Смерть Грибоедова 204
К. К. Боде. Смерть Грибоедова 211
А. С. Пушкин. Путешествие в Арзрум 217

II. Рассказы о семье Грибоедовых.

Д. А. Смирнов. Рассказы, записанные со слов друзей Грибоедова 223
Глава I. Рассказы С. Н. Бегичева и доктора прав Б. И. Иона, записанные 27 февраля 1842 года 226
Глава II. Свидание с Б. И. Ионом 2 марта 1842 года.—Встреча 19 ноября 1842 года с Ф. В. Булгариным 233
Глава III. Первое знакомство 28 апреля 1858 года с А. А. Жандром и его рассказы 238
Глава IV. Визит А. А. Жандра к Смирнову 2 июня 1858 года и его рассказы.—Отзывы о портрете Грибоедова П. А. Каратыгина, В. Ф. Одоевского, М. А. Грибоедовой и А. А. Жандра. 252
Глава V. Беседы с А. А. Жандром 3 июня 1858 года 274

Глава VI. Впечатления Смирнова об А. А. Жандре и С. Н. Бегичеве 271
Глава VII. Письмо А. А. Жандра к Смирнову от 25 сентября 1858 года.—Записи вспоминаний Жандра и Бегичева о Грибоедове 272
Глава VIII. Первое знакомство 3 мая 1858 года с И. И. Сосницким и его рассказы о Грибоедове 277
Глава IX. Встреча с И. И. Сосницким 3 июня 1858 года 280
Глава X. Знакомство с М. С. Щепкиным 26 апреля 1858 года . . 284
Глава XI. Рассказы М. С. Щепкина о Грибоедове 295
К. А. Бороздин. Нина Александровна Грибоедова 302
Несобранные рассказы О Грибоедовых—разных лиц. 315
Из «Записок» В. И. Лыкошина 316
Из «Моих записок» А. И. Колечицкой 324
Из воспоминаний Е. П. Яньковой 327
Из рассказов В. В. Шнейдера 327
Из воспоминаний А. С. Стурдзы 331
Из рассказов кн. Е. О. Палавандова 331
Из записей Новосильцевой 333
Из рассказов И. П. Скобелева 335
Из воспоминаний А. Н. Муравьева 337
Сообщение А. С. Гангеблова 337
Сообщение Н. В. Сушкова 337
Из «Записок» М. И. Глинки 338
Из «Дневника» В. К. Кюхельбекера 338

Неизданный портрет Грибоедова, в отроческом возрасте,—из собрания Д. Г. Гинзбурга (оригинал писан маслом),—перед текстом.

ТИРЗ

Цена 3 руб.

Переплет 25 коп.

ТОРГСЕКТОР
ГОСИЗДАТА

★

БОГОЯВЛЕНСКИЙ П. 4
ТЕЛ. 2. 65-31, 5. 50-80
МОСКВА